

ISSN 0132-0637

Октябрь

2 1996

1996
2
Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1996

ФЕВРАЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВА-
СИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРА-
НИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТ-
КИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,
Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ДЫШЕВ. До встречи в раю. Роман	3
Александр ЛЕОНТЬЕВ. Пять стихотворений	70
Облачение теней. Хорхе Луис БОРХЕС, Октавио ПАС, Хулио КОРТАСАР. Вступление и перевод с испанского Павла Грушко	73
Сергей ЮРСКИЙ. Теорема Ферма. Рассказ	115
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ. Друг в друге заблудясь... Стихи	124
Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы	126

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Григорий МАРЧЕНКО. От кризиса к стабилизации: дальнейшая судьба реформ в России	160
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Это светлое имя — Пушкин»

Геннадий РОССОШ. Пушкин и свобода: превратности и откровения	168
Кирилл КОБРИН. Англичанин	177

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН. Событие Бахтина	182
--	-----

Вавилонская библиотека

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Еще раз к вопросу о Ляпсе. * Леонид КОСТЮКОВ. Одиссея	188
Памяти Иосифа Бродского. 28 января 1996 года	191

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),
И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),
А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **Е. О. СМИРНОВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 03.01.96.	Подписано к печати 28.01.96.	Формат 70×108 ^{1/8} .
Офсетная печать.	Усл. печ. л. 16,80.	Усл. кр.-отт. 17,50.
Тираж 23 100 экз.	Заказ № 8.	Учетно-изд. л. 21,61.
		Цена 8000 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37,
ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37,
отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Сергей ДЫШЕВ

Д о в с т р е ч и в р а ю

РОМАН

Полковнику Владимиру Михайловичу Житаренко — бойцу, журналисту, погибшему на чеченской войне

Иосиф Георгиевич Шрамм мысленно обмакнул перо в чернила и стал писать. Пользовался он, конечно, обычной шариковой ручкой, хотя давно мечтал завести перьевую, но все как-то не получалось. Он считал себя человеком старомодным, отрастил бородку клинышком, носил очки в золотой оправе и все собирался завести сюртук. После каждой встречи с пациентом он делал записи в тетради с твердой обложкой, на которой значилось: «Доктор И. Г. Шрамм». Хотя доктором в смысле научно-иерархическом не был. Он старался ничего не пропускать; даже если большой безнадежно-однообразно пускал пузыри или гнусаво нес привычный бред, еле справляясь с вываливающимся языком, Иосиф Георгиевич все равно что-нибудь да записывал, самозабвенно наслаждаясь россыпью своих мыслей, рассуждений и наблюдений, которые заносил в тетрадь аккуратными буквами... Разговор с пациентом он обычно начинал, слегка присюсюкивая: «Ну-с, молодой человек (или «голубчик»)...» Но однажды жена передразнила его «ну-с» в «гнус», доктор сильно обиделся и больше так не говорил.

Работал Иосиф Георгиевич, как уже можно было догадаться, в психиатрической клинике, и, между прочим, главным врачом. Втайне он считал себя крупнейшим специалистом и, безусловно, одним из выдающихся людей города. Город об этом не догадывался, впрочем, был он никчемным, скучным, с серыми одно- и двухэтажными домами, полупустыми магазинами, громоздким Домом культуры с не опознанной до сих пор каменной фигурой на крыше, скрипящими на ветру каруселями в умершем парке и, самое отвратительное, с пылью, неподвижно, круглосуточно висящей в воздухе. К вечеру жара спадала, оранжевое солнце тихо проваливалось за горизонт; грязные палисадники и дворы наполнялись людьми. В это время все в городе, будто по единому семейному расписанию, пили чай. И даже мухи в эти часы были не такими назойливыми. В общем, ничего особенного, обыкновенная южная провинция. Когда и кому пришло в голову устроить здесь психбольницу — разобратся ныне практически невозможно: слишком часто в последнее время менялись власти, торопливо сжигая после себя документы. Поговаривают, что у начальника, принявшего странное решение, тоже не все в порядке было с головой, и кончил он в конце концов в психушке, правда, в другой, номенклатурной. Но не будем судить его, тем более завидовать: даже «пятизвездочный» дурдом все равно остается дурдомом.

А в городе жили обыкновенные, нормальные, славные люди, вели раз-

меренный, здоровый образ жизни, и, конечно, ни к чему была здесь огромная, просто оскорбительно огромная лечебница для душевнобольных.

Иосиф Георгиевич аккуратно выводил:

«Больной Цуладзе Автандил отличается слабыми тормозными процессами... — Тут доктор вспомнил, как больной назвал его приспособленцем, и решительно дописал: — ...и крайне низким уровнем сознания и эрудиции».

Многих больных перевидал на своем веку Шрамм. Его душили, разбивали в кровь лицо, ломали руку, давили с хрустом его золотые очки. Но именно Цуладзе по-особому растревожил и расстроил доктора, да так, что не хотелось и признаваться в этом... Доктор знал, что больной четыре года назад совершил убийство, его признали вменяемым. Однако вернуть в тюрьму Автандила был не в силах. Тут надо сказать, что Иосиф Георгиевич был давним тайным сторонником фрейдовского психоанализа, не изменил ему и в эпоху плюрализма. И вот сейчас в его душе поселилось беспокойство. Он пытался отогнать навязчивую мысль, заставляя себя считать, что ее нет. Но в том-то и дело, что она была и по всем известным доктору правилам разрасталась в невроз, буквально натирала мозоль в его голове; мысль же была следующая: «Я ничтожество, я подавляю свои комплексы, я жалко сублимирую в своей писанине, которая на хрен никому не нужна!»

Шрамм вздохнул, отложил ручку и призадумался. Неделию назад жена сообщила ему о беременности, такой несвоевременной и нелепой, когда вокруг все рушится, все ненадежно и бывшее благополучие рассыпается, как дом из песка. Любочка была на двенадцать лет младше его. У них росла общая дочь. Два старших сына Иосифа Георгиевича от прошлого брака жили отдельно... Но вот что самое ужасное: супруга надумала рожать! А накануне доктору приснился гадкий сон: будто он в исподнем качается на доске с каким-то мужиком, а его Любочка, тоже в исподнем, идет навстречу и вдруг садится на сторону незнакомца. Доска перевешивается, он, Шрамм, повисает в воздухе, ему очень страшно, он сучит ногами, а супруга и тот мужик бурно целуются.

Доктор захлопнул свою тетрадь и вызвал старшую медсестру. Аделаида Оскаровна, женщина сорокалетнего возраста, молча устала на Шрамма. Такая у нее была привычка: смотреть долго, не мигая. Вероятно, она считала, что ее взгляд обладает магическим действием, подавляет и приводит в замешательство даже самых буйных.

— Как там Малакина, по-прежнему не кушает? — спросил доктор.

— Да. Пытались кормить насильно — так она кашляет, выплевывает. А еды и так не хватает.

— Может, ее усыпить? — в раздумье произнес доктор.

— Наверное, придется, — тут же согласилась медсестра.

— Да, вот еще что. Сделайте больному Цуладзе инъекцию однопроцентного раствора апоморфина.

— Апоморфина?! — Черные брови Аделаиды Оскаровны дрогнули, глаза еще более округлились.

— Да.

— Но ведь он вызывает сильные приступы тошноты, рвоту.

Шрамм строго посмотрел на старшую медсестру.

— Начинаем новый курс лечения. По специальной методике.

Про себя он злорадно подумал: «Пусть почувствует, как меня тошнит от его блаженного умничанья!» После чего сделал приписку в тетради: «Попробуй, сволочь, апоморфину в задницу!» — И отметил заметное улучшение настроения.

Худшие предположения доктора подтвердились: жена ему изменила, и не просто с кем-то, а с человеком, который уже при жизни стал легендой, устрашающим символом для врагов, всесильной и могущественной мессией, кумиром масс. Это был не кто иной, как Лидер национального движения Республики — Кара-Огай. Штаб-квартира его находилась волею судьбы в К.

Буквально на следующий день после мучительных размышлений, догадок доктор своими глазами увидел супругу в белом «мерседесе» Лидера — и сразу все понял по ее глупо-счастливому выражению лица. Иосиф Георгиевич почувствовал боль и опустошение, он как раз собирался идти домой, но повернулся и потерянно побрел обратно в клинику, открыл кабинет, зачем-то достал свою тетрадь, рассеянно перелистал ее, схватил ручку, тут же бросил ее и расплакался.

Кто-то вдруг постучал в дверь, осторожно и коротко. Иосиф Георгиевич быстро вытер слезы и сипло выдохнул:

— Да-да!

Это была старшая медсестра. Сейчас она не поедала его взглядом, наоборот, смотрела куда-то в сторону.

— Вы позволите мне войти? Извините, Иосиф Георгиевич, я видела, как вы вернулись.

— Пожалуйста. — Доктор еле сдержался, чтобы не послать ее к черту.

Женщина порывисто вздохнула.

— Иосиф Георгиевич, при всем моем уважении к вам... Я очень уважаю вас... Но я не могу оставаться равнодушной. Возможно, это не мое дело. Но позвольте мне так не считать.

— Покороче, пожалуйста! — От долгого предисловия перед неминуемой гадостью, которую собиралась выложить Аделаида, у доктора заныло сердце. «Что еще?»

— Видите ли, речь о вашей супруге. Мне неловко и больно говорить об этом, я знаю вас давно, весь коллектив вас любит, уважает как интеллигентного человека, прекрасного, доброго. И на этом фоне, вернее, я хотела сказать, глядя на вас, я волнуюсь, мне очень жаль, но я не могу не сказать, что ваша супруга встречается с этим, руководителем, Кара-Огаем... — Она умолкла и кончиками пальцев порывисто вытерла испарину на лбу.

«Ишь как разволновалась, вобла пересохшая», — совершенно равнодушно подумал Иосиф Георгиевич.

— Я это знаю, — бесцветным голосом произнес он. — У вас все или есть еще что сказать?

— Нет. Простите, если помешала. Я, наверное, бестактна... Дорогой Иосиф Георгиевич, ваша судьба, может, изменится, но знайте, что в моем лице вы всегда найдете поддержку, сочувствие, внимание. Если б вы знали, насколько глубоко мое уважение к вам...

— Спасибо, — перебил доктор. — Вы достаточно уважили. Благодарю вас.

Доктор подошел к окну, и впервые его поразили своей грубой нелепостью металлические решетки; с пронзительной болью он ощутил, как они вобрали в себя его жизнь, молодость, надежды, мечты.

Лаврентьев спал — почти не дышал. Даже не храпел, как обычно, видно, обессилел. Потрескавшийся рот, массивный подбородок, безвольно опущенный на грудь. Не Лаврентьев, привычный энергоноситель, а полуживая рыба, загнанная в сеть...

Ольга тихо отворила дверь, осторожно опустилась на стул перед забывшимся Лаврентьевым. Она подумала: «Мне кажется, что я знаю про него почти все».

За черным окном перешептывались длинные ветви тополя. Они будто хотели заглянуть в маленький желтый кусочек окна и выяснить, почему обитатели дома прячутся за спинами и животами бесформенных толстяков, которые вповалку неподвижно лежали на подоконнике аж до самой форточки. Мешки на окнах имеют свойство преобразовать любое помещение, навеивая неистребимую складскую тоску.

Один мешок прохудился, из него серой стружкой сыпался песок. Ольга проследила взглядом: на полу вырос маленький холмик. «Как в песочных часах, — подумала она. — Только в обратную сторону уже не повернешь». И

еще она вспомнила удивившую ее фразу о старых людях, из которых тоже песок сыплется: неужели это правда? Она поежилась, почувствовала мимолетную тревогу и, чтобы успокоиться, пристально всмотрелась в Женечкины черты. «И вовсе не такой он старый!» Даже сейчас, когда его лицо продолжало хранить болезненное напряжение, оно действовало на нее успокаивающе. Оля незаметно для себя задремала, ощутив сквозь сон, что дыхание их попало в такт, это необычное единение приятно поразило ее. Только у нее вздымалась грудь, а Женечка, как и все мужчины, дышал животом, ему мешал туго стянутый ремень. «Мне не стыдно смотреть на него», — подумала она. Оле захотелось погрузиться пальцами в его отросшие рыжеватые волосы, схватить и подергать бакенбарды, притянуть к себе, прижать к груди эту глупую и нелепую голову. Она протянула руки, но в последнее мгновение, сожалея, медленно отвела. Она попыталась вспомнить, когда последний раз спала с мужчиной. С кем — помнила, но вот когда... С некоторых пор мужские человеки вызывали у нее беспричинное раздражение, она устала быть в их глазах сексуальной жертвой. Особенно выводили из себя местные. И особенно после «суверенизма», от которого население просто стонало от счастья. Наиболее прыткие лица мужского рода сразу же и на полном серьезе бросились «приватизировать» всех «некоренных женщин». Потом поостыли... Счастье было недолгим, появились новые боги, все начали спешно вооружаться...

Комната неожиданно поплыла. Чтобы удержать ее, Ольга судорожно схватилась за Женечкино колено — иначе бы рухнула с грохотом.

Лаврентьев вздрогнул, поднял припухшие веки.

— Чего тебе?

— Извините, я случайно, — сипло произнесла Ольга.

— Иди спать!

Она поспешно встала, отодвинула стул. Коптилка мигала, высасывая последний керосин.

— Черт, из Москвы должны позвонить. Этот...

— Там уже все спят. Давно...

— Должен позвонить этот... чтоб язык у него сгнил... Ч-чемоданов! — Он покосился на короткую юбочку Ольги. — Какого черта так вырядилась?

— Жарко, — произнесла она заранее приготовленный ответ и почувствовала, как по обнаженным ногам пробежал холодок. «Дура набитая. Только это ему сейчас и надо!»

Скрипнула дверь, появилась голова в очках, за ней проскользнул и сам хирург Костя по кличке Разночинец. Он молча подошел к Лаврентьеву, слегка пошатнулся, его очки тревожно блеснули. Костя стал неторопливо раскладывать на столе различные вещички: зеркальную коробочку со шприцем, пузырек, ватку; потом он задрал у клиента рукав и, прыснув из иглы в небо, воткнул оную в руку. Так же бессловесно Разночинец собрал эти почти культовые предметы и уже направился к двери, когда лаврентьевский голос его остановил:

— Ты опять пьян. Посадил бы тебя на губу, но сейчас это было бы слишком экстравагантно. Спирт остался?

— Принести?

— Не надо. Докладывай.

— Принял роды. Мальчик.

— Хорошо. Это к войне.

— Заштопал трех абorigineнов.

Лаврентьев задумался. Костя решил, что самое время улизнуть: впрыснутое начнет рассасываться, шефу станет хорошо, в прогалинах черепной коробки — отчетливо и свежо, потом начнется энергетический позыв к действию; а ведь ему, Костику-Разночинцу, очень хотелось спать. Уйти, прихватив оставленный за дверью еще теплый от солнца автомат 5,45 калибра, пуля — гуляка-телорванка. Он, хирург, нетеплокровное животное, и то ужаснулся до рвоты, когда впервые увидел, что натворил этот заостренный кусочек тускло-желтого цвета.

Костя осторожно попятился к двери, но Лаврентьев снова остановил:

— Садись, будешь писать.

Костя обреченно сел, снял очки, стал протирать глаза, потом стекла. Закончив, придвинул большую книгу с разлинованными синими листами: в ней что-то учитывалось.

— Сегодня на этом столе лежали три миллиона рублей и два золотых слитка. Очень приличных. Они хотели, чтобы я продал им три танка.

— А кто это был? — испуганно спросила Ольга.

— Не перебивай! — сверкнул белками глаз Лаврентьев. — И один из них, Салатсуп или Супсалат, выложил на стол гранату и сказал, что подорвет меня на хер и всех их троих заодно, если я не уступлю. Но (это, Костик, выдели толстыми буквами) гвардии подполковник Лаврентьев в сложившейся экстремальной ситуации не дрогнул, проявил хладнокровие и воинскую смекалку, уверенно и четко послав представителей Нацфронта на... Что они незамедлительно и исполнили. Жертв и разрушений нет... Этого же дня была обстреляна машина, направлявшаяся во второй караул. Ранен в руку офицер Скоков. Напролет...

Ольга вышла, Лаврентьев переместился за стол, на котором находились папка с приказами, стакан с потекшими ручками, сломанными карандашами, а также обрезанная под основание снарядная гильза, которая служила пепельницей. Рядом матово отсвечивал тяжелый черный телефон, который болезненно вздрагивал от неурочных звонков, — сейчас забывшийся в коротком полусне, но все еще переполненный чьими-то голосами, криками, матом, треском, хрипом...

Лаврентьев вдруг испытал желание поднять трубку, выйти на «Рубин» — в столицу Федерации, пока еще была телефонная связь, и от души нахамить какому-нибудь заспанному дежурному генералу в штанах с примявшимися лампасами, ошарашить убийственной «прямой речью», чтоб у того коленки подкосились, чтоб поразить в душу, неожиданно, как плевром из унитаза... «Товарищ генерал, тут такие дела, короче, кофе закончился! Что-что?.. Сам-то небось пьешь сейчас? А ежели не пришлете, будем на танки менять! Чего-чего?.. Знамо дело — на кофе! А, уже проснулся, голубчик! Что это я такое позволяю себе и кто я таков? Да, так точно, командир 113-го полка, нос до потолка. Нет, я вполне нормален. Где мой заместитель? Повез личный состав полка на Черное море — купаться. А я тут один, самолично... Ну, ладно, покедова. Столице привет, товарищ генерал. Да ты не огорчайся, я понимаю, надо ж, угораздило, прямо на твое дежурство такие звоночки. А ты не докладывай. Ну, ладно, давай, будь здоров, смотри там, чтоб все по уставу, не маленький, генерал все же!»

Лаврентьев обожал московских генералов. Паркетные тихони Генштаба, они на оперативных телефонных просторах превращались в величавых полководцев, лучезарных и мудрых наставников, суровых и требовательных радетелей за державу. В последнее время они все чаще обрушивались на Лаврентьева массой звонков. Но повышенное внимание выразалось не в материальной помощи, а во множестве указаний, которые он получал по всем аспектам жизни и службы; Лаврентьев также отвечал на всевозможные, по большей части странные, вопросы, и его ответы, вероятней всего, затем использовались как составляющая мякоть для докладных записок, всяких там справок и отчетов...

Вряд ли кого интересовало, какие горячечные видения тревожили Лаврентьева. В его ногах молча стояли трое крепколобых мужчин, напоминая своим безучастным видом консилиум, на котором никто не отважится произнести вслух роковой диагноз, чтоб затем приступить к развязке. Рядом с кроватью стояли: майор Штукин, хирург Костя с принадлежностями для инъекций и прапорщик-охранник, вооруженный автоматом. Каждый из них выражал общее ситуативное единство и — одновременно — контрастную противоположность. Штукин в этом «консилиуме» являл собой «вершителя

судеб», Костя, разумеется, врачавателя, а прапорщик с автоматом символизировал неотвратимую смерть. Все трое по привычке прислушивались к звукам выстрелов, коротких очередей и взрывов за окнами. Они пришли, чтобы прервать сон командира и посмотреть на его реакцию: над плацем летают пули, срезают верхушки деревьев, с визгом влетают в стены, откалывая штукатурку, и, что особенно печально, пока невозможно определить, какая из сторон так настойчиво обрабатывает нейтральную зону, которой и являлся 113-й полк.

— Евгений Иванович, — произнес Штукин.

— Товарищ гвардии подполковник, — позвал командира Костя-Разночинец.

— Подъем, — после долгой паузы не очень уверенно подал голос прапорщик, вспомнив свое недавнее старшинское прошлое, которого лишился по причине отсутствия личного состава.

Командир поморщился, приподнялся, сел, прислушался.

— Стреляют?

— Со всех сторон лупят! — торопливо стал докладывать Штукин. — Люди — все по боевым расчетам.

— Через забор не лезут?

— Кто? — уточнил Штукин.

— Ну не наши же...

— Нет... Пока — нет.

— Как полезут — стрелять на поражение, — сказал Лаврентьев.

— Наших? — спросил Штукин, окончательно запутавшись.

— Ихних, — сохраняя хладнокровие, ответил Лаврентьев.

— А наши и не полезут, чего им туда лезть! — заметил прапорщик.

Лаврентьев вышел в коридор, миновал сонно мигающего дежурного за стеклом, тот замедленно встал, вышел из дежурки и уже на улице пристроился за майором и прапорщиком.

И в самом деле выстрелы доносились со всех сторон. А рядом, на футбольном поле, стоял многоголосый вой беженцев. С неделю назад они прорвались в полк, заполнили буквально каждый свободный метр, все пустующие помещения, спасаясь от лиходейства своих земляков. День и ночь они молили судьбу и всевышнего о пощаде, о каре для врагов, а в затишье просили воды, кормежки, кричали, угрожали, требовали навести порядок в городе, то есть перестрелять всех гонителей и мучителей. Офицеры молча терпели нападки, отводили воспаленные глаза, уже не видя конкретных лиц, а только копошащуюся массу цветастых халатов, шаровар, платков, тубетеек, коричневых рук, белых бород. Несмотря на оупляющую усталость, они чувствовали в себе позывы милосердия; благородное чувство осталось от стародавних времен, когда все — и нынешние беженцы, и боевики с черными, прогоркшими автоматами, и сами военные — были объединены общей целью, единодушием, времяощущением, по крайней мере так считалось, декларировалось и настойчиво прививалось. Теперь все это обернулось смутной виной. Жалость, былые восторги, украшения и прочая слюнявость исчезли, остался ноющий, саднящий раздражитель, избавиться от которого не было никакой возможности.

И тут, как раз за столовой, все увидели темные фигурки, штурмующие забор. Беженцы тоже увидели их, вой стократно усилился — утробный и страшный женский вой. Лаврентьеву показалось, что в это мгновение отчаянно закричала сама земля.

Офицеры открыли огонь. Первыми упали те, кто успел перелезть через забор. Потом на главной аллее прапорщик-часовой установил пулемет Калашникова и тут же тугой очередью ударил в сторону ворот. А с той стороны тяжелым грузовиком таранили железные прутья. В него впиалась кинжальная очередь, он застыл, уткнувшись слепо в ворота. Наконец на башенке бронетранспортера включился крупнокалиберный пулемет, прошелся по кромке бетонного забора, круша ее в пыль, стальные «жуки» с

хрустом впивались в стволы деревьев, вырывая огромные щепки. Боевиков как сдуло.

Боевая машина рванулась к воротам, полоснула очередь по грузовику, машина вспыхнула, с оглушительным хлопком рванули бензобаки. На фоне языков пламени красные звезды на воротах КПП выглядели зловеще и символично.

— Вот в чем сермяжное счастье жизни военного, — вслух подумал Лаврентьев и отдал распоряжение аккуратно сложить за забором трех мертвых боевиков и отбуксировать обломки грузовика, как только они остынут до нормальной температуры.

По аллее возбужденно прохаживался полуоглохший прапорщик-часовой, ни к кому не обращаясь, потирал руки и говорил:

— Хорошо я им вмочил! Ух, как ответственно впиндюрил!

Из больницы Иосиф Георгиевич вернулся поздно вечером. На столе он увидел клочок бумаги, который оказался запиской. Доктор поспешно взял ее, и буквы запрыгали перед глазами.

«Вся моя жизнь с тобой была сплошной ошибкой, — с недоумением, переходящим в ужас, читал он размашистые строки. — Твои невыносимые причмокивания за обедом, твои вывернутые ноздри, руки в старческих веснушках, твой глупости и умничанье! Меня тошнит от всего, что связано с тобой. Прости, но я не могу, меня медленно убивает твой запах, напоминающий прокисшее молоко. Мне надоело стирать твоё вонючее белье и еще более вонючие носки. Кроме того, ты ЧМО и в достаточной степени идиот, как и все твои друзья в психушке, и мне доставляет огромное удовольствие сказать об этом. Мне всегда не хватало настоящего мужика, который драл бы меня, как козу. Кстати, ребенок мой будущий не от тебя. Не вздумай меня искать. Это бесполезно и даже опасно. Будешь приставать — тебе оторвут все выпуклости. Я ухожу к Кара-Огаю. Дочка пока будет у мамы, потом я ее заберу. Алименты оставь себе. Извини за немного резкий тон. Спасибо за совместную жизнь. Будь здоров. Не твоя Людмила».

Иосиф Георгиевич трижды прочитал эти безобразные откровения, прежде чем до него окончательно дошел их разрушительный смысл; это был замедленный и беззвучный обвал, ослепляющий взрыв, крушение первооснов жизни; он почувствовал, как пол уходит из-под ног. Нетвердой походкой доктор дошел до дивана, грузно рухнул в него, судорожно, как раненая птица, вцепился в подлокотник и тут уже разрыдался бурно, страшно и чуть-чуть театрально.

За стеной начали остервенело стучать: наверное, подумали, что громко включен телевизор, но скорее соседи были просто черствыми людьми, да и им хватало своих страданий.

Тут его осенило: да ведь это неправда, это просто шутка! Люся куда-то спряталась, она разыгрывает его. Сейчас он найдет ее, она засмеется, нехорошая маленькая проказница, он тоже засмеется вместе с ней, вытрет слезы и попросит больше никогда так не шутить, потому что это жестоко и очень обидно... Доктор бросился во вторую комнату, открыл шкаф. Все вещи ее висели на месте, это укрепило уверенность доктора. Он кинулся на кухню, со вчерашнего дня в раковине осталась грязная посуда. «Вымою, вымою, все сделаю, лишь бы отыскалась!» — всхлипывая, думал Иосиф Георгиевич.

Но Люси не было — ни в туалете, ни на балконе, ни под кроватью.

Доктор постарался совладать с собой, слабость прошла, появилась решимость немедленно действовать.

— За любовь надо бороться! — прошептал Иосиф Георгиевич и поразился неожиданной глубине и емкости этой фразы. Он тут же бросился на улицу.

Освещаемый ночным светилом, Шрамм бежал, не чувствовал ног, делая не свойственные возрасту и своему характеру прыжки.

Что-то разорвалось, в мгновение ослепило и оглушило доктора, он инстинктивно пригнулся; шибануло гарью. Он понял, что ему едва не отстрелили ухо.

— А ну, стой! Руки за голову! — рывкнули из темноты.

Доктор немедленно подчинился.

— Точно — фундик! Давай сюда.

Ноги у доктора отяжелели, как во сне, он шагнул в сторону голосов, продолжая держать руки за головой. И, прежде чем различил лица, получил некрепкий удар в челюсть, покачнулся, но мужественно удержался на ногах.

— Давай, живо к стенке!

Спотыкаясь, ничего не понимая, Шрамм подчинился, застыв у стены незнакомого дома. «Главное — не перечить им, ведь я ни в чем не замешан», — лихорадочно успокаивал он себя, хотя хорошо знал, что в нынешние времена людей приканчивали просто от скуки.

— Фундика заловили! — раздался торжествующий голос.

— Надо его замочить! — добродушно отозвался другой.

Доктор не был искушен в жаргоне, но понял моментально, что дела его — скверней не придумаешь.

— Повернись! — крикнули у него над ухом.

Доктор торопливо выполнил команду.

— Урюк, через какое плечо поворачиваться надо?

В лицо ударил свет фонаря, а в боку он почувствовал ствол автомата.

— Отставить! — последовала команда.

Доктор послушно повернулся через левое плечо, как учили когда-то на военной кафедре мединститута.

— Фундик? Лазутчик? Отвечай, собака!

— Я никакой вам не фундик. И не собака! — оскорбленно ответил Иосиф Георгиевич. — Я доктор медицины.

— Доктор? — Один из незнакомцев рассмеялся. — И куда ж ты собрался так поздно — клизмочку ставить? Или укольчик в попку? Говори!

— Я ищу свою жену, — чистосердечно ответил доктор.

Люди, а их уже собралось немало, от души рассмеялись.

— Опоздал, дядя! Ее, наверное, уже где-то оттягивают.

Кто-то сзади схватил его за волосы, резко рванул голову назад. Другой приставил нож к горлу.

— Говори, пес, куда шел?

— Мне в горсовет... — хрипло проговорил он.

— Ага, созанся! — обрадовался мужчина с короткой бородкой, видно, старший. — Сейчас ты у нас все расскажешь, фундик гребаный, фуфлыжник, грязь болотная, дерьмо свиное...

— Салатсуп, да это же доктор психушный! Он в дурдоме работает. — В круг протиснулся парень, которого, как и остальных, Шрамм видел первый раз в жизни.

— Доктор, говоришь? — заинтересовался Салатсуп. — А раны огнестрельные лечить можешь?

— Нет-нет! — поторопился отказаться Шрамм, сразу уловив, какую перспективу ему хотят предложить. — Я психиатр, это совершенно другая, понимаете, кардинально другая специальность.

— Что такое «кардинально»? — строго спросил Салатсуп.

— Ну, это, как сказать лучше, — залепетал доктор, — ну, это совсем другая работа. Я лечу душевные болезни и никакие другие. И если нужны консультации в этой области...

— Ты, старый дуралей, считаешь, что мы психи? — взорвался кто-то из молодых. — Фундиков иди лечить, козел!

В конце концов боевикам надоело потешаться над доктором, а когда они узнали, где собирается Иосиф Георгиевич искать свою жену, приумолкли. Салатсуп по-хорошему посоветовал проваливать поскорей домой, укрыться одеялом, а наутро забыть все, что хотел сделать ночью. Доктора подтол-

кнули и посоветовали идти по освещенной стороне, чтобы случаем не подстрелили.

Люсю он увидел уже утром, недалеко от горсовета. Она сидела в белом «мерседесе» Лидера, с царственной небрежностью развалилась на заднем сиденье. Ослепительно светлые волосы в беспорядке рассыпались на бархатных чехлах. «Как она совершенна и безупречна», — с болью подумал доктор. Он тут же заметил на ней новое ярко-красное платье со стоячим воротом и глубоким вырезом на груди, который подчеркивал красоту ее гибкой шеи и матовой кожи... Возле машины скучал битюг в черной куртке с автоматом на плече.

Подойдя, доктор решительно рванул дверцу, но она не поддавалась; тут же битюг, вскинув автомат, бросился к нему.

Люся, к счастью, вступилась. Открыв окно, она властно крикнула:

— Курбан, оставь его! Это мой... знакомый.

— Выходи, пойдешь домой! — Иосиф Георгиевич предпринял последнюю энергичную попытку, даже просунул руку за стекло.

Она натужно рассмеялась, обнажив белые зубы. Охранник покосился на них, ухмыльнулся и покачал головой. Он курил «мальборо».

«Какие у нее колючие глаза», — подумал Иосиф Георгиевич, мучительно сознавая, что несправедливая ее ненависть высасывает ему душу, изнуряет, приносит страдания. И вдруг он почувствовал, как накатило, наплыло болезненное наслаждение.

— Не бросай! — застонал он. — Не бросай. Хочешь — изменяй, рожай от него детей, только не уходи! Не будь настолько жестокой. Хочешь — бей, плюй на меня, но не уходи. У нас же дочь, пойми, ей нужен отец.

— У нее будет настоящий отец.

— Я имею права!

Люся вышла из машины.

— Ты всегда был занудой. — Она прищурилась. — Если не будешь действовать на нервы, я разрешу тебе иногда встречаться с ней. И имей в виду: мне достаточно сказать одно слово — и из тебя вынут все внутренности, а твою голову наденут на палку и отнесут к твоим психам. Тут у них новая мода появилась — голову отрезать. Не хотелось такое говорить, но сам знаешь, они на все способны. Да, возможно, через пару-тройку дней заеду, возьму что-нибудь из моих тряпок. Пустишь?

Люся отставила в сторону ногу, специально, чтобы она засветилась в разрезе, играючи притопнула. Было, было что показывать. Охранник, вывернув голову, глянул плотоядно, клецнул зубами.

— Приходи, — быстро сказал Иосиф Георгиевич.

Люся проворно прыгнула на сиденье, Иосиф Георгиевич поторопился прикрыть дверцу. Как он потом корил себя за эту плебейскую услужливость: сам, своей рукой отринул любимую женщину! И еще дверцу прикрыл. «Мерседес» рванулся белой птицей, бесшумно набрал скорость, оставив позади черные обожженные дома, развалины, грязь и мерзость жизни, а также несчастного доктора Шрамма. На его бороду капали крупные слезы. Он страдал искренне, глубоко, задыхаясь от рыданий, думая о том, как ему плохо, как жестоко обошлась с ним судьба и что он вряд ли переживет предательство любимого человека...

Вместе с Лидером к Лаврентьеву приехали полевой командир Салатсуп, девица неопределенных лет в потрепанных джинсах и сопровождающий ее вертлявый паренек с тонкими губами.

— А это кто? — спросил Лаврентьев, ткнув в их сторону.

— Американское телевидение, — ответил Кара-Огай.

— На кой черт ты их привез?

Лидер не ответил. Девица подошла, виляя бедрами, и залепетала что-то на своем. Парень тут же стал переводить:

— Господин подполковник, мы представляем компанию Си-эн-эн. Кор-

респондент Фывап Ролджэ, — он показал на напарницу, — и я, Федор Сидоров, оператор. Мы хотели был попросить вас ответить на несколько вопросов.

— Мне некогда.

Оператор начал нервно переводить, девица учащенно задышала, повернулась к Кара-Огаю.

— Уважаемый Лидер Национального фронта! — торжественно заговорил парень. — Согласитесь ли вы ответить на некоторые наши вопросы?

— Я готов ответить на любые вопросы.

Парень поспешно стал готовить аппаратуру.

— Каковы цели и задачи вашего движения?

Кара-Огай удовлетворенно кивнул, заговорил размеренно, без пауз. Фразы его были округлыми, будто отлитыми из крепкого металла и потом хорошо отшлифованными.

— У каждого народа своя судьба. Наш многострадальный народ многое вынес, вытерпел, и история последних лет красноречиво говорит в пользу того, что должен был наконец наступить счастливый период. Мы шли к нему, как птица, которая летит к теплomu краю. Но известные вам и всему миру враждебные силы решили захватить власть в свои руки и не погнушались при этом пойти на кровавые преступления, втянуть в войну наш многострадальный народ, уничтожить законно избранного президента. Поэтому мы, отстаивая законы и идеалы справедливости, равноправия, интернационализма, суверенитета, объединились в наш Фронт. Защитишь Родину в лихое время — народ преуспеет, не защитишь — твой дом прахом пойдет... Кто они, наши враги? Это негодные, бесчестные люди, хуже последней собаки, им нужно не благополучие народа, а деньги, богатство и власть. Но народ объединится — горы свернет. Народ не признает — на ослином базаре посредником не станешь. Народ дунет — буря поднимется...

— Это правда, что вы сидели в тюрьме? — перевел оператор очередной вопрос.

— Да, — без тени эмоций ответил Кара-Огай. — Я пробыл в заключении в общей сложности девятнадцать лет.

— А за что?

— Это долгая история. Для некоторых людей я был опасен, и они сделали все, чтобы посадить меня.

«Ловко», — оценил ответ Лаврентьев. Он прекрасно знал, что Кара-Огай сроки имел за бандитизм и убийство.

— Ох, уж эти журналисты, никакого спасения от них нет, — произнес Лидер, будто и не было неприятной заминки. — Ну что, Евгений Иванович, не надоело тебе одному?

— Я не один — с полком.

— С полком, в котором ни одного солдата? — усмехнулся Кара-Огай.

— Не я принимал идиотское решение набирать войско из твоих земляков. Паршивые, я тебе скажу, из них солдаты. И хорошо, что разбежались. Вот только все сортиры, извини, дорогой Кара-Огай, загадили. Убрать после них некому.

— Сговоримся, Евгений Иванович, верну твоих солдат, и сортиры тебе почистят, и из полка игрушку сделают. Многие ведь у меня в боевиках. В стране, где воюют, нейтралитет невозможен. Или на той стороне, или на этой. Два ястреба сойдутся — гусю погибель. А вместе быть — рекой быть, порознь — ручейками, — глубокомысленно изрек Лидер.

— Это твои болваны позавчера штурм здесь устроили? — пропустив мимо ушей тираду, спросил Лаврентьев, хотя прекрасно знал, кто это был.

— Ведь сам знаешь, что не мои, зачем спрашиваешь?

— Жду, когда твои полезут. Может, сам скажешь, предупредишь?

— Твои начальники приказали тебе не вмешиваться: пусть эти черные друг друга колотят, лупят, это не наше дело. Так? А кто победит — с тем и говорить будем. Так? Но начальники твои не понимают, что, когда идет

война, оружие рано или поздно стреляет. Правильно? Рано или поздно ты втянешься в эту войну. Трех офицеров убили у тебя? Еще убьют... Я тебе, подполковник, скажу по секрету, что фундаменталисты получили из-за границы крупную партию оружия, Сабатин-Шах договорился... Теперь они начнут наступать, и первое, что сделают, — захватят полк, а потом всю твою технику бросят на нас. Про этот план сообщил наш источник... Женя, дай мне три танка как бы напрокат. Ты в обиде не останешься, и, клянусь, все будет между нами...

— Клялся медведь в берлоге не бздеть.

— Я прогоню из города фундиков, — проглотив реплику командира, продолжил Кара-Огай, имея в виду своих заклятых врагов фундаменталистов, — и возвращу машины в полк. А устроим все так, будто технику угнали... Согласен?

— А теперь слушай, что я скажу. — Лаврентьев мрачно усмехнулся. — Как говорят у нас в народе, моя твоя не понимай. Но тебе по старой дружбе поясню: всех, кто полезет в мой полк, я прикажу беспощадно уничтожать из всех видов оружия. Невзирая на нейтралитет. Патронов у меня хватит. Технику ни тебе, ни твоим лучшим друзьям не дам, можешь им передать, — и не только потому, что не могу, а, главное, потому, что твои идиоты зальют кровью всю республику и порушат то, что еще не порушили. Лично я этого не хочу. Только не обижайся, потому что к идиотам Сабатин-Шаха это относится еще в большей степени...

Кара-Огай порывисто, насколько это позволяла грузная фигура, поднялся, покачал головой:

— Смотри, подполковник, ведь пожалеешь. Ты не знаешь Сабатина. Он впереди боевиков погонит женщин и детей. И ты не сможешь стрелять...

Только ушел Кара-Огай, в штабе появились Штукин и Костя-Разночинец. Они держали носилки, на которых лежал бездыханный солдат. Поравнявшись с командиром, офицеры аккуратно положили свою ношу на пол.

— Что с ним? — спросил Лаврентьев.

— Не знаю, — ответил Костя. — Нашли на стадионе... Кажется, дышит, — склонившись над лежащим, добавил он.

— Черт, единственного солдата бы не загубить!

— Чемоданаев! — позвал Штукин и осторожно потряс солдата за плечо.

— Осторожно, не повредите! — предупредил Костя.

Солдат с трудом приоткрыл глаза, мутно посмотрел на столпившихся вокруг него офицеров. Оператор Сидоров протиснулся к ним, торопливо настроил камеру, включил лампу, начал суетливо и жадно снимать.

Чемоданаев, крихтя, сел, стал тереть глаза, потом, так и не вставая, пояснил собравшимся:

— Закемарил немножко.

— Снять бы с тебя штаны да выпороть как следует! — сурово заметил Лаврентьев.

— Сиди здесь, урюк, и не высовывайся! — прошипел начальник штаба и показал Чемоданаеву кулак.

Доктор же спросил у солдата, обедал ли он. Оказалось — нет. И Костя повел его с собой...

Утром в учреждении ЯТ 9/08, в обиходе «крытая», ничто не предвещало невероятных событий. Начальник тюрьмы товарищ Угурузов, собрав заместителей, напомнил о необходимости высокой бдительности: в городе участились стычки между вооруженными группировками. После чего, вдохновившись взаимопониманием, повел речь о том, что при любом режиме, даже самом демократическом, всегда существуют пенитенциарные учреждения. Этот благозвучный термин совсем недавно появился в обиходе начальника, и произносил он его с особым удовольствием.

Менее всего Угурузову хотелось встречаться сегодня с осужденными. Он вообще не любил общаться с ними: вечные жалобы, агрессивность, злоба.

«Митуги» давно не было, «прохоря» поизносились, — извольте понять этих негодяев, что речь идет о бане и сапогах. Он никак не мог привыкнуть к их постоянным претензиям к питанию, медицинскому обслуживанию, к требованиям улучшить условия жизни, облегчить режим содержания. Каждый раз, когда он выступал перед серой массой скуластых лиц, угловатых бритых черепов и повторял одно и то же — что «тут не санаторий», что рассмотрит все их вопросы, — чувствовал, как его буквально всасывает, подобно воронке, отрицательное черное поле, глухое, непознанное, губительное. Он ненавидел этих униженных, ярких, озлобленных людей, так же как и они ненавидели его: люто и на всю жизнь.

Общению с арестантами Угурузов всегда предпочитал, если можно так выразиться, общение со свиньями. В былые времена на хоздворе жизнерадостно хрюкало более сотни голов. Эти животные странным образом походили на людей: так же бесновались, когда запаздывала положенная кормежка, так же оттесняли от корыта слабых и больных, так же безобразно и мерзко предавались праздности и похоти, так же были ленивы и нечистоплотны.

«У них даже глаза похожи на человеческие, — подумал Угурузов. — Рыжеватые ресницы, смотрят подозрительно...» Свиньи повернули к нему сырые розовые пяточки и примолкли: узнали.

— Не бойтесь, не бойтесь, мордашки, я вас не съем, — засюсюкал начальник тюрьмы и стал чесать ближайшую свиноматку.

Она блаженно захрюкала.

— А где выводок? — строго спросил он у вытянувшегося в струнку зека-свинаря. — Вчера еще был выводок, пятеро поросят! — Угурузов посмотрел тяжело, с угрозой.

— Она их сожрала, клянусь матерью, сам видел! — стал божиться свинарь.

— А может, ты сожрал, а на животное сваливаешь, поганец?.. Ну, что ж ты, проститутка, малышей своих слопала? — Угурузов подергал свинью за ухо, она подумала, что он ее ласкает, заурчала. Но такой поворот Угурузова не устраивал, он рванул сильнее: — Вот тебе, вот тебе!

Свинья обиженно взвизгнула, заверещала, видно, не чувствовала вины и угрызений совести.

Угурузов повернулся к зеку, который сразу вытянулся.

— Люди — звери, — вздохнул Угурузов и задумался...

Последнее время он читал передовые общественные журналы и много размышлял. Недавно его поразила вычитанная фраза: «Революция всегда пожирает своих детей». В ту минуту он в волнении вскочил и стал ходить по кабинету. «Люди смешны в своих попытках изменить и улучшить мир, — думал он, вдруг ощутив, как будто перед ним раздвигаются невидимые ворота и открывается доселе скрытый смысл его былой жизни. — Революция разрушила Бастилию, и она же изобрела гильотину, которая сожрала тысячи людей, не забыв и революционеров, и автора чудовищного изобретения. Другая революция открыла двери Петропавловской крепости, устроив там музей жертв царизма, а потом, как в насмешку, построила сотни лагерей... Так всегда: сначала эти чистоплюи демократические кричат о свободе, а как дорвутся до власти — давай народ сверх всякой меры пачками в тюрьмы совать. А мы всегда и во все времена — тюремщики, душителы, сатрапы. Жупелы... Как это все надоело! — с тоской подумал Угурузов. — Скорей бы на пенсию». Он хмуро глянул на измученного гипотонией арестанта, распорядился:

— Возьмешь краску и крупно напишешь на спине этой свиньи слово «революция». И чтоб без ошибок!

В жилую зону Угурузов решил не ходить. А может, зря не пошел. Потому что, если б задержался возле неизвестной ему 113-й камеры, то мог бы много чего интересного услышать о себе. Арестанты давно уже не опасались, что их подслушают, «травили» во весь голос в духе времени.

Итак, в камере было пятеро: новоявленный вор в законе Вулдырь, Кон-

сенсус, Хамро, а также Косматый и его «шестерка» Сика, которых перевели в 113-ю по общему согласию камеры и зама начальника по режиму.

Косматый все время молчал — не только по угрюмости характера, но и из-за скудности словарного запаса, чего он, впрочем, не осознавал. Сика, попавший в представительную камеру, где жил, как оказалось, настоящий вор в законе, по загадочным причинам скрывавший это, еще не разобрался, каким боком ему выйдет новое местожительство: Сика не знал также, кому должен теперь подчиняться в первую очередь: Косматому или Вулдырю. Он старательно вымыл миски после худой перловки и лег на свое место у двери, уставившись в потолок. В камере зависла смердящая жара, даже мухи не летали, а лениво ползали, будто тоже, как и люди, покрылись липким потом.

Консенсус пытался было нарушить тишину:

— Интересно, как там, в «обиженке», Сиру посвящение сделали? Наверное, как новенького у параша определили...

Но тему не поддержали.

Консенсус нервно хохотнул и нарочито весело стал рассказывать истории о том, как уходил с двенадцатого этажа по балконам, как развлекался в гостинице с «ансамблем» девочек-«сосулук», как угнал у ментов патрульную машину...

В конце концов не выдержал Вулдырь:

— Хватит парашу пускать!

Он был не в настроении. Косматый раздражал его тупым безразличием на лице, и Вулдырь уже пожалел, что попросил перевести его в камеру. Но больше Вулдыря беспокоило то, что он «упорол косяк» с Сирегой. Опустить человека — дело нешуточное, и ему как пахану камеры могут сделать «предъяву» — по закону или нет поступили. Но самый крупный «косяк», за который «мочат» тут же, без разборки, — это за самозванство. Объявив себя вором в законе, Вулдырь рисковал по-крупному. Но Тарантул и Сосо, которые по легенде его короновали, — на том свете. Первый помер от старости, второго подставили, организовав побег и застрелив при попытке к бегству... А тут Вулдырю передали, что авторитет по кличке Боксер из 206-й камеры выражал сильное сомнение в коронации, потому как сам сидел в свое время в акабадской зоне, где тянули срок Вулдырь, Тарантул и Сосо, и ничего об этом не слышал. Но официальной предъявы пока не было. Еще Вулдырь знал, что Боксер «отписал маляву» в акабадское ИТУ и теперь ждал okazji, чтобы ее передать. Одно утешение — времена наступили лихие, и связь между зонами почти прекратилась...

Только Хамро был сегодня умиротворенным, спокойным и даже счастливым. Во-первых, до конца срока оставалось уже меньше полугода. Во-вторых, ему приснился чудный, светлый сон из детства. Под его обаянием он и находился, не обращая внимания на разборки и ссоры. Родной кишлак, мама, глядящая на него из-под цветастого платка лучистыми добрыми глазами, отец, сидящий на корточках перед костром. А над костром, на треноге, — казан с пловом.

А для Сиреги время отстучало свои первые горькие часы. Консенсус ошибся: Сиреги «приемов» не устраивали, но место ему быстро и по своей воле освободила невзрачная расплывчатая фигура, лицо которой он не разглядел. Он вошел в камеру, перепачканный тушью, обитатели, пять или шесть человек, все поняли, каждый из них в свое время прошел через такой же слом, разрушение... Никто не выразил ему сочувствия, наоборот, показалось, что все испытали удовлетворение — не столь злорадное, как успокоительное: «Вишь, еще один такой же, как мы...»

Главпетух «Светка» после долгой паузы произнес:

— Ты бы лицо помыл, дружан.

Сирега даже не посмотрел на него. И от новенького отстали...

Два или три дня он почти не вставал, пролежал на шконке, бездумно уставившись в потолок, не отвечал на вопросы, отказывался от еды. Одна и та же мысль возвращалась к нему: удавиться. Но даже на это у него не было

энергии, импульса. Тупая депрессия захватила его, временами казалось, что он сходит с ума.

Когда он окончательно пришел в себя и огляделся, то прежде всего внимательно рассмотрел окружающих его людей. Это были обычные с виду зеки, но что-то в них все же настораживало: бегающий, неустойчивый взгляд, повышенная раздражительность, озлобленность; каждый из них будто ждал, чтобы в любое мгновение взорваться, забиться в истерику. Почти все были неопрятны, в грязных робах, с лоснящимися от жира лицами, на которых появлялись в зависимости от ситуации или слащавость, угодливая покорность, или агрессивность, плаксивое выражение. Отличался от них лишь главпетух «Светка» — красивый высокий парень, в прошлом из воров. Как его «опустили» и за что, он никому не говорил. Произошло это или на пересылке, или в СИЗО, и он, зная правила, по прибытии в «крытую», сразу признался в случившемся с ним, потому что всегда это рано или поздно становилось известным и оборачивалось в противном случае самыми тяжкими последствиями.

Он-то первый и познакомился. Сирега не стал упрашивать себя, присел на койку, протянул руку:

— Сирега.

— А я Степан... Я все ждал, пока ты оклемаешься.

...В детстве одной из немногих прочитанных им книг была «Граф Монте-Кристо». И вот теперь смысл жизни романтического героя стал его смыслом. Он освободится и не успокоится до тех пор, пока его обидчики не будут наказаны. Нет, он не будет забивать голову благородными вывертами и усложнять мщение, как это делал граф. Сирега по-простому будет брать на штык, на шило, пускать, как говорят воры, «красные платочки», прошибать головы. А лучше — сначала похищать и прятать в подвале, где он устроит им «обезьянник», «обиженку» и потом медленно будет сводить счеты. С этой сладкой мыслью Сирега засыпал и видел рыхлые черно-белые болезненные сны, которые наутро никак не мог восстановить в памяти.

Просыпались поздно, как и в этот раз. Очухались окончательно, когда баладеры уже разносили по камерам обед. Огромные алюминиевые кастрюли они тащили по двое, обмотав ручки грязными тряпками, стараясь не расплескать раскаленное варево из свинины.

— Получай брандахлыст! — кричали разносчики, стуча половниками в распахнутые оконца на дверях камер.

В этот самый значимый для тюрьмы обеденный час где-то рядом началась бешеная пальба. Арестанты давно привыкли к городским разборкам, и звуки эти, безусловно, никак не могли влиять на аппетит. Но выстрелы зазвучали еще ближе, уже с территории тюрьмы, — своим обостренным в замкнутой среде слухом заключенные определили, что стреляли в районе вышки, слева от главных ворот.

— Наши пришли! — донеслось из камеры.

И единая счастливая догадка, озарение, выраженное в крике, вмиг получили тысячеголосую поддержку. Никто толком не знал, что за наши, кто они — главным было, что пришли освобождать. Тюрьма запрыгала, ходуном заходила, задрожали здания; будто по единой команде полетели в неприступные двери миски с супом, кружки. Железный марш свободы вырвался сквозь жалюзи, решетки, узкие щели — за колючий периметр. Автоматные очереди уже гремели во дворе тюрьмы. Ошалело побежал по коридору вертухай Саня Лобко, уронил фуражку.

— Ребятки, ребятки, я же вас всегда выручал, — бормотал он трясущимися губами, — защитите, ребяташки!

— Камеры открывай, ментяра!

— Чо стоишь, беги за ключами, морда протокольная!

— Живей, дыхалка гнилая! Шевели колесами! — неслось из камер.

Лобко заметался, позабыв от страха, где ключи, ринулся в дежурку. Его напарник, прапорщик, торопливо переодевался в «гражданку».

— Открывай быстро, если жить хочешь! — прохрипел Саня.

Прапорщик наскоро застегнул штаны, открыл решетчатую дверь.

— Переодевайся живо — и смываемся! — пробормотал он.

— Все равно поймают. Поздно! Пошли камеры открывать, — лаконично и сурово подвел итог службы младший сержант Лобко.

— Ты с ума сошел? — выпучил глаза прапорщик. Более он ничего не успел сказать, потому что в здание уже ломились небритые с усами и совсем безусые боевики. К сожалению, Санин напарник не успел снять рубашку с погонами.

— Эй, прапор, открывай живо! — заорали ворвавшиеся, потрясая решетчатую дверь.

Прапорщик безмолвно открыл, посторонился.

— Ну что, мучители трудового народа? Сейчас мы вас всех шлепнем! — зарычал парень в новенькой камуфляжной форме.

— Пусть сначала камеры откроет!

Со связками ключей и в сопровождении вооруженной толпы контролеры пошли открывать двери. В коридоре и в камерах царило буйство и ликование. Железные двери, цементный пол дрожали, как при землетрясении.

Прапорщик поспешил на второй этаж, а Саня уже открыл первую дверь.

— Выходи! Свобода! — с пафосом провозгласил чернобородый боевик, уперев руки в боки.

Лобко еле успел отскочить: дверь с грохотом отлетела, ударилась в стену, зеки высыпали в коридор, бросились к освободителям, те снисходительно позволяли себя обнимать, хлопали по плечам одуревших, счастливо озирающихся людей. Саня же путался в связке ключей, он взмок и торопился побыстрее закончить эту невероятную миссию. Как учили, по порядку: 111-я, 112-я, 113-я...

Из-за широких камуфляжных спин вдруг вынырнули две девицы. Обе — в приталенных защитных комбинезонах, крошечных черных сапожках. Одна — яркая блондинка, другая — восточного типа, совсем юная девчонка. Светловолосая бесцеремонно оттолкнула контролера Лобко, сказала «свали», вскинула снайперскую винтовку и выстрелом сшибла очередной замок. Боевики заржали:

— Bravo, Инга! А теперь продырявь этого пузыря!

— Пусть живет, плодит толстячков вместе со своей самкой! — с резким акцентом произнесла она.

Первым из 113-й вышел Вулдырь. Он пытался еще сохранить важность, но чувства пересилили, рот разъехался в ухмылке. За ним с ревом вылетел Косматый, помчался по коридору. Выглянул испуганно, как мышь из норы, Сика, принялся, осмотрелся. Консенсус, повизгивая, с объятиями бросился к уже освобожденным арестантам. Последним вышел из 113-й Хамро, счастливо зажмурился, пробормотал:

— Надо же... А я еще на полгода рассчитывал.

Тюрьма выла, ликовала; ошалевшие восторженные люди в черных робах срывали ненавистные бирки с груди, обнимались, плакали, прыгали, хлопали друг друга по спине... Черная масса хлынула во двор, в административное здание, медчасть, кабинеты начальства, оперчасть, переворачивая все на своем пути. Консенсус, которому на глаза попала стоявшая на табурете огромная пятиведерная кастрюля, с ненавистью опрокинул ее, и жирные потоки супа хлынули по коридору.

На хоздворе зеки поймали свинью с надписью «революция», прикрепили к голове «эмвэдэшную» фуражку. Кому-то в голову пришла идея повесить животное; тут же нашли веревку, затянули петлю поперек брюха и усилием десятка рук подвесили над главными воротами.

Офицеров и прапорщиков во главе с полковником обезоружили и построили в одну шеренгу. Два рослых боевика охраняли их.

На крыльцо в сопровождении охраны и приближенных вышел Кара-Огай. Толпа встретила его восторженным ревом:

— Кара-Огай! Кара-Огай!

Лидер властно поднял руку, призывая к тишине. Толпа мгновенно утихла, внимая кряжистому старику с хищным носом, седой бородой, в необматой камуфляжной форме и с ярко-коричневой кобурой на поясе. Легендарный человек Революции, Лидер Движения, воплощенный символ власти, жестокости и справедливости.

— Ну, что, каналы, истосковались по свободе? — неожиданно весело спросил Кара-Огай. Колочий взгляд из-под кустов-бровей скользнул по толпе, привычно охватив ее сразу и подчинив себе. Все ждали прочувствованной патетической речи о демократическом процессе и крахе тоталитарной системы. Но он заговорил о другом: — Братья, вы, конечно, знаете, что я тоже сидел в этой тюрьме, хлебал, как и вы, баланду и мечтал о свободе...

— Знаем, Кара-Огай!

— Я понимаю вашу радость, ваши сердца, открытые для свободы, — продолжил Лидер. — Я знаю, что среди вас есть безвинно осужденные. Но сейчас не время разбираться. Республика в опасности. Наши враги убивают безвинных людей, сеют зло, террор, сжигают дома. Они хотят превратить Республику в огромную тюрьму, лишить народ права быть свободными гражданами. Мы предлагали мирно решить наши разногласия. Но фундаменталисты отказались. И потому мы выступили с оружием против них, мы вынуждены были это сделать для спасения народа. Мы будем бороться, пока не победим! Наш лозунг: «Справедливость. Народ. Победа». Братья, я дал вам свободу. Но за нее еще надо побороться. Тот, кто готов вступить в ряды нашего Фронта и бороться с оружием в руках, — шаг вперед! Записываться у главных ворот.

Толпа ответила на призыв возбужденным гулом: распахнутые глотки, белые зубы, блеск сотен глаз...

— Ура Кара-Огаю!

— Ура!.. Свобода, брат, свобода, брат, свобода!!!

Рев, восторженный вой покатались во все уголки притихшего города.

Неожиданно Лидер стал что-то бросать в толпу. Взметнулись руки, зеки хватили документы, открывали, зачитывали фамилии.

— Ребята, это наши ксивы!

— Урюкан!.. Ухоедов!.. Жагысакыпов!.. Бырбюк!.. Дроссельшнапс!.. Жестоков!.. Неспасибянец!.. Разбирай!

И рванула братия — дела не было: возня, суета и давка.

— Кара-Огай! — Сквозь толпу протискивался Боксер. Он еще не видел поспешного бегства Вулдыря, но воровское чутье говорило ему, что пора заявлять о себе, подниматься над толпой. — Кара-Огай, а что с этими делать будем? — Он показал на неровную шеренгу сотрудников учреждения ЯТ 9/08.

— Судить их надо! — прозвучал над толпой трубный голос, могучий и роковой, словно самого архангела Гавриила.

— Расстрелять всех! — крикнул еще кто-то.

— В камеры их! — требовали менее кровожадные.

И в эту судную минуту Кара-Огай вновь повелительно поднял руку. Ропот сразу утих.

— Нет, казнить мы их не будем. Не для того мы боролись за идеалы свободы, чтобы теперь бесцельно проливать кровь. Мы не палачи. Они, — Лидер царственным жестом указал на понурых людей в форме, — конечно, глубоко виноваты перед народом. Но и они подневольные, еще более подневольные, чем вы, бывшие заключенные. Их жизнь — это вечная тюрьма. Для вас же тюрьма была только временным домом... И пусть сейчас каждый из этих людей покается. Мы их простим. А тюрьма еще понадобится для наших врагов, — неожиданно заключил Лидер.

...Через полчаса после описанных событий у Лаврентьева зазвонил городской телефон. В трубке послышался глуховатый голос:

— Ну, как тебе моя гуманитарная акция?

— Нет предела восхищению, — ответил командир, узнав Кара-Огая. — Как говорят у нас, горбатого и могила не исправит... Тебе мало своих бандитов, так ты еще этих выпустил! Они же весь город на уши поставят.

— Каждый человек, Женя, имеет право на свободу, — наставительно сказал Лидер. — Эти бывшие узники совести...

— Без совести, — уточнил Лаврентьев. — Дураку воля — что умному доля: сам себя сгубит.

Как всегда утром, доктор Шрамм начал обход. В конце коридора, возле лестницы, стояла койка, где, свернувшись калачиком, лежала пресловутая Малакина. Иосиф Георгиевич поднял одеяло, обнажив желтое старушечье тело с выпирающими ребрами.

— Малакина! — строго позвал он ее. — Ты что ж совсем ничего не кушаешь? Ай-ай-ай! Нехорошо...

Потом в таком же темпе доктор со свитой обошел второй этаж. Лавируя между койками, из-за недостатка места выставленными в коридоры, Шрамм высказывал замечания по поводу плохой уборки помещений.

После обхода стал вызывать пациентов. Начал с большого со странной фамилией Шумовой. Он действительно соответствовал ей. Возможно, что фамилия поспособствовала появлению некоторых странностей. Больной любил бегать по коридорам, изображая мотоцикл, урчал, пускал пузыри и даже катал на спине своих товарищей по палате. С прогрессированием болезни он стал необычайно прожорливым, нагло воровал пайки у больных, растолстел и больше не бегал, лежал или сидел на кровати.

— Ну, что, голубчик? — Доктор глянул на больного поверх очков. Его привела Аделаида. — Как вы себя чувствуете?

Шрамм отметил, что губы у больного напряжены и вытянуты вперед. «У него явный синдром хоботка», — подумал он.

— Хорошо, — осклабился Шумовой и подался вперед.

— Кормят как? Жалоб нет?

— Хочется кушать, — признался больной.

— Вижу. Что-то вы растолстели, милый мой друг. Перестали двигаться, все в кровати валяетесь. Раньше хоть бегал... — укоризненно заметил доктор.

При последних словах Шумового будто подменили, он оживился, радостно заурчал:

— Ур-р, ур-р-р-р...

— Ну, полноте, полноте, голубчик. Мне никуда ехать не надо. Странная мания — считать себя железным мотоциклом, — заметил он, повернувшись к Аделаиде. — Не перекармливайте его. С продуктами у нас плохо, — напомнил он. — Давайте следующего, Карима.

Больного Карима всегда называли не по фамилии, потому что она была сложна и непроизносима. Даже в письменном виде привести ее не представлялось возможным. Четверть из сорока своих лет он провел в лечебнице, причем в несколько приходов. Ему не особо радовались, но принимали уже как старого знакомого. Психушка, как и тюрьма, что располагалась неподалеку, — дело весьма разное. Наверное, оттого, что обладает особым свойством притяжением.

— Здравствуй, Карим. Заходи, садись, — приветливо начал Иосиф Георгиевич.

Больной молча сел, уставился в одну точку.

— Как здоровье, как чувствуешь себя?

— Спасибо, — буркнул Карим и сплюнул на пол. — Все мерзко.

— А вот это некрасиво, — мягко заметил доктор. — Ведь кому-то придется убирать.

— Будто не знаете, кому, — резонно парировал больной.

— Я вижу, ты сегодня не в настроении. А мне просто хотелось пообщаться с тобой. Между прочим, мне очень понравились твои рассуждения о взаимосвязи вселенского разума и смысла жизни конкретного индивида.

Карим поднял глаза на доктора.

«Так, так, — ободрился Шрамм, — кажется, его начинает понимать». Он знал, что Карим вошел в депрессионную фазу и теперь за ним следует наблюдать особо тщательно. Санитары нашли у него под матрасом старые бинты, которые он припрятал после перевязок: последнее время запаршивел, покрылся фурункулами. Все эти маленькие хитрости находчивых и неунывающих суицидников доктор прекрасно знал.

— Зачем ты прятал под матрасом бинтики? — как бы шутливо спросил доктор.

— Так просто, — отмахнулся Карим.

Шрамм заметил, что больной забеспокоился.

— Скажи честно мне одну вещь. Скажешь? — пытливо спросил Иосиф Георгиевич, глядя по возможности ласково и внимательно. Он знал, что его часто выдает хищный блеск глаз. Впрочем, ему было наплевать, повесится Карим или нет. Хотя для одной недели два суицида, пожалуй, многовато, даже по нынешним временам хаоса и всеобщего бардака.

— Ну? — выразил нетерпение Карим.

— Думаешь ли ты о самоубийстве?

Карим отвел взгляд.

— А о чем ты чаще всего думаешь?

— Ну, о чем... О всем. О том, что надоело все. Идиоты, например, ваши надоели.

— Сочувствую... Я ведь тоже среди этих больных людей, которых ты называешь идиотами...

— Я имел в виду врачей и санитаров.

— Предположим, что они тоже идиоты... А все же почему к тебе не приходят мысли о самоубийстве? Ты об этом совершенно не думаешь?

— А вы почему не думаете об этом?

— Давай договоримся, что вопросы буду сначала задавать я. Кто из нас врач-психиатр?

— Не знаю...

— Интересный ответ. Это значит, что ты не исключаешь возможности считать себя врачом... Но мы уклонились от вопроса.

— Давайте поговорим о другом! — нервно заметил Карим. — Что вы ко мне пристали? Я хочу, чтоб меня выпустили из больницы.

«Все ясно с тобой, — торжествуя сделал вывод Шрамм. — Если б в мыслях был чист, ответил, что думаешь не о смерти, а о работе, семье... Нервничаешь... Весь как на ладони». Вслух он сказал:

— Вот ты даже не можешь придумать ложный довод, чтоб ответить на мой вопрос о самоубийстве. И знаешь, почему? Потому что все твои мысли не о жизни, а о смерти. Поэтому давай-ка, милый друг, не будем торопиться с выпиской.

— Вы меня назвали другом, да еще милым. А я не являюсь вашим другом. С чего вы взяли, что я друг? Мне тут плохо, вы меня держите взаперти, не отпускаете...

— А тебе хотелось бы иметь друга? — пристально глядя в глаза собеседнику, спросил Иосиф Георгиевич.

— Зачем мне друг? Люди дружат для того, чтобы потом было приятней предавать.

Карим подошел к окну. Аделаида занервничала.

— Если б мне дали всего сто человек, — прикоснувшись к стеклу лбом, продолжил Карим, — я смог бы многое, очень многое, господин доктор. Вы в своей психушке подавляете людей. А ведь сколько здесь личностей! Даже выжившие из ума старушки способны на глубинную мудрость. Только слушать их надо другими ушами. Ваши не подойдут — конфигурация иная. От этого многое зависит... Я бы улучшил породу людей. Вы изобраете. Вы злой гений, который мечтает всех умертвить. Первые же сто избранных, которые в сверхчувственной форме воспримут мой разум, начнут новую эру человечества. Они станут посланцами мирового разума, моей идеи.

— В чем заключается ваша идея, уважаемый собеседник? — как можно спокойней спросил доктор. — И почему бы ее не применить здесь?

— Вы что, издеваетесь? — с отвращением произнес Карим. — Здесь ведь собраны одни отбросы, кал, черви, дебилные старухи и старики. Я же веду речь о живых, крепких индивидах, способных поглощать и трансформировать. Человек-трансформатор — вот образ личности будущего.

Когда больной с сестрой вышли, Шрамм открыл свою тетрадь, поставил напротив имени Карима дату и коротко пометил: «Суггестии поддается без видимого эффекта. Ярко выраженный синдром сверхценных идей. Бред реформаторства. Депрессивный период». А для красоты приписал на французском, в котором знал несколько фраз, изречение Паскаля: «Roseau pensant» — «мыслящий тростник». Потом подумал и расписался, хотя раньше так не делал.

Аделаида вернулась, приведя очередного больного.

— Предыдущему пропишите усиленную дозу пирогенала. Он уже на подходе, — небрежно отметил Шрамм, поднял глаза на больного, неожиданно просуюкал, будто прехорошенький дедушка-одуванчик: — Здравствуй, здравствуй, мой милый одноклассочный товарищ Зюбер! Неслыханно рад. А каков мужичка у нас есть! Красив, хорош, а осанка! Петушок, петушок...

Зюбер, страшно кося глазами, закивал, осклабился и пустил длинную слюну. Доктор встал, подошел к больному, вытер ему куском газеты рот, почесал за ухом.

— Любит, любит это дело! А кто ласки не любит? Ласковое слово и кошке приятно. А Зюбер у нас — человек... Ну, садись, садись. — Шрамм подтолкнул больного к кушетке, сам сел в кресло. — Прогрессируешь... — полуютвердительно заметил он, пристально вглядываясь в лицо Зюбера. — Ну-с, уважаемый собеседник, что расскажете мне? — начал расспрашивать Иосиф Георгиевич. — Какие жалобы?

— Зюбер хочет кушать! — косноязычно выпалил больной и заулыбался, обнажив щербатый рот. При этом он одновременно описывал руками сложные окружности, будто создавал вокруг себя особое поле.

— Прекрасно, прекрасно, — похвалил доктор. — Я ем — следовательно, существую. «Volo ergo sum». Его что, не кормят?

— Зюбер хочет кушать! — еще громче выкрикнул собеседник.

— Кормят, — поморщилась Аделаида. — Самый прожорливый. После Шумового. Боровы...

— А что еще мне скажешь? — зевнул Иосиф Георгиевич. — Только не говори, что хочешь кушать.

Зюбер посмотрел в окно, сморщил лоб и сообщил:

— Солнышко... гулять охота. Потом спать. Потом обед. Потом ужин... В кино хочу!

— Ишь, разговорился!.. Клетчатка. А ждет тебя, дорогой товарищ, одно — тотальное слабоумие и окончательный распад личности. И кино не поможет. Иди, Зюбер.

Следующему больному, Автандилу Цуладзе, Шрамм задумал устроить «прочистку мозга». Чем больше «сажи», тем настойчивее надо чистить психические тягостные воспоминания. У каждого шизофреника есть вытесненные в бессознательное и рвущиеся подспудно наружу аффективные переживания.

Он попросил больного сесть поудобней, опустить руки на колени, расслабиться. Потом включил тихую вязкую музыку, стал нашептывать привычный набор энергетически насыщенных, но бессмысленных в общем-то слов, от которых больных тут же морило в гипнотический сон.

Но с Цуладзе сеанс не удался. Сохраняя позу истукана, он гадко ухмылялся и, судя по всему, не собирался отправляться в гипнотические дали.

— Что вас беспокоит? — через некоторое время спросил Иосиф Георгиевич. — Мне сказали, что вы мечетесь, ходите взад-вперед, будто не можете найти себе место.

— Здесь, доктор, действительно нет мне места. Мое место... далеко отсюда. И роль предначертана иная, а не та, что мне навязываете: валяться на кровати в вашей лечебнице. Вы маленький узурпатор, в ваших руках жизни и судьбы, а мы, несчастные, безгласны, но не безглазы.

— Оставим это, — как можно мягче попросил доктор, усмехнувшись про себя: «Еще один мессия».

— Оставим, — согласился Автандил.

— У вас не бывает смутных ощущений, позывов совершить нечто ужасное? Скажем, давным-давно вы пережили что-то тяжелое, отвратительное, гадкое. И вот спустя годы у вас появляется навязчивое желание повторить это, сотворить нечто нехорошее, страшное, преступное, и вы сознаете, что для вас это привлекательно...

— Есть такое, — сразу же сознался Автандил.

— И какое же? — спросил Шрамм дружелюбно и заинтересованно. — Не таитесь, я доктор, я все пойму, именно во мне вы найдете сочувствующего...

— Мне хочется снять с вас золотые очки и раздавить их своим солдатским ботинком.

— За что?! — поразился доктор.

— За то, что после встречи с вами меня рвало. Вы мне прописали какую-то гадость... Кстати, ботинки, которые мне выдали, тоже не нравятся. Их уже носил солдат из соседнего полка. Я это точно знаю. Он умер, а ботинки мне достались. Вы, наверное, хотите, чтобы он приходил ко мне по ночам и требовал вернуть их обратно?

— Фу, что вы понапридумали! — сказал с укором доктор. — Конечно, они не совсем новые, но не с мертвого же. Я бы вам дал другие, уважаемый Автандил, но у меня нет. Честное слово. Такие трудности со снабжением, если б вы только знали... Ради Бога, успокойтесь! Я просто выразил взгляды одного ученого, которые в общем-то мне близки. С вами я тоже согласен. Жизнь человека, как говорил один философ, все время болтается между трезвой и скукой.

— Идеалов нет! — запальчиво выплеснул Цуладзе. — Отсутствие идеалов — вот идеал. Смысла жизни тоже нет. Его смысл — в отсутствии смысла. Все отрицает все. Это закон. Хотя законы тоже не нужны. Это хоть вам понятно? У вас, черт побери, высшее образование! А вы лепечете, как младенец. Что-то там вычитали...

— Ну а теперь послушайте меня. — Шрамм подался вперед, на губах его появилась саркастическая улыбка. Он стал говорить, словно отвечать на каждое слово. — Вы умрете в этих стенах. С возрастом ваша болезнь — паранойяльная шизофрения — будет прогрессировать. Вы сможете не без любопытства наблюдать у себя учащение аффективно-бредовых приступов, не менее интересны будут чередующиеся галлюцинации. Все более вы будете уходить, замыкаться в своем иллюзорном мире, в котором будете считать себя непризнанным гением, полководцем, а может, вождем индейцев...

Вдруг Автандил, слушавший молча, оскалил зубы, подскочил, будто подброшенный пружиной, молниеносно сорвал с докторского носа очки, потряс ими в воздухе, швырнул на пол и тут же с хрустом раздавил.

Иосиф Георгиевич закричал, как раненое животное, замахал руками, но Автандил уже стоял счастливым истуканом, со скрещенными на груди руками. Доктор хватал ртом воздух, не находя слов от ярости, больной же, откланявшись, ретировался в коридор.

На шум прибежала Аделаида Оскаровна с расширенными от ужаса глазами. Ее взору предстал задыхающийся от гнева доктор, он держал расплюсченные очки, напоминавшие маленький сломанный велосипедик.

— В смирительную рубашку мерзавца! На сутки! И атропину ему в задницу! Или лучше пирогеналу — тысячу МПД!

Аделаида с трепетом выслушала этот крик, против обыкновения ничего

не уточнила, выскочила из кабинета, коря себя за то, что оставила доктора наедине с больным. Через минуту появились дюжие санитары — братья Иван и Степан.

— Вязать, вязать его! — крикнул доктор, подслеповато щурясь. Без очков он сильно смахивал на вождя революции Л. Д. Троцкого.

Братья кивнули чугунными подбородками и, засучивая рукава, радостно бросились за медсестрой.

Потом пришел врач Житейский, привел больного с полными карманами осколков стекла. Содержимое высыпали на стол, больного заставили покаяться. Иосиф Георгиевич выразил недовольство по поводу плохого контроля за территорией. Потом он поинтересовался перлюстрацией писем.

— Читаю регулярно. Письмо Кошкина пришлось изъять.

— Жалуется на условия?

— Наоборот: себя обвиняет во всех грехах.

— Кошку в детстве повесил? — спросил доктор Шрамм.

— Нет. Что-то из области изначальной своей греховности.

— Пусть пишут. Все равно почта не работает, — заметил Иосиф Георгиевич. — Пусть, пока бумага не кончится.

Под вечер доктор неожиданно для себя напился. Он достал градуированный пузырек со спиртом, разбавил водой, залпом выпил и тут же захмелел. «Мои губы расплзаются в дурашливую ухмылку, — подумал доктор и почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. — Черт побери, да это же Аделаида Оскаровна. Собственной персоной! Как это она только вошла? Ведь я дверь закрыл на ключ, — пьяно удивился он. — Однако у нее поразительные способности. И жгучие глаза. В такие глаза хорошо смотреть под аккомпанемент едва заметного намека на шум прибора. Именно так: едва заметного намека».

— Иосиф Георгиевич, — молвила женщина, — я увидела, что у вас горит свет...

— И — многозначительная пауза, — сказал доктор. — Какая же ты смешная!..

— Хотите, я вам принесу поужинать?

— Хочу!

Она приоткрыла дверь, появился с подносом Юра — самый молоденький санитар. «Юрка — сирота, ни квартиры, ни черта». Как показалось Иосифу Георгиевичу, ужин был водружен на стол с излишней театральностью. И он счел нужным отреагировать аплодисментами.

— Кушайте. Приятного аппетита, — сказала Аделаида Оскаровна.

— Какая-то вы сегодня не такая!

И действительно, даже с поправкой на пьяное преувеличение Ада была сегодня хороша. Она зачесала назад волосы, приоткрыв свои чудные маленькие уши, ярко, но не броско подкрасила губы, подвела глаза, которые, впрочем, по своей чувственной и энергетической силе в том не нуждались. И смотрела она тоже по-особенному: тревожно и вопросительно. Яркие пятна губ и глаз. Чужое, незнакомое лицо. Но и влекущее...

Не спросив разрешения, она сняла белый халат, впрочем, уже расстегнутый, бросила его на спинку стула. На ней было короткое легкое платье бледно-розового цвета. Доктор никогда не видел ее в платье — все время в безукоризненно белом халате. Она исхитрялась приходить раньше, а уходить позже. Необычайно привлекательное одеяние приоткрывало круглые колени и довольно тугие ляжки. «Ей, кажется, где-то около сорока», — подумал Иосиф Георгиевич, остановив взгляд на смелом вырезе на груди. Аделаиду сегодня явно подменили. «И сиськи у нее ничего, — с пьяной бесцеремонностью оценил доктор. — Ох, уж эти белые халаты на женщинах! Один их вид стерилизует мужчин!» — еще более развязно заключил он.

Аделаида присела на край стула, свела колени.

«Сейчас или никогда!.. Подумаешь, ценности!» Он кашлянул, зажмурился, как кот, и бухнул:

— Раздевайся!

Когда он открыл глаза, Аделаида уже стояла и, глядя поверх его головы, торопливо расстегивала немногочисленные пуговицы у себя на груди. Доктор еще раз зажмурился, дивясь силе своей власти, и, когда вновь поднял веки, Аделаида стояла уже в одних чулках телесного цвета. Изящно поставив ногу на стул, она стянула сначала один чулок, затем — так же неторопливо — второй. Доктор зарделся. Ни одна женщина не устраивала ему стриптиза. И это неожиданное зрелище сильно взволновало его. Хмель не то чтобы прошел, а превратился в иное качественное состояние — подстегивающий допинг любви. Аделаида (да и она ли это?) смело и требовательно взяла доктора за руку, вытащила из рыхлого кресла, потом повернулась спиной, качнула полными бедрами...

«Высший пик мужественности для мужчины — это женщина, — спустя известное время расслабленно подумал доктор. — Именно так».

Потом они, сидя на кушетке со сведенными коленками, пили разбавленный спирт, пьянели, дуряя от самой ситуации: они, коллеги, многие годы разделенные субординацией, ныне потеряли рассудок, стыд, жадно ищут остроту ощущений, а может, просто спасаются от одиночества. Забыв про осторожность, громко, взахлеб вспоминали они былую жизнь, искали и, безусловно, находили скрытые знаки и мгновения взаимной симпатии, тянувшейся долго, незаметно, спрятанной глубоко в потемках души. А возможно, и не было ничего: ни скрытой привязанности, ни духовного единения. Но сейчас им казалось, что был у них долгий тайный роман и вот наконец они соединились этой ночью.

К дверям несколько раз подходили дежурная медсестра и санитарка, прислушивались к смеху и искаженным алкоголем голосам, ошалело переглядывались, боясь произнести вслух страшную догадку.

...Под утро они заснули. Проснулись от шума в коридоре. Когда он стих, Ада выскочила первой. Доктор остался, он даже не вышел на утренний обход. До вечера ждать не было никаких сил, и Иосиф Георгиевич, промучившись целый час, вызвал Аду к себе, закрыл дверь на ключ и стал нетерпеливо снимать с нее одежду. Но, к их досаде, кто-то постучал, Ада поспешно застегнула халат, доктор, скрежеща ключом и зубами, открыл дверь. На пороге стоял Житейский.

— На утренний обход идете? — спросил он.

— Нет, пожалуй. Сегодня — без меня. Надо подготовить кое-какие срочные документы, — соврал Иосиф Георгиевич.

Через три часа они снова закрылись, и опять кто-то начал рваться. Доктор чуть не взвыл от досады.

— Я сейчас привезу Малакину, — тихо сказала Ада. — После приема пицци она в дремотном состоянии. Мы закроемся, как будто для сеанса гипнотерапии...

Она так и сделала: привезла на тележке больную, которая едва подавала признаки жизни. Шрам повесил на дверь табличку: «Не входить! Сеанс гипноза!» Придвинув тележку с Малакиной к окну, они вновь бросились в объятия друг друга. «Экий, однако, эксгибиционизм», — подумал доктор, заметив, что Малакина наблюдает за ними из-под прищуренных век...

Этой же ночью в маленькой слепой комнатухе под самой крышей стены лечебницы укрывали еще одно тайное свидание, скрытное, запретное, будто ворованное. Здесь, в угловой каморке, обитал уже второй год «Юрка — сирота, ни квартиры, ни черта» — с тех самых пор, как «выпущился» из детского дома. Никто его в этой жизни не встречал и не ждал, от армии его чудом освободили по здоровью, которое было под стать детдомовскому благоденствию. И вот в свои восемнадцать с половиной лет он оказался в такой же степени свободным, как и глубоко несчастным. Маленький чемоданчик в руках, уютские воспоминания в черно-серых тонах, как и само то здание...

Удел слабых там был один: молчать и даже волю слезам давать лишь глухой ночью.

Может, Божье провидение привело его, и Юрка-сирота нашел свое место в больнице среди отверженных, несчастных, брошенных... Он сразу понял, что именно здесь может жить по тем смутным, всегда довлевшим над ним понятиям справедливости, которые из-за скудного детдомовского обучения не мог выразить ясно, красиво и последовательно. Впрочем, возможно, недостаток пылких слов как раз и играл защитную роль в его тайном стремлении к добру — в ответ на злобу и жестокость, которые достались ему, отсутствие любви и ласки с самых пеленок.

В лечебнице к нему отнеслись с подозрением. Мало охотников на грязный и неблагодарный труд — все больше старухи да опустившиеся мужики, которым за сорок, непутевые, озлобленные, зашибающие крепко, отчужденные. Иосиф Георгиевич долго вертел в руках Юркины документы, задумчиво глядя на прочерк в графе «родители» — ведь Юрка был самым классическим подкидышем. Восемнадцать лет назад, ранним утром, его нашли завернутым в несколько одеял на пороге детского дома. При нем обнаружилась записка: «Прошу назвать мальчика Юрой. Простите меня, люди!» Этот клочок бумаги, как ни странно, умудрились сохранить. И вместе с напутствиями и пожеланиями он получил и это байстрючье «свидетельство о рождении». Хранил его Юрка как самую дорогую, бесценную святыню, ведь это было все, что оставалось и связывало его с матерью, которую не знал. В романтических грезах она часто представляла перед ним прекрасной и доброй царевной, и только страшные и таинственные обстоятельства вынудили ее поступить с ним таким образом...

К Юрчику быстро привыкли. И он, серая детдомовская мышка, вдруг осознал, что необходим, нужен этим несчастным, измученным душевным недугом людям. Больные, даже в самых тяжелых клинических формах, отличали его среди других санитаров, улыбались, привечали, и он не гнушался их обществом, тянулся к ним, потому что понимал: он может защитить слабого, успокоить припадочного, обслужить бессильного. Жить Юрчик стал при больнице. Начальство это устраивало — по сути, он оставался на круглосуточном дежурстве. Он редко выходил за пределы лечебницы, питался вместе с больными и не искал другой жизни в городе, потому что там все было ему чужим.

Так бы он и жил среди грубых и ленивых санитаров и санитарок, потихоньку старел, возможно, стал бы циничней и черствей. Но опять провидение, ставшее милостивым после стольких лет печали, решило подарить ему маленькое таинственное счастье. У этой тайны было девичье имя Маша. Сначала их встречи происходили в столовой, где она иногда помогала поварамам готовить пищу. Маша ходила в платке, который почти полностью укутывал ее голову, смотрела на мир голубыми, как тающие под ясным небом льдинки, глазами. И, увы, были они такими же холодными и безжизненными. Иной раз в ее отрешенном взоре что-то вспыхивало, будто далекое и фантастическое для этих мест северное сияние. «Почему она будто не от мира сего?» — спросил однажды Юра у Житейского. Про других никогда не спрашивал, а вот про нее спросил. «Все мы здесь не от мира сего, — изрек Житейский. — Вот ты сейчас пойдешь «утку» из-под Малакиной вытаскивать, а она в это время в космосе витает, а может, где-то в средних веках... — Уловив непонимание в глазах Юрчика, добавил: — У Маши рекуррентная шизофрения, фантастически-иллюзорный онейроид. Она живет в искаженном мире». «Она сама его придумывает?» — спросил тогда Юра. «Так нельзя сказать», — туманно ответил Житейский.

Юра поверил про космос, долго размышлял. Ведь если она живет в фантастических грезах, которые сама не выдумывает, так кто же тогда ниспосылает их, кто режиссер этих видений, которые уносят человека из реального мира? Или же сломанное, изувеченное, испорченное сознание само переключает себя в мир нереальности, прячется в нем, живет счастливо или же, наоборот, безвинно заставляет страдать человеческое тело.

Однажды Маша, будто очнувшись, выплыв из своих грез, подошла к Юрчику, коснулась его руки, сказала:

— Ты не такой, как все, почему?

— Не знаю, — чистосердечно ответил он.

— Ты добрый?

— Не знаю, — опять односложно повторил он, не в силах оторвать взгляда от ее глаз. Они сияли, они проснулись, горел в них огонь, вернее, свет, который заполнял все вокруг. Юрчик ощутил, как забилося его сердце, ему стало хорошо и весело на душе: ведь Маша ощущала его, разговаривала с ним, как с настоящим живым человеком, а не призраком ее холодного космоса.

...Случилось все поздним вечером, когда Юра уже собирался уединиться в своей каморке. Она остановила его.

— Ты тоже сумасшедший? — спросила Маша.

— Нет, я санитар, — честно ответил он.

Она нахмурилась.

— Я не люблю санитаров. Особенно санитарок. Они жестокие, привязывают меня к кровати, а это мешает мне летать. Но я все равно развязываюсь, когда они уходят. Но ты другой. Ты, наверное, тоже сумасшедший, но не знаешь об этом.

Он уже хотел уйти, оставив ее одну, но она увязалась, пришлось привести ее в каморку. Маша рассеянно огляделась, села на его кровать и тихо сказала:

— Мне никто не нужен, и я никому не нужна. И ты никому не нужен. Когда люди не нужны друг другу, они начинают думать, как бы сделать что-то плохое. Я это по себе знаю. Иногда мне хочется ущипнуть старшую медсестру. Но я ее боюсь, однажды она приказала меня отравить, и меня кололи огромной иглой. А я все равно выжила... Тебе не страшно ночью одному? У тебя задумчивые глаза... Как-то я проснулась и почувствовала себя самой счастливой: мне приснилось, что я на берегу огромного моря, а волны в нем фиолетовые...

Маша говорила, точнее, роняла фразы, Юра слушал, не вникая особо в смысл, просто внимал звукам ее голоса. Сумасшедших не всегда можно понять, легче просто радовать их своим вниманием. Что же касается Юрчика, то он был просто счастлив, потому что на его кровати сидела девушка. Никогда в жизни с ним рядом не сидела девушка.

Через два дня она снова увязалась за ним, и Юра не смог ее прогнать, хотя знал, что поступает нехорошо, нарушает правила внутреннего распорядка и что-то там еще, на что без всякой причины намекал главный врач Иосиф Георгиевич... В тот вечер Юра был свободен, никуда не торопился, и ему не хотелось, чтобы Маша ушла. Он стал рассказывать ей о себе, она старалась внимательно слушать, хотя давалось ей это с трудом, — Маша отвлекалась. Тем не менее грустные Юркины рассказы вызывали у нее массу разных эмоций, реальных и фантастических ассоциаций; иногда она улыбалась, закрывала глаза.

Вдруг Маша распустила узлы на глухом платке, и чудные волосы рассыпались по плечам. Юра догадывался, что она их прятала, потому что большинству больных независимо от пола всегда делали «нулевку». В клинике профилактиковали педикулез. «Я по ночам мою их холодной водой», — по секрету сообщила девушка.

И Юра тут же поставил на плитку кастрюлю с водой, подогрел и профессионально да и с удовольствием вымыл ей голову, причем настоящим французским шампунем, который купил как-то, сам не зная для чего — ведь пользовался обычным мылом. Потом он насухо вытер ее выющиеся волосы, и они тут же приобрели блеск темного золота. Никогда в жизни Юрчику не приходилось прикасаться к таким прекрасным шелковистым волосам. Неожиданно для себя он осторожно обнял Машу за талию, она не вздрогнула, а

доверчиво прижалась к нему. И будто горячая волна захлестнула неискушенную Юркину душу.

— Бедная ты, несчастная девочка, такая же, как и я... — прошептал он, почувствовав, как подступили слезы. И уже не по-мальчишески, а со взрослой грустью подумал; что же делать ему с этой маленькой, жалкой, брошенной всеми узницей «желтого дома»?

Маша вздохнула, взяла Юркину голову в ладони и приникла к его губам.

— Мы по-настоящему целуемся? — слегка отпрянув, спросила она.

— Не знаю, я никогда не целовался, и меня не целовали... — ответил он, когда справился с дыханием.

Он взял ее маленькую руку и стал рассматривать: в его огрубевшей ладони она напоминала маленькое крылышко — полупрозрачная кожа, голубые прожилки. Что можно сделать такими руками, такими тонкими пальчиками? Он вдруг испытал неведомое благоговение перед этим чудесным созданием природы — хрупкой девичьей ладошкой.

«Стреляйте», — тихо сказал он и пошел в обратную сторону мимо чугунно-монолитного строя танков, механических олигофренов... Единый залп потряс небо, землю, будто выплеснулись воедино тонны крови. Лаврентьев почувствовал, что прижат к земле, а вокруг, медленно вращаясь и кувыркаясь, летели и падали на него миллионы осколков лопнувших стальных труб, которые уже никогда не станут огненными стволами...

Наваждение продолжалось всего лишь мгновение, короткое и ослепительное, не дольше, чем жизнь вспыхнувшей в темноте спички. Лаврентьев понял, что «отключился», но никто в окопах даже не успел этого заметить. Рядом с ним скрючился на корточках майор-запасник Чеботарев, курил, скрывая огонек в ладонях. Мудрый майор, морщинистый, старый, зубастый по характеру, как нильский крокодил.

— Пойду в штаб, — сказал Лаврентьев. — Только не усните.

— Старая гвардия не подведет... — тихо ответил Чеботарев.

Командир позвал Штукина, который тоже сидел в окопах, и они вместе пошли в штаб. В черных окнах едва проглядывали два огонька: на весь штаб было не более трех керосиновых ламп. Лаврентьев приказал прозвонить во второй караул, охранявший артсклады, узнать ситуацию. Начальник штаба ушел, а Лаврентьев направился в свой кабинет. Ольга сидела на телефонах, сонная золотоволосая «муха-цокотуха». Он так и назвал ее, когда вошел.

— Оленька, хочешь я переведу тебя в столицу, хочешь — в Россию? Чего ты здесь мучаешься среди мужиков? Отправлю тебя с ближайшей колонной, выправим документы, перевод, у меня кадровик есть знакомый, что хочешь устроит. Соглашайся! Найдешь себе парня хорошего. Здесь у тебя счастья не будет, точно тебе говорю, поверь опыту злого и черствого человека...

— Спасибо, Евгений Иванович. — Она мягко коснулась груди Лаврентьева. — Но я останусь с полком. Мать у меня умерла, отца я почти не знаю. Никого у меня нет...

— Иди поспи. — Он развернул ее к выходу и подтолкнул.

...В следующую ночь подполковнику Лаврентьеву не снились танки. Сны его были черны и пусты, как брюхо голодного негра. Около двух ночи он проснулся от грохота танкового дизеля. Подумал: механик дежурной машины решил опробовать двигатель. Но тут загрохотало еще лучше, присоединились вторая, третья машины. Командир выскочил в кромешную темь, на ходу застегиваясь, а впереди него бежали некие дежурные тени, кричали, размахивали руками. Но было поздно. Три черных гиганта, урча, развернулись на асфальте и, набирая скорость, рванули ко второму КПП. С железным скрежетом и грохотом рухнули ворота, танки, подминая и размазывая их, устремились на свободу; в ночи хорошо было слышно, как механики-водители спешно переключали передачи, как торопливо, с металлическим журчанием крутились гусеницы. И опять постепенно все замерло, будто затянuloсь

прежней тишиной. И Лаврентьев понял, что Кара-Огай таки его переиграл. Он достал сигарету, закурил. «За танки мне точно оторвут голову. Припомнят все: и независимость, и свободу суждений, и показную «самостийность». Плевать,— бесшабашно подумал Лаврентьев.— Пусть снимают». В эту минуту подобная перспектива его не пугала, впереди открывались неожиданные и даже привлекательные повороты судьбы. К примеру, навсегда расчитаться с давно опостылевшей военной службой, в которой ему не видеть ни академии ГШ, ни лампасов.

— Это вы, товарищ подполковник? — спросила его темнота.

— Я. Что скажешь? — Он узнал Козлова. — Сейчас будешь тереть ухо и докладывать, что танки уперли караогайцы?

— Никак нет. Это были наши, из аборигенов,— поторопился доложить начальник разведки, отнимая руку от уха. — Лейтенант Моносмиров, прапорщик Тулов и боец. Фамилию не помню...

— Вот сволочи!.. Купились! А третий кто — Чемоданаев?

— Чемоданаев в дежурке спит... Третий — из дезертиров, за Огай воюет... Они идейные, товарищ подполковник. Я давно за ними присматривал, все в бой им не терпелось.

— Присматривала бабка за своей девичьей честью... И дежурный, сукин сын, упустил! Прошляпили, проспали...

Беззаботное настроение улетучилось. Да и чего ваньку перед подчиненными ломать! Думай, с какой рожей появишься перед полком и объявишь, что три танка удрали на волю, и кто знает, в какую сторону захочется пострелять бывшим однополчанам... Это был крах, позор, стыдоба на всю Среднюю и Центральную Азию и прилегающие районы. У Лаврентьева свистнули танки. Зеленые пацаны увели из-под носа без единого выстрела. Уже совершенно рассвирепевший, он вбежал по лестнице в штаб, чуть не сбив с ног бросившегося навстречу дежурного.

— Ну ты, гад, говори, как танки упустил! Дрыхнул? — От злости у Лаврентьева перекосило рот. — Расстреляю! До трибунала не дотянешь!

Он позвонил в Москву Чемоданову, доложил, выслушал положенный его душе мат. Ждал, когда генерал объявит о том, что будут его, бедолагу, а вернее, валенка и недотепу, снимать с должности, но не дождался. Чемоданов приказал в сжатые сроки найти танки, детализировать не стал, а насчет уничтожения их даже и не заикался.

Только он закончил разговор, тут же раздался звонок. «Война по телефону», — подумал он и как в воду глядел. В трубке раздался чей-то мерзкий гнусавый голос с ярко выраженным южным акцентом:

— Ты меня на порог не пустил, да? Прогнал, уходи, говорил, да? А танки уехали. Ай, как нехорошо! Да? Москва башка даст? Впиндюрит! Правда, командир? Умным был — бакшиш получил! А сейчас — нет танка, нет бакшиш. Трудно быть бестолковым... Ну, гудбай, полковник. Генералом не будешь... Иди к нам — командир отделений будешь!

Он еле узнал, скорей даже догадался, что этот поток бахвальства, наглости и самоуверенного хамства исходит не от кого иного, как Салатсупа. И Лаврентьев, наливаясь яростью и злобой, зарычал:

— Ну ты, обезьяна! Если танки к исходу дня не будут возвращены, я тебя отловлю, заряджу твою огурцовую голову в самую грязную пушку и выстрелю в твою же задницу. И передай Кара-Огаю, что такие шутки со мной не проходят. Если он не хочет, чтоб я выступил на стороне Сабатин-Шаха, пусть срочно делает выводы. И еще передай, что ровно через сутки я отдам приказ уничтожить танки. Такая же задача поставлена командиру вертолетной эскадрильи... Ты все понял, обезьяна?

В ответ раздался напряженный смех.

А потом позвонил и предложил встретиться Сабатин-Шах. Но он просил гарантий своей безопасности. «Приходи,— сказал командир,— в полку тебя никто не тронет». Глава фундаменталистов появился в сопровождении своих молодчиков — двух совершенно диких афганцев и трех не менее диких соплеменников. На Сабатин-Шахе были серый костюм с отливом и белая чалма.

— Ну, говори: что хочешь от меня? — напрямик спросил Лаврентьев, чтобы избежать утомительного церемониала из череды пустых вопросов и таких же пустых ответов.

— Зачем танки отдал этому шакалу? Ты же говорил, что нейтралитет! — Гость смотрел тяжело, вот-вот засопит от возмущения. — Кто говорил мне, что никому не дашь оружия, что не хочешь, чтобы гибли новые люди?

— А кто тебе сказал, что я дал? — грубо спросил Лаврентьев. Ему захотелось схватить этого кровавого интеллигента, по приказу которого вырезали несколько сотен человек, и хорошенько треснуть о край стола, а потом намотать его галстук на свою руку и долго и задушевно говорить о российском нейтралитете. «Какая же это гадина, и вот с такими я должен соблюдать видимость дипломатического этикета», — подумал он с отвращением.

Гость поморщился. «Как же, университетское образование! Богословский факультет в Саудовской Аравии. А меня, конечно, за сапога принимает», — подумал Лаврентьев, хорошо зная, чего добивается непрошенный гость. Командир демонстративно посмотрел на часы.

— Речь идет о том, что ваша сторона должна безвозмездно выделить нашей стороне пять танков: три — соответственно количеству, переданному нашим противникам, еще два — за упущенную стратегическую инициативу, — ровным голосом произнес Сабатин-Шах.

От такой наглости Лаврентьев даже присвистнул. До чего дошло командирское бесправие, когда любой пыжающийся верховод с улицы может прийти в полк и требовать выделить ему по каким-то его логическим умозаключениям энное количество танков, техники и чего еще душа возжелает!..

— А чего за упущенную инициативу — только два? Ты не справишься, надо как минимум еще пяток. Да и пару запасных боекомплектиков не помешает...

В глазах Сабатина сверкнули молнии. Он постарался скрыть эмоции, отвел взгляд и негромко сказал:

— Человек, который нарушает свое слово, подобен ветру с песком: люди от него морщатся и отворачиваются. Я сделаю так, чтобы весь мир узнал, что русский подполковник, командир сто тринадцатого полка, продал три танка фанатикам Кара-Огая и тем самым нарушил нейтралитет. Сегодня же я сделаю заявление перед прессой. Жаль, что мы расстанемся врагами. И не забывайте, что в моих руках — судьба всего русскоязычного населения. А потом и до вас доберемся. Не забывайте: мы здесь хозяева, а вы гости...

— Нам больше не о чем говорить, — вежливо напомнил Лаврентьев.

«В обычае кровной мести есть саморазрушающее начало, — подумал он. — Мужчины народа, которые гордятся таким обычаем, считают себя самыми достойными, мужественными и смелыми. Но историю не обманешь. «Естественный отбор» кровной мести приводит к вырождению народности. В схватку идут самые сильные и отчаянные. Они и погибают».

И тут доложили, что пропал майор Штукин. Он еще с утра выехал во второй караул, должен был вернуться к обеду, но часы истекли, старший караул сообщил, что майор убыл полтора часа назад. В мирное время бабник Штукин мог застрять у одной из своих городских девочек. Знакомыми его были, как правило, работницы-передовицы подшефного камвольного-тукового комбината. Нынче же на половые приключения мог пойти лишь ненормальный. Но тут из дежурки выскочил, будто ошпаренный, капитан Коростылев и сбивающимся голосом сообщил, что звонил неизвестный, который сказал, что Штукина взяли в заложники.

— Кто это был? — У Лаврентьева желваки заходили на лице.

— Не знаю. Они не представились. Сказали, что через сутки пришлют голову и погони, если не передадут им три танка.

— Сабатин... Ну, сукин сын, интеллигент паршивый! Будут тебе танки! — Он резко повернулся. — Найти срочно командира танковой роты Михайлова. Готовить к выезду три машины!

Появился неторопливый капитан Михайлов, весь промасленный, как прошлогодняя ветошь. Он вяло доложил о прибытии, замедленно приложив грязную руку к форменной кепи. В покрасневших глазах его читались скука и смертельная усталость.

— Готовь три танка к выезду. Бегом!

Дежурный покосился на Лаврентьева с еще большим удивлением.

— А механиков где я возьму? — мрачно спросил Михайлов.

— Ты первый. Я второй. Коростылев, будешь третьим механиком. Оставив за себя помощника... Хотя двух танков им хватит. Я буду на командирском месте. Все ясно?

Михайлов расцвел, рысцой потрусил в парк.

— Давненько не разминались на «главной ударной силе сухопутных войск», — произнес Лаврентьев, когда запыленные танки остановились у штаба. — Механики-водители, ко мне!

Оба капитана шустро выскочили из машин, встали перед командиром.

На какое-то мгновение Лаврентьев задумался, прикинув последствия своего решения. Не доложив руководству о ситуации, броситься очертя голову в гущу боевых действий на двух танках, которые в считанные секунды можно сжечь из гранатометов, укрытых в любом окне... Бездумно, безрассудно, нелепо...

— Михайлов, иди, разбуди Козлова. Он у себя отсыпается после ночи. Скажи, срочно!

Капитан бросился исполнять приказание.

— Свалимся на них без предупреждения. Они будут ждать, что мы начнем переговоры, и будут торговаться, — подумал вслух Лаврентьев.

Появился заспанный начальник разведки. На его красном помятом лице отпечатался шрифт: видно, спал, бедолага, подстелив газету.

— Твоего шефа Сабатин-Шах взял в заложники. Требуя выкуп — три танка. Ситуация ясна? Какие будут предложения?

Козлов очумело посмотрел на командира, потер кулаком глаз и, уже почти выйдя из состояния сна, покосился на танки, которые сразу и не заметил. Потом вздохнул, пожевал губами и произнес:

— Знать бы, где его держат...

— Проснись! — громыхнул Лаврентьев. — Если бы знали, тебя б не дергали. Давай, три свое ухо, — не выдержал он. — Думай, черт бы тебя побрал, где его могут прятать? Ты начальник разведки или нет?

Наконец Козлов выдавил:

— У Сабатина здесь живет двоюродный брат, Рама, ярый фундик, он один из его ближайших помощников... У него большой дом за высоким каменным забором. Есть и подвалы — с вином. Очень любит это дело...

— Знаю этого живодера, — перебил «медитирование» Лаврентьев. — Метров двести или триста от общаги. Но с чего ты решил, что его будут прятать именно там?

— Чтобы никто не знал и не проговорился. А брату он доверяет как себе.

— Ладно. Мосты сожжены. Козлов, ты во втором танке, за командира. Начнем со штаба. Стрелять по моей команде. Осколочно-фугасным... — И про себя добавил: «Я вам устрою нейтралитет!»

Лаврентьев включил танковое переговорное устройство, проверил связь с Коростылевым.

— Как самочувствие? Хорошо? Восторг? Тогда гони прямо!

Потом он соединился с начальником разведки, приказал подготовиться к стрельбе.

— Я уже подготовился, — доложил Козлов.

Коростылев сжимал рычаги, тянул, чувствуя плечевую силу, танк, ощущая человека через планетарный механизм поворота, послушно поворачивал тяжелый корпус. Стальные подошвы крутились, выламывая метры

асфальта, — сила! И лишь точная струя, пущенная из гранатомета таким же волком войны, могла остановить танковую тушу.

Лаврентьев знал лишь одну дорогу — до Кызыл-Атрекского моста, а далее прямо и прямо, до самого второго караула, где даже в самую жару лежали, всегда холодные, груды и штабеля смертельного груза: десятки тонн боеприпасов: 5,56, 7,62, 86, 100, 120, 122, 240-миллиметровые остроконечные, людьми сделанные и для гибели же людей предназначенные... Только он один и Коростылев, как самый старожил, знали точное количество этой огромной, спящей, разрушительной силы, которой хватит, чтобы разнести до молекулярного состояния всю Долину, изменить течение реки, сделать из ойкумены сплошную серую пустыню с вкраплениями красного.

Лаврентьев сначала хотел идти на штаб Сабатим-Шаха, но понял, что это будет безрассудным, что лучше захватить двоюродного брата по имени Рама. На перекрестке он приказал повернуть, чтобы выйти к дому не по северному шоссе, а по переулкам и полям. Еще два дня назад в этом районе все полыhalo. Теперь здесь стояла мертвая тишина, а грохот, который они производили, не вылетался в нее, а наслаивался и замирал. Черные окна, обрушенные стены, обломки мебели, обгоревшее тряпье, шибяющий в нос приторнокислый запах гари... У порога обугленные человеческие останки — черная кукла со скрюченными конечностями... Какие чувства, мысли, желания, мечты, радости, надежды жили в этом теле, прежде чем судьба наотмашь и враз не отняла все, жестоко и страшно вырвав душу, растоптав и надругавшись?.. Мужчина или женщина — обугленное единообразие.

Они подъехали к белому каменному забору, Лаврентьев развернул пушку назад и скомандовал Коростылеву «полный вперед». Танк выдавил железные ворота и кусок стены, по развалинам въехал во двор. Здесь был маленький оазис: росли деревья, цветы, в глубоком арыке журчала вода. В доли секунды Лаврентьев оценил это великолепие, снова развернул пушку, нацелив ее в окно, прыгнул с брони и с автоматом наперевес ворвался в дом. За ним следом бросился Козлов. Где-то в потемках завывала женщина. Хозяин, тучный человек лет тридцати, держал автомат и бледнел на глазах. Командир отобрал оружие, коротко скомандовал:

— Выходи!

Хозяина дома посадили на башню.

— А теперь говори: где майор Штукин? Иначе я разнесу твой дом в щепки.

Рама обильно вспотел, по мясистому лицу потекли капли.

— Козлов, заряжай! — скомандовал Лаврентьев мертвенным голосом, от которого даже у Коростылева пошли мурашки по телу.

Козлов равнодушно кивнул и пошел выполнять команду.

— Сначала мы разнесем в пыль твой дом, — продолжил командир. — А потом лично для тебя — египетская народная казнь: посадим на середину ствола, привяжем и выстрелим. В результате ты станешь фруктовым желе — ни одной целой косточки. Короткий импульс. Закон физики...

— Не надо, я все скажу! — вырвалось у Рама. — Его держат в подвале общежития... Там сильная охрана. Вы все равно ничего не сможете сделать!

— Ты нам поможешь, — без тени сомнения произнес Лаврентьев.

Серое здание, прыгающее в триплексах, — штаб. Окуляры прицела — вплотную к глазам, сетка с параболой, перекошенные страхом лица, паника, неслышимый зуммер стабилизатора, вдавленные кнопки рукояток, послушно скользкая башня с хоботом пушки. Окно третьего этажа — огонь! Вспышка, грохот, пыль. Так вколачивается истина и достигается справедливость.

Рама мешком свалился в башню — деморализованный и бледный.

— Не сдохнешь! — крикнул Лаврентьев, саданул его крепко в челюсть, показал наверх: — Вперед!

Путаясь в веревках, Рама полез обратно...

Козлов остановился позади и длинными очередями крошил стекла окон. Звон бьющегося стекла подавляет врага.

— Рама, — Лаврентьев дернул пленника за штанину, — сейчас ты будешь громко кричать, так, чтоб слышали все, особенно твой брат Сабатин-Шах. Повторяй вслед за мной: «Командир российского полка подполковник Лаврентьев требует немедленно вернуть заложника майора Штукина. В противном случае будет уничтожена моя семья, которая находится в танке...»

Пленник не заставил себя ждать, возопил силпо, с надрывом.

Вдруг в одном из окон первого этажа что-то блеснуло, грохнуло, и хвостатое пламя буквально ударило в триплексы. Граната задела башню и ушла в сторону. С запозданием в две секунды ответил Козлов. Снаряд попал в окно. Когда рассеялась пыль, появился человек. Он выглядывал из подъезда и отчаянно махал тряпкой. Оглушенный Рама сидел на дне танка и мотал головой. Из ушей у него текла кровь.

— Пусть Рама выходит, а ты получишь майора!

— Скажи им, пусть сначала выведут майора! — распорядился Лаврентьев.

Но пленник не реагировал, вращал выпученными глазами и нечленораздельно мычал. Тогда Козлов вылез на башню.

— Живо гоните майора!

Здание заволкло дымом, сквозь черные клубы проблескивали, вырывались, будто соперничая, ярко-красные языки пламени. «Наверное, сейчас там жарко», — подумал Лаврентьев.

Из клубов дыма появился Штукин. Он шел, прихрамывая, по битому стеклу, пыли, осколкам камней, щурился то ли от дыма, то ли от яркого солнца. Лаврентьев приоткрыл люк и крикнул:

— Беги во вторую машину!

Штукин заковылял с ускорением, командир успел разглядеть его опухшее лицо, разорванный рукав куртки... Майор неукложе вскарабкался на броню и, когда исчез в люке, скомандовал: «Вперед!» Теперь Козлов шел впереди, а Лаврентьев в пятидесяти метрах позади. Когда отъехали на значительное расстояние от штаба, командир приказал притормозить, разрезал ножом путы и отпустил пленника восвояси. Штаб полыхал, о размерах потерь и ущербе можно было догадываться. «Вот вам урок, — злорадно подумал Лаврентьев, — в лучших американских традициях. Только в русском исполнении... Надо теперь послушать новости по радио...»

Перед въездом в полк Лаврентьев вылез на башню. Прапорщик открыл ворота... Ольга стояла на пороге штаба и со страхом смотрела то на Михайлова, то на командира, то на потемневшего лицом Штукина. Будто преодолев внутреннюю преграду, она устремилась к Лаврентьеву, но на последних шагах, наткнувшись на его взгляд, остановилась. Командир глянул на нее равнодушно и, ни слова не сказав, прошел в кабинет.

А на стадионе — великой сцене всех времен — оцепенело ждали участи то ли зрители, то ли позабытая «массовка»; из глаз беженцев беспрерывно текла печаль. Они бы давно выплакали себя, но подполковник Лаврентьев, командир 113-го полка, не давал умереть. Они и сами теперь верили, что именно он обязан хранить их жизни. А если уж он не сохранит, то останутся, конечно, еще высшие силы... Однако люди и в своей вере — слабые существа, прагматично уповали на сильного ближнего.

И у старины Хамро был смутный час, есть во времени такой несчастливый час — сжатый безмолвным ужасом, внутренним огнем напоенный, перекрученный в черном пространстве и слитый с ним. Именно в этот час Хамро решил уйти из опустевшей тюрьмы. Тюрьма — единственное место, где двери имеют замки лишь снаружи. Хамро сидел безмолвным истуканом, прислушивался к шорохам, ирреальным звукам, отдаленным постукиваниям, порой ему чудились тихие шаги в гулком тюремном коридоре.

Тоскливые думы привели его к сакраментальному выводу: лучше сидеть

в наручниках, под замком, но среди людей, а не в пустых стенах дома кары и печали, одиноким среди ухающих звуков игольчато-звездной ночи.

Везде были следы разгрома: матрасы, валявшиеся на полу, горы тряпья, осколки ампул, ложки, алюминиевые миски, коробки из-под чая, бирки с фамилиями, сорванные с груди. Тут Хамро вспомнил, что так и продолжает носить свою этикетку. Он оторвал ее, но наземь не бросил, а спрятал в кармане.

Утром он понял, что в свихнувшемся городе есть только одно место, где он может, во-первых, спастись, а во-вторых, официально подтвердить в случае необходимости свою лояльность к оставшемуся сроку и горячее желание его отбыть и искупить. Он пересек мертвое пространство между тюрьмой и полком, завидел дощечку, припертую к забору, — здесь прапорщики и лейтенанты коротали свой путь, — поднатужился, с разбегу вскочил на нее, ухватился за край забора, еще разок поднатужился, застряв на гребне спортивного успеха, и перевалился на другую сторону. Хорошо, что его сразу не застрелили.

— Эй, лысый, а ну, иди сюда! — услышал Хамро резкий молодежливый голос. Он прищурился и среди кустов, окружавших белое одноэтажное здание, напоминавшее сарай, увидел очкарика в военной рубашке и при погонах. В какое-то мгновение он почувствовал страх и опустошение: такую же носили вертухаи.

Хамро послушно подошел к офицеру. На нем были капитанские погоны, и Хамро, чтобы понравиться, не преминул доложить по-уставному:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться?

Капитан неожиданно расплылся в улыбке:

— Откуда тебя, такого лысого, принесло?

— Из тюрьмы, товарищ капитан. Кара-Огай нас освободил. А мне вот некуда идти, а воевать не тянет...

Капитан упер руки в боки, глаза из-под очков смотрели с укоризной и расплывающейся добротой. Хамро понял, что капитан слегка пьян.

— А я один на всех, понял? Какой человек самый ценный на войне?.. Что — совсем дурак, ответить не можешь?

— Я не дурак, — осторожно возразил Хамро, удивляясь странному капитану. — Самый ценный? Солдат, наверное?

— Какой еще солдат! Скажи еще: обученный, накрученный, сякой-такой... Самый важный человек на войне, уважаемый дядя, — это врач!

— Вы врач?

— Да. И ты будешь две тысячи первым потенциальным клиентом на этом стадионе. Только не приходи по пустякам: голова там не соображает, в ушах трещит. А вот с вывороченным животом — милости просим... Теперь ступай себе с Богом. На стадион! Бегом... Можно вприпрыжку. А то мне надо роды принимать. Одна госпожа тут надумала... — Сказав это, Костя пошел в санчасть смотреть роженицу, а Хамро поплелся на стадион. Там он быстро понял, что никому не нужен.

В полку вновь появились телевизионщики.

— Фывап сказала, — перевел Сидоров, — что имидж, который сложился у нас, не вполне будет соответствовать...

— И что же это за имидж? — поинтересовался Лаврентьев, слегка прищурившись. Американка, похоже, достала его.

— Не спрашивайте, она сама не знает, — вполголоса, как будто она могла подслушать, произнес Сидоров.

— Переводи! — сурово потребовал Лаврентьев. — А то камеру заберу. И не финти — у меня диплом переводчика английского языка.

Сидоров торопливо перевел вопрос, выслушал долгий ответ, нахмурился, стал озвучивать:

— В общем, она говорит, что ваш имидж...

— Да не имидж, а образ! По-русски не можешь... — перебил Лаврентьев.

— Да, этот самый образ, — послушно поправился Сидоров, — значит,

человека, который с чисто русской душой, несколько неуклюжий, трагичный и вместе с тем с необузданной опасной силой. Странно и неожиданно, что он здесь, в воюющем мусульманском мире, что-то выжидает, переживает...

— Все ясно: белый медведь на крайнем юге, — подвел Лаврентьев итог мучительному переводу. — Спасибо. На этом все.

— Вы обещали обращение к американскому народу...

— Хорошо! Итак... Дорогие американские друзья! Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за ваш пристальный интерес к событиям, происходящим на территории бывшего Советского Союза. Поверьте, мне, простому командиру полка, чрезвычайно приятно сознавать, что меня сейчас смотрят миллионы телезрителей от Аляски до Флориды. Это большая ответственность и высокое доверие. А теперь по существу. Знаете ли вы, чем отличается курочка Ряба от обезьяны шимпанзе? Правильно: курочка не может кукарекать, а обезьяна нести золотые яйца. Вы, конечно, тут же меня поправите: обезьяна тоже не кукарекает! Да — и это у них общее. Но вот, как бы ни тужилась обезьяна, ни одного яйца, даже простого, она снести не сможет, и как бы ни суетилась курица, петухом не станет. Я к чему это, далекие американские друзья... А к тому, что каждому определена своя роль, своя судьба и свое кукареканье. Так и у людей, хотя и посложнее — потребностей больше. Одному хочется указывать, да так сильно, что палец начал расти, другой, считая себя мудрым, полез напропалую в чужие дела, да только все портя, а третий, который наглый и без особых претензий, под шумок пошел тырить по чужим карманам... Если вы не запутались в том, что я говорю, перейду к конкретному. Ерунда, когда говорят, что со стороны виднее. Откуда — из-за океана? И чем далее — тем лучше. Тут из Москвы ни черта не разглядят, хотя это вас уже не касается. Вы, американцы, хорошие ребята, но лучше бы вы постригли свои длинные ногти.

Вот ты, Фывапка, наверно, считаешь: бросить все к черту и уехать! Да как же я, отец-командир, могу бросить моих ребят? Мне один раз предложили — полгода назад. Я отказался: пока все ветераны, которые здесь десять лет и больше ищачат, не заменятся, — я не уеду! Эх, Фывапка... Ведь поддочков и в Америке вашей не любят. Ты вот приехала, для тебя тут экзотический сумасшедший дом. А для меня это родная страна, хотя и действительно немного свихнувшаяся. А вы ходите по ее обломкам и радуется. Не дай вам Бог с петушиным вашим гонором испытать то, что сейчас имеем мы. Может ведь и на вас такое свалится... — Он замолчал, порывисто вздохнул. — Ладно, хватит, выключай! А то меня уже на прорицания потянуло.

Лаврентьев быстро встал, открыл шкаф, обнажив алюминиевые бока молочных бидонов.

— А ну-ка, хозяйка, налей нашим гостям и закусь принеси, а то мы их только болтовней кормим.

Ольга хотела было возразить, но командир нахмурил брови, и она предпочла послушаться. Впрочем, Оле было приятно, что ее назвали хозяйкой. Она быстро достала кружки, налила в графины из одного бидона крепкий портвейн, из другого — коньяк местного завода, поставила на стол. И то, и другое было преподнесено командиру от благодарного народа Республики. Потом Ольга побежала в столовую за продуктами.

— Умирать буду, последнее желание знаете какое? Плешивого вздернуть и на пятно его коричневое плюнуть... — Лаврентьев снова наполнил кружки. Все умолкли. — А теперь послушайте, что я вам скажу. Я хочу, чтобы меня поняла американка Фывап, наша гостья, и ты, Сидоров, как мой соотечественник, тем более. Никогда не старайтесь изменить азиата на свой манер, навязать ему свои мысли, чувства, образ жизни. Он выслушает вас, кивнет головой, даже согласится, но все равно поступит по-своему. Если же вы будете чрезмерно настойчивы, он посмеется над вами. Впрочем, они всегда смеются над нами, над тем, что мы бестолково суежливы, что мы потеряли силу и власть даже над женщиной, разбазариваем слова, но забываем говорить и спрашивать очевидные вещи при встрече, выражая уважение

непременным вопросом о здоровье, о делах, семье, родных. Для них смешны и нелепы наши понятия о гигиене и чистоте, они несравненно ближе нас к природе. И потому не пытайтесь обвинять в пышном многословии, это тонкая игра, нам непонятная. Не пытайтесь тем паче перехитрить азиата, дело это трудное. Его взять можно лишь силой, но, только вы ослабите хватку, он выскользнет и сам вцепится вам в горло, и подобострастная улыбка сменится оскалом и торжествующим хохотом. Восточный человек думает одно, говорит другое, а делает третье...

— Bravo, Евгений Иванович! — восхищенно заметил Сидоров. — Вы истинный знаток восточной души. Не будете против, если я включу магнитофон?

— Включай и заодно належь всем... Три месяца назад здесь начали твориться страшные вещи. Люди, принадлежащие к разным кланам — горцы и выходцы из долины, — обнажили кинжалы. Появилось сразу много оружия, полилась кровь. Группировки схлестнулись, вспомнились старые ничтожные обиды. Замшелые старики подняли за собой зеленых недоумков. То тут, то там под нож попадали целые семьи. Трупы со связанными колючей проволокой руками в реке. Лица изученные. Их вылавливали и зарывали прямо на берегу. Власть взяли боевики фундаменталистского направления. Эти были за единую, этнически чистую теократическую республику. Иностранцам предлагалось катиться к чертовой матери с минимумом пожитков. Все нажитое считалось национальным достоянием Республики и платой за время проживания на ее территории. Уехали единицы. Куда остальным деваться? Некуда. Их нигде не ждали. Они испокон веку жили на этой земле, работали, жили по местным традициям и искренне считали, что все люди — братья. Но «братья» вдруг решили, что «неродные» их все годы обманывали, ели кашу и плов из их казана и пора турнуть дармоедов. Люди стали бояться выходить из домов. Фабрики, где и работали инородцы, остановились. Начался хаос. В магазинах шииш ночевал. Что надо делать, чтоб уцелеть на вершине власти, когда вокруг развал и вселенский бардак? Надо добиться всеобщего мира или развязать беспощадную войну. Чем страшней будет, тем больше шанс скорей ее завершить. На мир ума не хватило — решили воевать. Но полбеды, если воевать. А начался открытый грабеж. Иностранцев стали выселять кварталами. Туда же по черным спискам попадали и свои неугодные: чиновники, мелкие начальники. Первым делом увозили крепких мужиков. Руки за голову — и на автобусы. Это у них называлось чистой. Вроде как боевиков и оружие искали. Шерстили сначала в восточной части города, сожгли все дома. Там зажиточные жили, больше по торговой части. Увезли за город, постреляли, чуть землей прикопали. А то и собирали в кишлаке людей, заставляли камнями забрасывать несчастных. А те в яме стоят, пока не забьют. Кидают все — от мала до велика. На другой день уцелевшие — бабы, дети, немного мужиков — толпой ко мне. Я открыл ворота, впустил. Что там было, хоть не вспоминай... Привезли труп женщины, положили возле КПП. Обезображена начисто, груди отрезаны. Кто так измывался? Мне кричат: «Лаврентьев, ты же русский командир, у тебя большое сердце, как же ты мог допустить такое! Почему не защитил? Ты же сильный, ты же мог!» В лицо плюют: «Вы жалкие трусы, а не офицеры!» А на другой день — снова «чистка», и буквально в сотне-другой метров от полка стреляют. Тут мои прибежали. «Командир, там директора школы убили!»

— Женя, может, не надо об этом? — умоляя, произнесла Ольга.

— А почему вы не направили танки? — спросил Сидоров.

— Ты хоть понимаешь, что такое танки среди жилых застроек? Среди многоэтажных домов! Чапаев... Дело одной минуты — отдать приказ. Офицеры меня не понимали, рвались в бой. Патроны просят наружу! Никому не пожелал бы побывать тогда на моем месте. Приказ слыше один — не вступать! Дело конкретней минуты... Отдать приказ. У меня сердце тогда как клешнями сжало. Татары, туркмены, киргизы... Живые люди... А вот гляньте! — Лаврентьев вытащил из стола стопку писем. — Мать солдата

пишет. Саши Артамонова мама... Его три года назад убили. На посту часовым был — из-за автомата убили. Отвезли, похоронили, а мать все пишет ему, не верит, что он давно умер. И я не знаю, что мне с этими письмами делать. Я сказал, чтоб их мне приносили. Это письма, на которые никто не сможет ответить. Ни один человек. Вот, почитайте, да я сам лучше: «Здравствуй, дорогой Сашенька. Я снова пишу тебе письмо, все жду от тебя весточки. Понимаю, что служба у тебя трудная и нет времени ответить. Вчера я пошла в магазин и купила тебе на день рождения новую рубашку. Ты, наверное, раздался в плечах, поэтому я взяла на размер больше. Она очень красивая и теплая. Я сейчас гляжу на нее и все представляю, как ты приедешь и оденешь ее. Она тебе очень пойдет, мой дорогой сыночек. Неделю будем праздновать твой приезд. Пойдем в парк или в кино, ты всегда любил ходить со мной в кино. Ну а если тебе захочется пойти на танцы, я, конечно, возражать не буду. Ты ведь уже большой, и тебе надо будет познакомиться с девушкой...»

Лаврентьев налил всем по полной кружке и предложил выпить за русскую армию, встал первым, за ним поднялись остальные. Через пять минут Федор Сидоров дал согласие служить в полку.

— Ты считаешь, что печатью гениальности мой лик не отмечен? — не очень довольным тоном спросил доктор Шрамм.

— Наоборот! — поторопилась заверить Ада. — Ты счастливое исключение. Тем более опыт самоконтроля в нашей больнице дает тебе соответствующие гарантии остаться в добром уме.

Она подогрела на керосинке нехитрую снедь, разлила водку по стаканам. Доктор покосился, но ничего не сказал, молча взял стакан, чокнулся, медленно выщедил, потом с жадностью набросился на еду. Ада же ела неторопливо, с любовью глядя на Шрамма.

За разговорами они незаметно опустошили бутылку, закуска была уже почти съедена. Они не слышали ни выстрелов, ни звуков боя, которые звучали в разных концах города. В какой-то момент они заснули, а когда проснулись, стояла черная ночь. Доктор нащупал влажное тело Аделаиды, она что-то пробормотала спростонья, погладил ее по бедру и по голове...

Он еще спал, а она уже хлопотала по хозяйству. Голова Иосифа Георгиевича плотной тыквой лежала на подушке. «Люська-стерва давно не меняла наволочки», — с тупым самоудовлетворением и злостью подумал доктор. Ему захотелось вдруг сбрить бороду, ведь жарко было, да и с какой стати носить ее сейчас, ведь не совсем он обзациатчился. Осталось еще обрезать и сунуть лысину в чалму. «Аллах-х- акбар!!»

Доктор встал, прошел в ванную комнату, взял ножницы, стал остригать усы, потом бороду. Жесткие волоски посыпались в раковину с желтым следом от воды. С остатками щетины он стал похож на дипломированного бомжа. Неприязненно глядя на отражение, Иосиф намылил лицо, стал скоблить давно не знавшую бритвы кожу. Процедура была отвратительна и болезненна. Наконец, он полностью очистил лицо и мог оценить метаморфозу, неторопливо, с гадливостью рассмотрел изменившиеся черты. Что-то новое, неуловимое появилось в оголившихся складках у рта — то ли жестокость, то ли затаенная ненависть, в глазах тоже появился хищный огонек. Доктор понял, что моложе не стал, но неожиданно приобрел совершенно иное качество. «Теперь меня никто не узнает, — удовлетворенно подумал он, протирая лицо одеколоном и кривясь от жгучей боли. — Доброе утро, бывший Иосиф Георгиевич! Как нынче вас звать?» Он ощутил нежданное чувство свободы, будто его выпустили из клетки, в которой он бился, метался все эти годы. «Я волен в своих поступках. Меня ничто не сдерживает. Я могу уехать, и никто не будет меня искать! Доктор Шрамм исчез бесследно в водоворотах и катаклизмах всеобщего безумия жизни. Вместо него появился Неизвестный с твердыми чертами лица — единый сгусток воли, железного упрямства и тайной гениальности...» Эти самолюбивые мысли развеселили, но вместо того, чтобы дать им психоаналитическую оценку, доктор громко

расхохотался. Распахнув дверь, он вошел в комнату. Аделаида копошилась, накрывая на стол. Подняв глаза, она вскрикнула и уронила тарелку.

— Боже, что вы натворили!

В первое мгновение, увидев голого безбородого человека, она даже не признала в нем любимого доктора и инстинктивно прикрылась руками. Этот жест не остался незамеченным Иосифом Георгиевичем, он испытал вдруг необычайное возбуждение, зарычал, прямо по осколкам бросился к бедной, перепуганной женщине, повалил ее на диван. Он почувствовал себя насильником, и эта совершенно нехарактерная для него роль, сладострастная, безудержная агрессивность, наполнила его истощенные члены необыкновенной силой. Он согнул несчастную Аделаиду Оскаровну, набросился буйным зверем, рыча и кусая за плечи. Она извивалась под ним, недоумевая, что же случилось с милейшим доктором, ее перепугала странная перемена, и единственное, чего ей хотелось, — чтобы он побыстрее завершил свое дело...

Наконец он отвалился, вытер тыльной стороной ладони губы, потом потянул простыню, осушил пот на груди. Переведя дух, самодовольно заурчал:

— Во время операции хирург командует: «Зажим!.. Скальпель!.. Тампон!.. Почему больно хрипит?! Дайте мне много тампонов!.. Вот теперь хорошо...»

— Это анекдот? — спросила измученная и покусанная Ада, со страхом глядя на чужое лицо. Она уже не могла обращаться к доктору на «ты».

— Случай из практики, — небрежно ответил Иосиф Георгиевич. — Мне вот больная недавно говорит: «Доктор, последнее время я дышу с трудом, одышка такая, прямо задыхаюсь...» А я ей: «Вот мы сейчас форточку откроем, и вам непременно полегчает!»

Против обыкновения Аделаида довольно равнодушно восприняла сказанное Иосифом Георгиевичем. «В нем появилось что-то сатанинское», — подумала она. Право, вместе с бородой доктор что-то потерял, может, часть своей безупречности, интеллигентности, мягкости, изыска. «Теперь он похож на заезжего афериста». Аделаида ужаснулась своим мыслям и решила, что надо все-таки сделать то, что так неожиданно и бурно прервал ее обновленный любовник. Она встала, виляя бедрами, подошла к столу, стала собирать осколки. Иосиф Георгиевич пристально смотрел, как она наклоняется, и усмехался.

— Я пока приготовлю завтрак, а вы почитайте мне что-нибудь из своей тетради! — попросила она, чтобы хоть таким способом разрядить ситуацию и вернуть прежнего, обаятельного, мудрого, интеллектуального доктора.

От него не укрылось, что она перешла на «вы», поправлять не стал, коротко распорядился:

— Подай, она лежит на полке.

Ада молча исполнила, Шрамм открыл тетрадь наугад, пролистал несколько страниц, поправил на носу очки.

— «Совмещение гениальности и конкретного «Я» происходит при антагонизме внешних факторов. Чем они интенсивнее, тем более взрывчато, трансцендентно происходит обратный, формирующий процесс. Это есть самоутвержденческое начало целобразующей константы, имя которой — воплощенное Совершенство Личности...»

Ада застыла. Поток мыслей, журчание слов завораживало ее, как змею пиликанье флейтиста.

— Ты, кажется, собиралась готовить завтрак? — спросил доктор, глянув из-под очков.

— Да, конечно, — очнулась она и уронила еще одну тарелку.

— Ты наносишь непоправимый ущерб моему семейному очагу, — строго сказал Иосиф Георгиевич, хотя «очага» как такового уже и не было.

— Прости, — сказала она, стала поспешно собирать осколки.

— А ты знаешь, что у людей с искривленной шеей ум живет? А у Гейне была болезнь спинного мозга, и есть все основания предполагать, что это

придало его последним произведениям подлинную гениальность... Безумие, дражайшая Ада, чрезвычайно тонкая штука. Это как при составлении пропорции пороха: слегка не доложил селитры и переборщил с серой — и яркой вспышки, которая так притягивает людей, не будет. Вместо этого мы увидим просто вонючий «пшик». И почувствуем мерзкий запах. Так же и у душевнобольного: от гениальности до полного идиотизма — ничтожное расстояние.

Закончив тираду, он сошел с дивана, уже завернувшись в простыню. Ада выложила на тарелки какую-то серую массу, откупорила очередную бутылку водки, налила по полстакана. Они молча чокнулись и выпили. Серая масса оказалась макаронами, смешанными с тушенкой. После выпитой залпом водки снедь показалась даже вкусной. Иосиф Георгиевич, пережевывая, заметил:

— Индейцы племени майя, чтобы выразить понятие о злости, знаешь, что рисовали?

— Зубы?

— Нет. Трех женщин! — торжествуя, объявил доктор. — Не правда ли, изящно?.. А вот врача изображали в виде человека с пучком травы и крыльями на ногах.

— Ну и что? — хмуро спросила Ада. — Ты хочешь сказать, что я злая?

— Ты не можешь быть злой. При мне... Твой удел — быть покорной, как змея, которую лишили позвоночника и зубов.

— После того, как вы сбрили бороду, Иосиф Георгиевич, вы сильно изменились. Вы как будто стали другим человеком: резким, насмешливым, даже жестоким. Я, конечно, не думаю, что вместе с растительностью на лице вы потеряли свою мягкость, доброту, тактичность...

Шрамм слушал ее с саркастической улыбкой на губах, развалившись на диване, гладкий белесый подбородок выставил вперед, будто собирался плюнуть на попадание.

— Ну, что ты, голубушка! — энергично возразил он и осклабился. — Я по-прежнему тебя обожаю, даже несмотря на то, что ты пытаешься неуклюже подшутить надо мной.

— Я не пытаюсь! Вы совершенно не знаете меня, хоть и проработали со мной бок о бок много лет. Я вас всегда боготворила, вы для меня были символом бескорыстного служения науке, медицине, для вас главным было найти ответы на животрепещущие вопросы современной психиатрии, и я более чем уверена, если б вы не прозябали в этой дыре...

— Хватит, это я уже слышал, а кроме того, и без тебя все это знаю. Но мне сейчас абсолютно безразлично, нужны ли кому-то мои изыскания. Скорее всего не нужны. Нормальных нечем кормить и содержать. А моя наука скорее останется нужна для того, чтобы власть имущие под благовидным предлогом всегда могли обратиться к нам, а мы всегда могли сочинить для какого-нибудь крикуна-диссидента толковый диагноз. И чтоб ни одна грамотная сволочь ни черта не поняла и согласилась с нами: да, такому место только в психушке... Ты, Ада, лучше не старайся найти во мне что-то тебе не нравящееся. Во-первых, мне это будет неприятно и придется делать в отношении тебя определенные оргвыводы. Во-вторых, ты сама, своими руками разрушаешь созданный в своем сердце образ выдающегося человека, то есть меня. А это еще страшней: ты разрушаешь саму себя... Одним словом, ты не выживешь! Глупая, глупая тетка...

— Вы уже переходите на грубость, — тихо, но твердо произнесла Аделаида Оскаровна. — Пожалуй, я лучше оденусь.

— Возьми в шкафу халат, надень, — уже миролюбиво произнес доктор.

Поколебавшись, Ада вытащила халат и с видимым удовольствием накинула его на себя.

В следующее мгновение раздался стук в дверь. Иосиф Георгиевич замер с открытым ртом — он хотел что-то сказать, Аделаида же смертельно побледнела.

— Грабители?! — прошептал доктор.

— Это твоя жена,— внесла ясность Ада.

— Иосиф, ты же дома, открывай! — донесся из-за двери знакомый до ужаса голос.

Миллион чувств вихрем пронеслись в сердце бедного доктора Шрамма. То были страх, жгучая досада, ревность и слабая, хрупкая, как ледок, надежда на возвращение Люси.

— Ося, открывай же, я всего на две минуты. Потом снова закроешься.

— Не открывай,— свистящим шепотом произнесла Ада.

— Иосиф...— Голос жены вдруг изменил тональность, в нем явственно зазвучали тревожные нотки: — Ты живой? Ответь же, мне страшно!

И, уже не думая ни о чем, он, как был нагишом, рванулся, в последнее мгновение спохватился, обвязался полотенцем. Он открыл замок, распахнул дверь... Она стояла в ослепительно белом платье, свежая и чистая, как невеста. Он зажмурился, будто от яркой вспышки, Люся же отшатнулась. Перемена в ее лице дикой болью пронзила доктора.

— Что с твоим лицом?! — испуганно и с отвращением спросила она и тут же равнодушно протянула: — А-а, ты сбрил свою бороду. А почему у тебя лицо такое опухшее? Ты все это время рыдал? Скажите-ка, какие страсти-мордасти... А я уже думала: не удавился ли? Заходишь, а ты тут на лампочке висишь, представляешь, какой ужас?.. Мне, Осик, надо забрать некоторые вещи. Больше я тебя тревожить не стану.

Она потеснила грудь несчастного мужа, вошла в квартиру. Помертвевший Шрамм поплелся за нею.

— О-о! — вырвалось у бывшей супружницы. — Какая приятнейшая неожиданность! Посмотрите, он завел себе любовницу! А я всерьез опасалась, что ты повесишься. Какой же ты мерзавец после этого! А ты тоже хороша, милочка! Еще не успели подушки остыть, а ты уже прискакала. И мой любимый халат с драконами напялила! Шлюха, снимай немедленно!..

— Да как вы смеете, вы же сами его бросили и ушли к этому старикашке!..

— А ты на себя посмотри! — закричала красавица Люся.

Иосиф Георгиевич молча снимал с любовницы халат, она же, полупарализованная от дичайшего Люськиного нахальства, даже не заметила, как вновь осталась в чем мать родила.

— Фу, какая мерзость! — выкрикнула Люся то ли в адрес голой Ады, то ли по отношению к использованному халату, который Шрамм молча протянул ей. — Мне не нужны эти грязные тряпки. Можешь подарить их своей потаскухе!

Она гордо вышла, громко хлопнула дверью. И тут же Аделаида взвыла, закрыла лицо руками, опустила на корточки — жалкая, униженная, как скво в нищем индейском племени.

Спустя некоторое время она встала, молча оделась и дрожащим голосом произнесла:

— Я уйду от вас. Вы жестокий и бессердечный человек. Вы тряпка... При вас унизили женщину, а вы..

— Иди, иди,— буркнул доктор вслед. — Скатертью дорожка!

Так же молча Аделаида Оскаровна прошла к выходу, открыла дверь и вышла. В бешенстве доктор вскочил, швырнул вслед пустую бутылку, которая разлетелась на мириады осколков.

— Ах, что я натворил! — Иосиф Георгиевич вдруг осознал, что теперь останется в безнадежном и непоправимом одиночестве.

Он впопыхах надел треклятый халат беглой жены, выскочил на лестницу, пробежал два пролета. Ады не было. Доктор выбежал на улицу, отметив, что стемнело. Но наступало утро или же был вечер, он не знал.

— Ада! — крикнул он. Голос предательски дал петуха. — Вернись медленно!

— Я все прощу! — басом добавил кто-то из кустов.

— Кто это? — недовольно спросил Шрамм.

— Твоя проснувшаяся совесть, — сурово ответил голос.

Тут же раздался хохот. Иосифу Георгиевичу стало страшно, он пристально взгляделся в кусты. Кажется, там что-то шевелилось, а может, ему и показалось. Во всяком случае, голоса вполне могли иметь нематериальное происхождение.

— Когда ты последний раз молился? — прозвучал уже другой голос, тонкий и гнусавый.

Шрамм хотел сказать, что он неверующий, но почему-то соврал:

— Только что...

— Однако врешь, мерзавец! — визгливо отозвался тот же голос.

— Кто вы? — еще раз спросил доктор. — Что вам нужно?

— Он очень много задает вопросов, как ты считаешь, Консенсус? — спросил бас.

— Охотно соглашаюсь с тобой, просто до неприличия много, — отозвался второй. — Сявка!

— Морманетка захарчованная, пес блудливый, сморчок надушенный... А ту, ланай к нам!

— Что? — не понял доктор, подумывая, как бы половчей смяться.

Кусты затрещали, и перед Иосифом Георгиевичем, что называется, материализовались две фигуры. Он несмело приблизился, не зная, зачем это делает, и сразу заметил, что оба небриты, одеты в мятые серые одежды. От них шел странный запах, смутно напоминавший запах его лечебницы, только еще более приторный и резкий. Один незнакомец был повыше, другой пониже, он держал в руках бутылку. «Конечно, они пьяны», — тут же понял доктор, но это не принесло ему успокоения. Он умел общаться с сумасшедшими, но с нетрезвыми было трудней: их действия в отличие от душевнобольных совершенно не поддавались логике.

— Чичи, открой, не видишь, кто перед тобой стоит? — нагло продолжил невысокий — это он обладал писклявым и одновременно гнусавым голосом. — Лучшие представители общества к тебе обращаются, цвет нации! Килька ты трипперная, мы за твое светлое будущее боремся, а ты, кишка маринованная, еще рубильник воротить!

От этого шквала агрессивности и оскорблений доктору стало нехорошо, он непроизвольно плотнее запахнул полы халата.

— Как будешь помогать, товарищ, осуществлению прогресса? — уже теплее произнес высокий и потянул Шрамма за ворот.

Иосиф Георгиевич, поняв, что влип, решил избрать свойский тон, мол, все мы свои, дела известные, контора пишет, мы смеемся, дурацкая житуха на всех одна...

— Эх, ребята, дела такие, денег не было, а те, что были, с подругой пропили... — как можно оптимистичней начал он.

Но его не поняли. Иосиф Георгиевич догадался об этом сразу, ощутив крепкий звенящий удар в ухо. Сквозь звон, будто издали, он расслышал:

— Кого клеишь, мурик?

— Совсем не лакшит! Я ему сейчас батареи выломаю и чердак при-темню...

Хоть и еле соображал доктор и в голове оглушительно звенел зуммер, он сумел сообразить, что речь шла вовсе не о его квартире. Он смутно помнил, как коротышка запахнул его халат, обнажив тело, как он в следующее мгновение рванулся по ступенькам с крыльца, закричав что есть силы. Подсознательно доктор понимал: незнакомцы боятся шума. Он бежал по темной улице в развевающемся, как бурка, халате и каждой клеткой спины ощущал, как вот-вот ему под лопатку вонзятся твердые, жгучие пули. Но пронесло, и, сбавляя бег, он стал озиаться по сторонам, пытаясь сообразить, куда же его загнал страх. Как ни странно, он оказался совсем рядом со своей больницей.

Доктор понял, что привел его инстинкт. Он лег спать, не зная, что на следующий день ни врачи, ни обслуживающий персонал на работу не выйдут.

Утром его разбудили крики, и он сразу догадался, что это бузят его

больные. Голоса душевнобольных доктор мог отличить и выделить даже в шуме многотысячной толпы. Крики, звучавшие повсюду, не были похожи на стройный митинговый рев или скандальный вой в очереди за распределением дефицита. Все сумасшедшие — яркие индивидуальности, потому каждый, если можно так выразиться, пел свою арию.

Вдруг дверь кабинета с треском открылась, ввалились его подопечные безумцы.

— Вот он виноват! — закричал человек с перекошенным лицом, в котором доктор едва признал Карима. — Сбрил бороду, чтоб не узнали...

Больные бросились на него, кто вцепился в халат, кто — в волосы, а кто-то уже кусал ногу, доктора повалили на пол, стали бить ногами... Но вмешался Карим:

— Подождите! Пока не убивайте. Мы будем его судить!

Все тут же поддержали новую идею. Доктор же, вырываясь, кричал:

— Что вы делаете? Я же ваш главный врач, я лечил вас, вы мои дети!

— Ты мучил нас и держал в застенках! — взревел Карим. — Теперь мы тебя полечим!

Слабо упирающегося доктора потащили по коридору. Иосиф Георгиевич, смутно соображая, что происходит, нутром понял, что лучше не заводить, излишне не нервировать больных, а попытаться их обмануть. Тут были все свои: рыхлый Зюбер со слюнявым ртом, саркастически посмеивающийся Цуладзе, безуданно урчащий Шумовой, суетливый старикашка Сыромяткин, поджигатель Пиросмани, косивший глаза к переносице, и еще с десятком дебилов, которых он едва помнил по именам. Открывались двери палат, оттуда выглядывали новые камни-головы, щерились в бездумных улыбках, кивая, вопрошали, исчезали или присоединялись к процессии.

— Ур-р, ур-р-р! — вовсю старался Шумовой.

— Да здравствует революция! — кричал бывший поэт Сыромяткин.

— Я Зюбер! Я Зюбер! — выкрикивал вечно голодный толстяк, обильно роняя слюну на пол.

А Пиросмани, тревожно оглядываясь, на ходу пытался подпалить халат Иосифа Георгиевича. Лишь Карим и Цуладзе не участвовали в общем гвалте, молча вели доктора под руки. Он же, пытаясь сохранить спокойствие, увещевал:

— Подождите, давайте сделаем остановочку и вместе обсудим наши интересные вопросы. Вот увидите, нам всем будет интересно их обсудить. У меня есть важные новости!

Наконец его привели в палату, где в основном лежали старухи. Доктор отметил, что запахи здесь стали совершенно невыносимыми, остро шибало мочой. Посреди палаты стояла койка с телом, укрытым простыней. Доктор хотел стянуть покрывало, но его ударили по рукам.

— Зюбер, обнажи лик! — воскликнул Карим и показал на кровать.

Как ни странно, Зюбер понял, что от него требуется, сдернул простыню. Под ней лежала, отливая стойкой желтизной, Малакина. «Померла наконец-то...» — с отвращением подумал Шрамм. Но большая неожиданно открыла глаза. Доктора передернуло от ужаса. Малакина остановила блуждающий взор на Иосифе Георгиевиче и просипела:

— Изыди, изыди! Сатана!

— Да что ты, милая? — запричитал доктор, вдруг остро пожалев, что сбрил бороду. — Какой же я тебе сатана? Я доктор, неужто не узнала?

— Узнала, — сухо произнесла старуха и припечатала: — Блядский ты кот, а не доктор. Больничное ложе поганил, с блудницей Аделаидой прелюбодействовал, старости моей святой не посрамился!.. Сжечь его заживо, сатанюгу! — взревела она неожиданно мощным голосом.

— Сжечь, сжечь, сжечь!!! — закричали больные.

На него набросились, заломили за спину руки. У доктора потемнело в глазах. «Как жаль, что я тогда не извел эту гадину», — тоскливо подумал он.

— Подождите, вы не имеете права меня убивать! — отчаянно завопил

Иосиф Георгиевич. — Ну, арестуйте, наконец посадите в тюрьму... Я требую суда!

— Ответишь теперь за все, — мрачно пообещал Цуладзе. — За смиренные рубашки, за уколы в задницу, за то, что народ томил в застенках, лишил нас свободы...

— Я же вас лечил, неблагодарные! — возопил Шрамм.

— Ты калечил наши души! — вдруг негромко произнесла Малакина.

И все сразу зашикали:

— Тихо! Святая говорит!

— Ты вынимал наши сердца и пожирал их, — продолжала она. На восковом лице жили одни губы. — И за это мы вырвем твое сердце и забьем в него осиновый кол. Блудницу тоже казним... А то ишь вытворяли что... — Она умолкла, видно, возобновляла в памяти виденные картины. — Нагишом скакали, срам-то какой! А блуднице отрубить голову! Все...

Она умолкла, закрыла глаза, а бывший поэт натянул ей на голову простыню.

— Но сначала надо побрить его наголо! — предложил Карим.

Откуда-то появился запретный предмет — ножницы, доктору крепко сдавили шею. Цуладзе взял на себя роль парикмахера. В считанные минуты Иосифа Георгиевича остригли, как овцу, и он уже ничем не отличался от взбунтовавшихся больных. Единственным исключением был халат, который, конечно, ни в какое сравнение не шел с убогими одеждами умалишенных...

Доктора пока решили запереть в мертвецкой... Когда за ним закрыли дверь и приперли ее шкафом, Шрамм бессильно опустился на корточки и зарыдал. Только Всевышнему было ведомо, сколько оставалось жить несчастному на белом свете. Последние часы по иронии судьбы он проведет в удушающем смраде, среди разлагающихся трупов, прежде чем он сам станет такой же гниющей клетчаткой. Доктор завыл, сотрясаясь от рыданий и жгучей ненависти к неблагодарным больным...

Он стал барабанить в дверь.

— Откройте, кретины безмозглые! Строиться на уколы в зад! Всем апоморфину! Без исключения! Дебилы! Дауны! Психопаты!

Наверное, Иосиф Георгиевич долго бы еще бился лбом в дверь, изрыгая проклятия, пока пациенты его наконец не собрали нужное количество хвороста, дров и прочего горючего материала... Но ему несказанно повезло. Вдруг он услышал, как отодвигают упор от двери, потом она распахнулась, и — о, чудо! На пороге стоял Юрка-сирота, о котором доктор и думать забыл.

— Голубчик ты мой, я знал, знал, что ты меня освободишь! — Шрамм бросился на шею своему спасителю.

Юрка позволил себя обнять, торопливо пробормотал:

— Вам надо уходить, Иосиф Георгиевич. Мы вас проводим.

Только сейчас Шрамм заметил девочку-подростка. Это была Машенька. Она прижимала ладошками короткую юбочку и очень напоминала школьницу, стоящую перед учителем. Не заставляя себя уговаривать, он пошел за своими спасителями, по пути озираясь по сторонам.

— Не бойтесь, — сказал Юра. — Со мной они вас не тронут.

Доктор не стал ничего спрашивать, хотя фраза юноши задела его самолюбие. И действительно, попадавшиеся им навстречу больные не проявляли агрессивности и чуть ли не раскланивались с Юрой. Они прошли двор, встретив еще двух человек.

— Дрова собираете? — спросил их Юра.

— С-с-соб-бираем, — ответил один из них.

— Молодцы.

У доктора мороз по коже прошел от этой мимолетной похвалы.

— Меня утром не было, — извиняющимся тоном сказал Юра. — Ходил на базар, вот купил одежду для Маши.

Доктор хмыкнул, но от замечания удержался. Они как раз подошли к проходной. Двери были распахнуты настежь.

— До свидания, Иосиф Георгиевич, — тихо сказал Юра. — Я хотел вам сказать, не приходите пока в больницу. Это будет опасно для вас. Подождите, пока все нормально будет.

— Уж как-нибудь сам разберусь, — сухо заметил Шрамм, кивнул на прощание и молча зашагал по пустынной дороге. Через некоторое время он быстро оглянулся, но Юру и Машу уже не увидел.

Десять дней Сирега наслаждался воздухом свободы. Полевой командир особо не досаждал, спросил, умеет ли он обращаться с автоматом.

«А то как же! — ответил Сирега. — Чай, в армии служили».

Сирега крепко скорешевался с товарищем по последней камере Степой-«Светкой». Правда, теперь уже никто не рискнул бы назвать его женским именем, да и вообще всем было глубоко наплевать на их прошлое. Ценились здесь не сроки отсидки, тюремная иерархия, а бесшабашная смелость, широта души, щедрость. Шкурников не любили, а проворовавшихся или «заборзевших» на мародерстве просто отстреливали. Мудрый Кара-Огай такой почин ценил и всячески приветствовал.

На пропыленном дребезжащем бэтэре они колесили по Долине, гоняясь за разрозненными группами «фундиков». Пленных, как правило, расстреливали, возможно, по установившейся «договоренности» враждующих сторон. Чем одни отличались от других, Сирега не знал, не пытался вникнуть да и вряд ли бы смог. Для него коренные жители Республики были одинаковы, независимо от принадлежности к лагерю. Единственно, что он четко осознал, что с успехом мог бы воевать и на другой стороне. А это ему страсть как нравилось.... Когда Кара-Огай приехал в свою «цитадель», было уже за полночь. Охранники выбежали его встречать, он кивнул им, молча прошел в покои Люси. Она лежала на кровати в новеньком халате с китайскими драконами, уткнув лицо в подушку. Кара-Огай сразу понял, что предстоит невеселый разговор. Он тихо позвал ее, но она даже не шелохнулась.

— Все равно вижу, что не спишь, — добродушно сказал он.

Люся даже не подняла голову. Это не понравилось ему: мотался весь день, устал как собака, война высасывала все силы, и только одному ему было известно, какого напряжения стоили человеку его возраста долгие поездки, бессонные ночи, руководство боями... Да и что вообще могла понять эта красивая кукла? Старый Кара-Огай, конечно, выдюжит многое, свернет шею любому. Но, не дай Бог, оступится, дрогнет — тут же сотни головорезов, уголовники набросятся, как стая шакалов, и порвут его в клочья. Не поможет и божественный титул Лидера. Конечно, в открытую не набросятся, но обязательно найдутся несколько мерзавцев, которые отыщут возможность выстрелить в спину и потом списать на фундаменталов.

— Люся, хватит, — глухо сказал он. — Я очень устал, у меня сегодня был очень трудный день.

— А обо мне ты подумал? — едва подняв голову, подала голос она.

— Только о тебе и думал, — ответил он.

— Ты меня сделал наложницей своего дома! — выкрикнула Люся, повернувшись на бок. — Твои биндюжники готовы конвоировать меня даже в туалет. Ты меня арестовал? И какой срок ты мне дал? Три года, пять лет или пожизненно? Будешь хвастаться: моя любовница тоже сидела!

— Замолчи... — Голос Кара-Огая потяжелел, будто налился металлом. — Ты же знаешь, за мной охотятся, хотят убить. Но первая пуля в мое сердце, чтобы ты знала, моя дорогая девочка, — последние слова дались ему с большим трудом, — будет та пуля, которой выстрелят в тебя. Да, я, немолодой уже человек, познавший многое в жизни, живущий только любовью к тебе, не вынесу, если хоть волосок упадет с твоей головы. А они, я это хорошо знаю, моя разведка донесла, готовятся убить тебя, мой ангельский волосок...

— Голосок, волосок, — пробурчала она. — Стихи еще начни писать.

И это проглотил старый влюбленный. Он решил терпеть до конца.

В перезревшем возрасте человек похож на гнилой фрукт: его не поднимешь, чтоб съесть, к нему не прикоснешься, дабы не замараться. Единственное, что остается ему, — поворачиваться к миру так, чтоб не был виден сгнивший бок.

Он вспомнил о подарке, вытащил из кармана бархатную коробочку, аккуратно присел на широкую кровать... В глазах Люси вспыхнул заинтересованный огонек.

— Папочка что-то принес?..

И Кара-Огай умиротворенно подумал, что и на этот раз он стерпит роль джентльмена. Англосаксонского пошиба... Все же у них пока добрачный период, и даже при полном отсутствии законов в нынешней жизни привычка к известным нормам осталась: брак с необъезженной Люсенькой он обязательно оформит официально. Да и ей это в конце концов пойдет на пользу. Ей, бедолаге, некуда больше деваться. Назад к мужу дороги нет — да и он, если не полный безумец, вряд ли рискнет что-то оспаривать у всемогущего Лидера Движения. Несчастливого доктора уничтожат лишь потому, что он попытался неудачно напомнить о себе, и сделают это, увы, даже не испросив высочайшего соизволения... «Толпа благоговеет... И если меня не убьют через месяц, через полгода, я переманю все силовые структуры столицы, добьюсь, чтоб заткнули глотки всем левым партиям, и тогда пост президента автоматически перейдет в мои руки. А русская жена на этом этапе — еще один плюстик. Русским в глубине души нравятся смешанные браки. Потому что в большинстве своем они интернационалисты. А еще они наивно думают, что русские женщины способны поднять азиата до своего уровня».

Люся, забыв о щедром любовнике, с неподдельным восхищением любовалась жемчужным колье... «Какие же мы разные, — подумал с внезапно нахлынувшей грустью Кара-Огай. — Ей достаточно блестящей безделушки, мне же подавай всего лишь президентское кресло...»

Она распахнула халат, обнажив плечи и грудь, медленно надела колье, передернулась, кожей ощутив его холод и тяжесть.

— А оно не фальшивое?

— Вольтанулась, что ли? — неожиданно для себя употребил тюремный жаргон Кара-Огай. Впрочем, Люся не обратила внимания, и он поторопился внести ясность: — Человек, который мне продал его, сказал, что это очень дорогая вещь. Говоря это, он хорошо сознавал, что гарантией честной купли-продажи была еще одна дорогая вещь...

— Его несчастная жизнь? — равнодушно спросила Люся.

— Разумеется.

Город вымер. Люди прятались по щелям, продукты не подвозились, и бывшие сокамерники очень скоро отошали, оторвавшись от питающего соска матушки-тюрьмы. Но взамен они получили свободу, ни с чем не сравнимую, пьянящую и бесполовую. Если бы их спросили, какое чувство испытывает шатающийся на свободе зек, то они скорей всего бы ответили, что это вечное ощущение голода, урчание желудка и чисто волчье желание кого-то сожрать.

Бродяги не преминули зайти в распахнутую докторскую квартиру.

— А он не приведет ментов? — спросил Консенсус, оглядываясь. — Хорошая квартирка, ухоженная...

— Где ты сейчас ментов сыщешь? Половина разбежалась, другая половина воюет, — проворчал Вулдырь.

— Ну, кого-нибудь еще приведет...

— Не понтуйся. Кому нужен этот чмушник, от него даже телка слиняла... — резонно заметил Вулдырь и уселся на диван, брезгливо сбросил на пол смятую простыню. — Плясали они, что ли, здесь?

Консенсус воспринял это как приглашение, с визгом прыгнул на диван и начал подпрыгивать на нем, как на батуте. Вулдырь тоже вскочил и начал

скакать вместе с товарищем. Так они прыгали вразной и синхронно, крича «и-хо-хо, и-хо-хо, и трусы от тети», пока диван не стал хрустеть всеми суставами, трещать и разваливаться на части. Лишь когда из него поперла во все стороны пружинная начинка, которая так и норовила изорвать заимствованные у доктора наряды, ловцы удачи угомонились и спустились на землю.

— Ху-у, давно я так не дурачился! — выдохнул Вулдырь. — Мы с тобой раздолбали семейное ложе. Очкарик не переживет.

— Кстати, где он шляется? — гневно спросил Консensus. — Мы бы его отправили за водярой.

— Придет, никуда не денется.

...А он и вправду пришел. Доктор Шрамм собственной персоной. А куда ему было идти, как не в собственную квартиру? Сначала зеки услышали тихое шуршание. «Крысы!» — сказал Консensus. К этим животным они привыкли: во время ночных вылазок они попадались на каждом шагу — жирные, отъевшиеся, похожие на котиков-мутантов... Нервно задергалась ручка. Квартиранты тихо подошли к двери, Вулдырь прихватил кухонный нож. Консensus резко распахнул дверь, отпрянув в сторону. Доктор застыл, сжался, как лопнувший шар, а зеки в один голос выпалили:

— А вот и хозяин пришел!

Консensus тут же посуровел:

— Да какой он хозяин? Бомж!

— Бомж, пошел вон! — скомандовал Вулдырь.

— Господа, — начал канючить сломленный человек в грязном халате с драконами. — Вы не можете меня прогнать, я здесь прописан. Вот и табличка на двери — «Доктор И. Г. Шрамм»...

— А-а, ты, значит, еврей? — обрадовался Консensus. — Вот и катись в свой Израиль.

— Я не еврей, у меня чисто немецкая фамилия! — застонал Иосиф Георгиевич.

— Значит, катись в Германию! — отрезал Консensus.

Но тут Вулдырь схватил доктора за воротник и втянул в квартиру:

— Заходи, гостем будешь!

Консensus, похотывая, тащился сзади них и похлопывал Иосифа Георгиевича по плечу.

— Так как звать тебя, Шрам? Это что, кликуха такая? — спросил Вулдырь. — Блатной... Паханом будешь у нас? Как раз вакансия свободная...

— Так как величать, папа?

— Иосиф... Георгиевич, — чуть не поперхнулся доктор, услышав как бы со стороны свое имя. Оно показалось ему ужасно нелепым и чужим.

— Сильно! — похвалил Вулдырь. — А попроще можно?

Доктор замаялся. Осей его звали самые близкие люди: покойная мама и Люся, ему не хотелось, чтобы бандиты пачкали своими ртами это интимное слово.

— Ио... — глубокомысленно произнес Консensus и повторил: — И-о, И-о... Как будто ишак кричит.

— Ио? Фартовая кликуха! — оживился Вулдырь. — Ты будешь Ио! Мы тебя коронуем, ты будешь Ио в законе.

— Прямо сейчас! Прямо сейчас! — захохотал Консensus. — И-о! И-о!

— Неси трон! — командовал Вулдырь.

Консensus, возбужденный и раскрасневшийся, метался по комнате, он притащил из кухни стул, насильно усадил на него Иосифа Георгиевича. Вулдырь стал вещать утробным голосом:

— Тебе оказана великая честь: ты будешь королем. Да, сейчас мы тебя коронуем.

— Всячески и с пристрастием!

— Готов ли ты к испытаниям?

Но ошалевший доктор не мог вымолвить ни слова.

— Молчание — знак согласия!

Консенсус содрал с Иосифа Георгиевича халат, притащил из ванной грязную мокрую тряпку и начал хлестать ею доктора по спине, потом вымазал ему лицо.

— Теперь ты должен быть откровенным и честным, словно перед прокурором. Ответь нам, отрок...

— Вшивота пархатая! Грязнуля! Где он так вывозился? Рожа черная, как у негра!

— Еще хуже. Негры уже давно моются.

Консенсус поднял с пола консервную банку из-под кильки и водрузил на бритый череп доктора.

— Да здравствует король! Хайль Гитлер! Король Ио! Ура! — Консенсус уже хрипел.

Доктор стал рассказывать свои печальные истории про женщин. Не то, чтобы ему хотелось сочувствия, просто самому надо было облечь в словесную форму все переживания, беды и злоключения последних дней...

— Однажды вечером я пришел с работы, — монотонным голосом начал он свою «одиссею», но Вулдырь перебил:

— Отставить! Все по порядку: какая работа, какого черта ты там делал?

«Мой интеллигентный вид почему-то всегда вызывает у негодеев желание поизмываться надо мной. Подспудный комплекс интеллектуальной неполноценности...»

— Я работаю в психиатрической лечебнице. Я главный врач.

— Вулдырь, мне нужны капли!

— Терпи, дальше будет хуже...

— Вулдырь, тебе не хочется спеть последнюю песню орангутанга?

— Итак, больница для идиотов. Прекрасное начало... Продолжай, дурик, таких забавных, шлангом буду, не встречал! — выдавил в корчах Вулдырь. — Тебе не смешно, с чего смеяться, если знаешь, что не доживешь до среды.

— В больнице для идиотов есть свои правила, — пояснил Шрамм.

— Ты сделаешь для нас эсклю... зорную экскурсию, — устало заметил Вулдырь. — Мы будем комиссией цека капээсэс...

— Но сначала пусть объяснит: почему от него слиняла рыба?

— Шелушил не с той стороны, — пояснил Вулдырь.

— Чтоб ты знал, «рыба» — это тоже женщина, — прошептал Консенсус.

«Буду рассказывать сам для себя», — подумал доктор.

— Да, я, главный врач сумасшедшего дома, одетый в китайский халат на голое тело, в один прекрасный момент обнаружил у себя дома записку. Моя жена, моя ласточка, птичка, песня, моя надежда в старости, моя единственная сексуальная утеха, в которой я души не чаял, которую обожал больше жизни...

Когда любишь, слова льются как в ниагарском водопаде...

— Отличный образчик интеллигента, — процедил Вулдырь. — Его как пескаря на кулан насаживают, а он про сиськи-матиськи рассказывает.

— Не мешай! — бросил Консенсус. — Вдруг он сейчас скажет такое, что ты никогда в своей дрянной жихтарке не слышал.

— Ио! Скажи такое!

— Бисер перед свиньями... Такой же бисер метал и я, был соплив в своей любви... Я считал, что женщину можно купить своей страстью, если не купить, пусть будет не точно это слово, то подавить каждодневным напором сексуальной энергии, так, чтобы она постоянно чувствовала, что ее давят и раздавят, если она хоть на миг усомнится в том, что должна разделить себя между кем-то еще. На двоих, троих, четверых... Вы ведь знаете, что значит обволакивать самку каждодневной слезью своего сюсюканья. Или она сдастся, или будет просить пощады, или же сбежит. Женщины, как и мужчины, хотят чувства меры. Я не знал чувства меры. Я просто плавал в своем мирке,

выслушивал брюзжание своей женушки, ее звать Люся, это не та, которую вы видели. Она сбежала без трусов... Люся была моей Золушкой, да, она была бедна, простушечка из общежития... Я ее покорил. Главврач. Доктор психиатрии.

Увы, так и было. С уст доктора ежеминутно слетали имена Зигмунда Фрейда, Франкла, Юма, Шопенгауэра, Ницше. Они, далекие, представляли лучшими друзьями доктора, вчера сидевшими у него на вечеринке. Все они были интересными собеседниками, и Люся с тайным вожделением ждала, когда супруг познакомит ее с этими людьми. Она не подозревала, что все они умерли. В конце концов она, раздосадованная, сделала вывод, что знаменитости не желают приходить к доктору. Люся тогда впервые поняла: Иосиф Георгиевич ей не пара. Потом она таки догадалась, что все эти иностранцы давно померли, а доктор, мерзавец, так все представлял, что они жили через квартал, что он всех знал, как облупленных, и как бы не хотел знаться с ними по причине «антагонизма воззрений».

— А однажды, — продолжал печальную исповедь Иосиф Георгиевич, — я пришел вечером домой и, о ужас, обнаружил на столе записку. От Люси. Она писала, что вся ее жизнь со мной была ошибкой, что ее все раздражало во мне. Во мне, человеке, который вытащил ее из паршивого общежития, которого она слушала, открыв рот!.. Ей не нравилось, как я причмокиваю за обедом, не нравились мои вывернутые ноздри... — Доктор непроизвольно почесал нос. — Ее раздражали, видите ли, мои руки в старческих веснушках, мои глупости и умничанья. Даже мой запах, о подлая самка, убивал ее!

Бандиты расхохотались.

— А ты, оказывается, та еще вонючка! — поспешил заметить Вулдырь.

— То-то я смотрю, вонища появилась! — добавил Консенсус.

— Мой запах напоминал ей запах прокисшего молока... — не обращая внимания на реплики, продолжал доктор. — Кроме того, ей надоело стирать мое белье, она обзывала меня чмом и идиотом... Не знаю, где она нахваталась таких слов...

Последовал новый взрыв хохота. Шрамм сделал глубокий вдох.

— Она еще написала, что ей всегда не хватало настоящего мужика, который бы драл ее, как козу. Она жила с подавленным либидо.

— Ну и прикольная у тебя телка! — оценил Вулдырь.

— Она забеременела от другого человека, в чем призналась мне. И в конце своей записки предупредила, чтобы не вздумал ее искать, иначе мне оборвут все выпуклости.

Бандиты корчились от смеха, не переставая.

— А к кому она ушла, рогоносец? — задыхаясь, спросил Консенсус. — Познакомил бы со своей Люськой. Мы бы ее отодрали по первому сорту!

— Она ушла к Лидеру Движения Кара-Огаю, — просто ответил Иосиф Георгиевич.

— Понятно, — после паузы озадаченно отреагировал Вулдырь. — Баба не промах.

Вместе с доктором бандиты пошли грабить продсклад больницы, а Юра бросился спасать Машу. Некуда ей было бежать, как и ему самому. В безумном городе она не прожила бы и нескольких часов.

— Маша, проснись, — прошептал он.

Она открыла глаза, улыбнулась.

— Это ты?

Уговаривая и подталкивая, он вывел ее на задворки.

...Маша теперь безотлучно находилась при нем, и он уже не представлял, как раньше мог обходиться без ее лучистой улыбки, тихого, невесомого, как тень, присутствия. От нее исходила теплота, он чувствовал это инстинктом и сердцем, но по молодости или же духовной неискушенности объяснить это не мог. Все же ему не было и двадцати лет. Маша радостно выполняла его

маленькие поручения, например, утихомирить беспокойную палату или вынести из-под больного судно. Что будет, когда жизнь нормализуется, он не знал, но, странное дело, он и не хотел, чтобы это смутное время кончалось, потому что именно сейчас чувствовал душевное спокойствие. Юрка был счастлив, так как в одиночку справлялся со всей больницей — был директором, главврачом, завхозом и электриком в одном лице. Он падал с ног от усталости, выматывался до кругов перед глазами, но взамен получил бесценное: впервые в жизни он осознал меру своего достоинства, самолюбия — чувств, которых ему не полагалось иметь в детдоме.

Отравляли существование мысли о кормежке. Продуктов никогда не хватало, а тут часть расхитили да еще унесли мародеры под руководством Шрамма.

Воспоминание о докторе вызывало глухую злость. «Наверное, он тоже не совсем нормальный», — в конце концов решил Юра, чтобы как-то объяснить причудливые изменения людей в преклонном возрасте, каковым он считал Иосифа Георгиевича.

«Помочь могут только военные», — после раздумий понял Юрка и отправился в полк. Командира он видел два или три раза, да и то издалека. Представлялся он ему суровым и сухим человеком — однажды Юрка слышал, как подполковник рычал и обкладывал матом потного от страха прапорщика. Тот стоял, выпятив брюхо, и ежесекундно послушно кивал головой. Эта сцена покорила Юрка. В его представлении офицеры должны были быть более изысканными и романтичными. И вообще ему не нравилось, когда люди рычали, будто дикие звери. Матом он тоже не ругался, кстати, за это над ним потешались в детдоме.

Маша пошла вместе с ним. Хотел он ее оставить, да она увязалась. В полк они прошли через черный ход — дыру в колючей проволоке. Старший лейтенант, попавшийся им навстречу, объяснил, как найти штаб. Но в здание их не пустил прапорщик-часовой. И они долго бы ждали, если б командир не вышел сам. Он окинул недовольным взглядом юную парочку, спросил:

— А это кто такие? Почему посторонние у штаба?

— К вам на прием просятся, товарищ подполковник, говорят, из сумасшедшего дома. Я их гоню, а они не уходят, — пожаловался прапорщик.

Юрка понял, что хорошего ничего не будет да еще влетит за то, что без спросу залезли сквозь дырку в полк.

— Что, жрать нечего? — грубо спросил командир тоном, в котором, как показалось Юрке, сверкнул металл.

У него жалось сердце. Маша же, наоборот, уперла руки в боки и нахально стала разглядывать «военное чудовище».

— Нечего, — просевшим голосом ответил он. — То есть осталось совсем немного.

— Ясно, если б было нечего, пришел бы еще раньше. Ты кто, директор? — спросил командир, прекрасно зная, кто в больнице хозяин.

— Санитар...

— Пошли!

Лаврентьев привел их в кабинет с койкой в углу и многозначительными телефонами на столе, что сразу успокоило Юрка. Еще он успел разглядеть на столе карту и тут же отвернулся: на ней наверняка были нарисованы секреты, которые Юрку, конечно, не интересовали. Его интересовала еда для подопечных.

— Значит, еще не вымерли? Это вам повезло, что вы рядом с полком находитесь, а то при нынешних нравах от вашей богадельни давно бы камня на камне не оставили. А почему директор не пришел или кто там, главврач?

Юра откашлялся и сбивчиво пояснил, что он единственный, кто остался из персонала, остальные разбежались.

— Знаю... — прервал его Лаврентьев. — Так и не появлялись, замудонцы!

Он спохватился, прикрыл рукой рот. Маша округлила губки и вдруг захихикала.

- Да, тут озвереешь...
- Нас уже и грабили два раза, — вставил Юра.
- Ладно, не дави из меня слезу.

Командир поднял трубку и потребовал найти Костю. Когда тот появился в кабинете, Лаврентьев сказал:

— Пойдешь вместе с этой сладкой парочкой в психлечебницу, оценишь состояние больных, запасов пищи, потом подготовишь мне краткую записку. Надо помочь продуктами. А то неровен час перемерут. Жалко будет, ведь Божьи дети, кто о них позаботится, как не воины?

«Деловой мужик! — восхищенно подумал Юра, когда они втроем вышли из штаба. — Вот кого бы директором к нам. Ни один бандит не сунулся бы...»

Очкарик-капитан протянул руку и назвал себя:

— Костя.

Юра и Маша тоже назвали себя.

— Первый раз вижу такого молодого врача. Ты что заканчивал? — спросил Костя.

— Да нет, я обычный санитар, — смущенно пояснил Юра. Ему показалось, что капитан слегка пьян. Впрочем, он уже знал, что офицеры никогда не были трезвенниками. Даже доктор Житейский в конце дня иногда выпивал, ловил за рукав представителей младшего медицинского персонала и нес какую-то чепуху.

— А вы санитарка? — обратился капитан к Маше.

— Я сумасшедшая, — вздохнув, ответила девушка.

— А-а, — протянул Костя. — Непохоже...

— Я тоже так считаю, — сказала Маша. — Но врачи говорят, что у меня шизофрения.

— В наше время и нормальные ведут себя почище сумасшедших, — заметил Костя. С психически больными дела иметь ему не приходилось. Вот пришить что-нибудь, вырезать, пулю достать, по частям сложить — это пожалуйста.

— Не утешайте меня, — вдруг строго сказала Маша. — Еще неизвестно, кто кого должен утешать. А то есть такие, что на больных смотрят как на диких зверей, вопросы задают дурацкие, думают, мы ящики деревянные, ничего не понимаем, только глупости всякие хотим делать, чтоб над нами смеялись. А я тоже смеюсь, когда вижу эти тупые рожи, которые считают себя умными и нормальными.

— Маша, не надо! — попросил Юрчик. — Костя ведь хочет помочь нашим больным.

— Да, нашим больным, — тихо подтвердила она. — Мы не будем возвращаться? Здесь так хорошо...

Но ее не расслышали.

Вечером они поссорились.

— Ты держишь меня взаперти... Выпусти меня, Юрочка! — вдруг взмолилась она. — Отпусти, мне плохо здесь, я буду тебя обзывать, щипать, мучить, пока ты не отпустишь меня.

— И куда ты пойдешь? Там нормальным людям жизни нету, ты умрешь через десять минут, как рыба без воды, те же бандиты отловят тебя и живой не отпустят. А здесь у тебя койка есть и кормят пока...

— Подавись своей кормежкой! Я хочу быть свободной, неужели не понимаешь, какая это пытка: отпустить за забор, поддержать на веревочке, а потом привести обратно...

— Оставь! Я уже слышал эту чепуху! — закричал он, взбешенный ее упрямством. — Тоже мне комсомолка нашлась!

— И пусть меня убьют, но я умру свободной!

— Ты идиотка!

— А ты сомневался? — Она расхохоталась. — Все равно я убегу, даже

если ты меня посадишь на цепь. А на цепь ты меня не посадишь, потому что ты добрый и еще любишь меня. А я тебя за все это ненавижу!

— Хорошо... — Юра сделал вид, что сдался, он и на самом деле зашел в тупик. Успокоительных лекарств не было, да он и не стал бы колоть Машу. Он не выносил, когда бьющихся в припадке людей заламывали дюжие Иван со Степаном, а Аделаида Оскаровна, мертвенно поблескивая очками, с видимым удовольствием втыкала сверкающую иглу в человечью мякоть. Большой стихал — будто постепенно угасал.

— Хорошо, — повторил он. — Как стемнеет, мы выйдем в город, возьмем с собой целлофановый пакетик с сэндвичами, французским шампанским и шоколадным бисквитом. Мы устроим чудненький пикничок на развалинах старинного здания, их в городе сейчас — на каждом углу. Потом мы будем сражаться с бандитами и в заключение совершим какой-нибудь подвиг. Ты не против?

— Ты начинаешь исправляться! — строгим голосом похвалила Маша. — Если будешь и дальше слушаться меня, я открою тебе свою тайну.

— Договорились. А теперь ложись и отдохни, — распорядился Юра.

— Ты чего? — Она покрутила пальцем у виска. — У меня же сейчас не депрессивный, а эйфорический период! Мне и ночью спать не хочется, — похвасталась Маша, победоносно улыбнувшись.

— Ну, так делай, что хочешь. Но без меня никуда ни шагу! — И он плюхнулся на кровать.

Маша незаметно опустилась рядом, только не на постель, а на пол. Ее лицо как раз оказалось на уровне Юркиной руки. Он погладил ее по щеке, она доверчиво, будто ждала ласки, потерлась о его ладонь.

— Ты боишься своего будущего? — спросила она.

— Я его не знаю, почему я должен его бояться? — Он задумался. — Если человек не знает своего будущего и даже не предполагает, каким оно может быть... значит, он вообще может ничего не бояться.

Выходила абсолютная чепуха, которую не следовало произносить вслух даже при Зюбере.

— Ты всегда задаешь мне такие вопросы... Вообще-то человека без будущего не бывает.

— Я без будущего!

— Кто тебе сказал?

— Аделаида Оскаровна... Однажды я ее назвала старой жабой, — пояснила Маша. — А она сказала, что я скоро стану такой же, как Малакина, и даже хуже... Потом я еще слышала, как доктор говорил одному больному, что всех нас ждет постепенное превращение в червей, бессмысленных идиотов...

— Доктор — просто слабый человек, от него ушла жена, а Аделаида — старая, одинокая и несчастная женщина. Это у них нет будущего... — И, подумав, он добавил: — А у нас с тобой есть.

— Если я выздоровлю, — очень тихо сказала Маша.

Юра вскочил с койки, опустился рядом на колени.

— Ты обязательно выздоровеешь, — торопливо заговорил он. — Ты не должна думать о том, что больна. Я, самый главный врач больницы, объявляю тебе, что с этой минуты ты здорова. Да, прямо с этой минуты. Встань, о Мария!

Она послушалась, Юра притянул ее к себе и поцеловал в губы, ощутив, какие они холодные и нежные. «Как тоненькая живая пленочка», — подумал он искушенно. Маша замерла, закрыв глаза, он поцеловал ее крепче, почувствовав, как она прижалась к нему, доверчиво, торопливо, будто боясь, что этот миг исчезнет без следа. И тогда не останется ничего: ни веры, ни надежды и уж, конечно, будущего. Все это, как озарение, промелькнуло в голове Юры, он понял и то, что Маша никогда не скажет даже при всей своей открытости, как она зависима от него, Юры, и что разрыв будет беспощаден для нее и смертелен.

— Ты правда считаешь, что я выздоровела? — Она задохнулась то ли от долгого поцелуя, то ли от щемящей беспричинной тревоги, неверия, ожидания, надежды...

— Честное слово!

— Мы убежим отсюда?

Юра вздохнул, остро осознав, какой он маленький и ничтожный, потому что не может увести свою девушку туда, где она будет счастлива, весела и беззаботна, но ответил утвердительно:

— Я покажу тебе ночной город, ты превратишься в серую кошку, мы будем лазить с тобой по древним развалинам, подглядывать за людьми, которые прячутся от злых духов...

— И будем их пугать? — восхищенно спросила Маша.

— Только не сильно... Мы будем следить за разбойниками и прятаться от вербовщиков в боевые отряды. Они повсюду шныряют, как крысы, заставляют идти на войну, стрелять в людей. Они ненормальные, и вот их надо бояться больше всего...

— А если нас поймают? — осторожно спросила она.

— Тогда мне побреют голову и отправят воевать.

— А мне тоже побреют голову?

— Тебе первой!

Маша призадумалась, а Юрка весело рассмеялся — завел девушку в тупик.

— Ты, конечно, все врешь, ты классный врунишка, но все равно тебе не удастся меня обмануть. Потому что я выздоровела и поумнела... И нам пора, уже стемнело... Ты обещал!

— Хорошо, — мрачно произнес Юрка. — В городе темно, но все равно нужно замаскироваться. Одень мой спортивный костюм. Он синий, как раз то, что надо. А я одену темную рубашку.

Маша послушно скинула юбчонку и блузку, оставшись в одних трусиках. Юрка зажмурился: он еще ни разу не видел ее обнаженной. Видел старых и немощных, которых обмывал, а ее — нет. Она была худенькая, как тростинка, сосочки смешно топорщились на маленьких грудях. Маша быстро залезла в спортивный костюм и сказала, что готова.

— А теперь мы должны позаботиться о косметике. Пошли на кухню.

Там он вымазал сажей ее лицо, в полоску, потом густо намазал свое. Она хохотала, показывая на него пальцем, и еще больше, когда увидела себя в зеркале.

— Если нас поймают, мы негры, шли из Африки в Европу и заблудились...

— Мы потребуем, чтоб нам вызвали посла! — поддержала тему Маша.

— Пора. Снимай свои туфли, идем босиком. Во всем слушайся меня.

— Хорошо.

Они тихо спустились во двор, прошли к воротам. Солнце уже провалилось за горизонт, тихий, безмолвный вечер опустился на город. Сыромяткин спал, сидя на скамеечке. Юра отодвинул засов, приоткрыл дверь, пропустил вперед Машу, потом с грохотом захлопнул, чтобы разбудить сторожа. В ответ послышались нечленораздельные звуки.

— Бежим! — крикнул Юрка, схватил Машу за руку, она засмеялась.

— Давай его напугаем! — предложила она.

— Не надо. Он безобидный и к тому же бывший поэт! — на бегу выкрикнул он.

Они неслись, едва касаясь обнаженными ступнями горячей дороги; огромные сумрачные деревья, выраставшие перед ними, казались одушевленными великанами, у которых окаменело тело, но живой осталась душа. Разлапистые ветви-руки уходили в черно-синее небо, будто взывая, безнадежно укоряя. Но Юрка знал, что деревья — это хитрые исполины. Они крепко стоят на земле, и им никто не загораживает солнце и ничто не угрожает в раскаленном до желтизны азиатском воздухе, потому что людям,

существам, не сцепленным корнями с недрами, очень нужны тень и прохлада листвы.

Не чувствуя ног, они бежали по шершавому асфальту, все созвездия неба тянулись к ним силой своего притяжения. А может, это вырвавшиеся силы молодости придали им незримые крылья...

Наконец Маша запыхалась и сказала: «Хватит». Слабеньким было ее тело, да и Юрчик выдохся: какой из него спортсмен? Теперь они шли тихо, не торопясь, пока не справились с дыханием. Они высматривали темные углы и чернеющие контуры. Здесь пахло кислой гарью и никто не жил. Дома зияли выщербленными окнами и пустотами на месте рухнувших крыш.

— Пошли посмотрим! — тихо прошептала Маша. Она видела в темноте, как кошка.

Босыми ногами они осторожно ступали по каменной крошке, зашли в комнаты с вырванными дверями.

— Развалины старого мира, — тихо сказал Юра.

— Старый мир был неправильным, и поэтому его развалили? — спросила Маша.

Ее глаза блестели, Юра уловил их незаметный свет. Луны не было. Ничего не было, кроме дальних холодных галактик. Но они тут были ни при чем.

Они пошли дальше по середине дороги, которая тоже еще хранила воспоминания маленького провинциального рая. По обочинам тянулись нетронутые кусты, над ними плавали безмятежные огоньки-светлячки. И, конечно, насвистывали бестелесные существа — цикады. И лишь однажды откуда-то из черной подворотни, а может, из-за угла выскочила огромная железная коробка на колесах, она промчалась, завывая и лихорадочно шаря вокруг себя белым столбом света. Маша и Юра пригнулись, чтобы не возбуждать злое любопытство чудовища. Потом вдалеке они увидели неясный электрический свет и вскоре вышли к площади. Здесь на самом деле горели фонари, все здания были целыми, а в трехэтажном — даже светились окна. В одном из окон мелькнул знакомый всем жителям города хищный профиль с короткой бородой. Видно было, как мужчина что-то говорил и жестикулировал. Юрка догадался, что это Кара-Огай. Они спрятались, чтобы понаблюдать. Вокруг сновали, сидели на ступеньках вооруженные люди. Доносился смех, обрывки разговоров. Кажется, люди обсуждали свои успехи. И еще они увидели двух девчонок, сидевших верхом на железной машине: беленькую и черненькую, одетых в одинаковые пятнистые костюмы. Это были Инга и Карина. Внизу, как раз на урвне их ног, стояли парни, курили сигареты и, наверное, хотели понравиться девушкам. Но те вели себя гордо и неприступно. Инга мужчин презирала, а Карина вообще была девственницей.

— Инга, а ты возьмешь меня с собой в Прибалтику? — спрашивал светловолосый увалень. Это был Сирега. — Я там за вашего сойду.

Инга расхохоталась, ответила с непривычным для этих мест акцентом:

— Зачем так талеко фести старый пустой чемотан?

— Я еще не старый! — обиделся Сирега.

— Но пустой! — грохнули хором мужики.

— Ладно, обойдемся без вашего зарубежья, — разошелся Сирега. — Я вот на Карине женюсь! Пойдешь за меня?

— Очень нужен мне неверный! — Она недовольно повела плечиками.

— Я?! Да я буду самым верным мужем! — стукнул он себя в грудь.

— Сирега, — хлопнул по плечу товарища Степка, который тоже был здесь, ибо получше местечко на земле пока не нашел. — Ей нужен правверный, а не ты, кяфир несчастный!

— Тоже мне интернационалисты, — разыграл разочарование Сирега.

Самыми счастливыми в городе были Юра и Маша. Их никто не знал, и они никого не хотели знать. У них не было дома, который сгорел, родственников, которых убили и за которых обязательно полагалось мстить, не имели они пожитков, всяческого добра, которое нуждалось в сбережении и приумножении.

Слились их неискушенные души, и получилось что-то робкое, наивное, может быть, смешное, но истинное и чистое, настоящее, сущное...

— Мне без тебя будет скучно... — сказал Юрка. — А терять нам на этой земле нечего. Мы нищие, у меня есть только ты, а у тебя я. Верно? Ну а сейчас мы проникнем в полк, там есть мировой душ. Возьмем французский шампунь, и я помою твои чудные волосы, чтоб в них снова появился отсвет червонного золота.

— Червонного золота! Червонного золота! — восторженно повторила она.

— Бежим! Бежим от этого ужасного дома!

— Когда мы станем чистыми, мы полетим! — на бегу воскликнула Маша. — Люди не могут летать только потому, что в них есть что-то грязное, тяжелое и сумрачное...

Они вскочили на старый полковой забор, построенный еще в эпоху довоенного модернизма. Забор этот был то, что надо! Они даже не разодрали себе лодыжки. И часового не было. Все часовые убежали давным-давно... А господа офицеры устали от непрерывной службы. По территории ходил лишь патруль из двух прапорщиков. Нынче они ничего не боялись, так как успели освежиться местным портвейном. Они громко разговаривали и не обратили на молодежь абсолютно никакого внимания. А молодые пробрались за санчасть.

Они нашли Костю, который очень обрадовался, увидев юношу и девушку из дурдома. И пьян он был не так, как обычно, а вроде как между прочим. Костя похвалил их за стремление к чистоте, назвав молодоженами. Маша смущалась, а Юра подумал, что краснеть не собирается. И не покраснел.

— Идемте, я дам вам две чистые нулевые простыни. Из командирского резерва. — И на самом деле дал да еще и напутствовал странной фразой: — На каждого влюбленного довольно наготы.

Потом Костя-Разночинец включил им кран, крикнув: «Я ухожу и включаю вам жизнь!» — и убежал по своим делам.

Маша проворно стянула с себя Юркин спортивный костюм, спустила трусики. Юрка, которого мучил вопрос, каким образом они будут мыться вдвоем, только перевел дух. Он тоже решил не стесняться, быстро снял штаны. Стоя на одной ноге, потерял равновесие и упал бы, если бы не товарищеская поддержка.

Маша с визгом кинулась под холодную струю. Юра же ступил под воду с мужественным спокойствием. По его худой груди стекали прозрачные струи, и он представлял себя под водопадом где-нибудь в экзотической стране. Маша прижалась к нему, и Юрка почувствовал, как полыхнуло жаром, как, помимо воли, он возбудился, ему стало неудобно и стыдно: вдруг Маша почувствует? Он чуть отстранился, но она сразу все поняла, обвила его шею руками и впилась ему в губы.

— Ты чудо, — прошептал Юра, он касался ладонями ее бедер, ощущая чудный изгиб, сердце колотилось, рвалось из груди, дыхание перехватывало. — Я так счастлив...

— И я тоже... Ты хотел помыть мои волосики...

За последнее время ее волосы быстро выросли, стали длинными, и особенно это стало заметно сейчас, когда они превратились в тяжелые мокрые волокна и уже закрывали ее худенькие лопатки. Юра осторожно намотал волосы на руку, чтобы ощутить их прелесть и заставить ее томно откинуть голову; ему показалась, будто вспыхнула полоска на шее, он выпустил гриву, взял пластмассовую бутылочку, вылил огромную тягучую каплю елея, она поползла по волосам, как замедленная струя благоухающей лавы. Не нужно было экономить воду, тугие струи летели во все стороны; чудно было видеть Машину обнаженную грудь под светом ранней луны, сверкающую пену, исчезающую у ног...

Они решили не одеваться и, скомкав свои простенькие наряды и про-

стыни, выскочили из душевой; резко открывшаяся дверь пристукнула немую тень, она жалобно ойкнула. С развевающимися простынями обнаженные купальщики пролетели мимо ошалевших прапорщиков, подпрыгнули, вознеслись над забором и исчезли.

— Господи, помилуй! — завидев вихрем поднятые тела, пробормотал патрульный и неумело перекрестился. — Голых видал, но чтоб летали! — И тут же почувствовал, как закружилась голова, будто залпом выпил бутылку портвейна.

Напарник же мигом протрезвел и дал резкую отповедь:

— Почудилось нам... Не бывает такого!

...В несколько секунд, не касаясь грешной земли, они промчались сквозь расстояние. В небе мигали сочные звезды, посылая свои поцелуи из глубины далекого прошлого расстоянием в миллионы солнечных лет... Они с легкостью преодолели забор и вновь очутились на территории печали и скорби. Ворота уже не охранялись, так как бывший поэт Сыромяткин понял, что любая стража — это противоестественная свободе субстанция. Да и влюбленным, прямо скажем, не нужны ворота. Они ворвались в каморкины покои, сохранив наготу и веру в бесконечное, нарастающее-распухающее счастье. Вода еще не высохла на их телах, а они уже бросились в объятия друг друга, сердца их заколотились еще сильнее, сначала вразнобой, потом в унисон, как и положено любящим. Ее разметавшиеся волосы на глазах высыхали в его горячем дыхании; она извивалась серебристой змейкой, ожидая слепое жгучее проникновение, и страшно было, и нет... Томное нетерпение, подрагивающие голубоватые коленки, руки, жадные и скользящие по телу; она привстала, и волосы цвета червонного золота обрушились на Юрку густым водопадом, струящаяся шелковистая масса отгородила от всего мира его лицо — остались лишь ее улыбка и мерцающие глаза...

Вдруг небо с грохотом треснуло, и посыпалась радужная штукатурка. Это старый поэт Сыромяткин надумал постучать в дверь каморки. Юра нехотя поднялся и, как был в естественном виде, пошел открывать, даже не подумав, стыдно это или некрасиво.

Сыромяткин, увидев обнаженного юношу, заговорил чистейшей прозой:

— О величественнейший и прекраснейший Аполлон! Не соблагоизволите ли вы и дева Мария посетить сегодняшней ночью волшебный бал? Бал будет символическим, он внесет ясность во все то, что каждый из нас, влекомый нашей бедственной и несчастливой судьбой горемычной, пытается найти в безысходной жизни... И в этом предназначение мероприятия. Не пир сатанинский во время чумы, но прибежище последней радости для истомленных душ...

Юра и Маша облеклись в одежды и спустились во двор. Больные были там. Вынесли даже тех, кто не мог передвигаться. Стояла здесь и кровать, покрытая простыней. Тут открылись ворота, и гуськом, один за другим, потянулись музыканты с трубами, валторнами, кларнетами, флейтами, барабанами и прочим духовым скарбом. К ним решительной походкой направился Автандил.

— Почему без фраков? — строго спросил он толстячка дирижера.

Тот стал вполголоса оправдываться, разводя при этом руками... «Видимо, трудности», — подумал Юра и пошел к музыкантам. А те уже играли вальс «Амурские волны».

— А-а, господин санитар! — усмехнулся недобро Автандил. — Вы получили мое приглашение на бал?

Юра молча кивнул. Когда музыка закончилась, он спросил у дирижера:

— Как ему удалось уговорить вас прийти сюда?

Дирижер потупился и ответил, покраснев:

— Он предложил нам хорошие деньги. И все мы с радостью согласились. Кому сейчас нужна музыка? Свадеб нет, а похорон так много, и жизнь настолько скверная, что о музыкантах даже и не вспоминают... Мы из городского театра, господин санитар, и этот человек по имени Автандил, дай Бог

ему здоровья, вручил нам задаток в настоящих американских долларах и пообещал отдать остальную часть после бала.

— Сыграйте что-нибудь веселое, — сказал Юра, глянув на подошедшую Машу. — Правильно я говорю?

— Правильно, — согласилась она и погладила толстячка по щеке. Тот даже замурлыкал от удовольствия — видно, давно его никто не ласкал. — Грустная музыка нужна тем, кто устал смеяться.

— Это вы очень хорошо и верно подметили! — обрадовался дирижер. Он повернулся к музыкантам, поднял палочку, и грянул жизнерадостный туш...

И тотчас несколько человек с торопливостью слуг бросились поджигать сваленные в кучу доски, ветки.

Люди как угорелые носились вокруг костра, прыгали через огонь, рискуя подпалить полы, несколько человек сбились в хоровод. В отблесках пламени мелькала, кружилась череда бессмысленных лиц. Старушки в платках, мужички в порванных майках двигались вприпрыжку, вздрагивая телами, как заведенные, — все это казалось смелой выдумкой сюрреалиста, решившего воплотить свои видения в живом спектакле. Но люди не знали, что всего лишь выполняют заданные им роли, они по-детски радовались и считали, что у них достаточно поводов повеселиться. Музыканты, купленные на американские доллары, усердно раздували щеки, музыка выливалась из золотых труб, пожарище сверкало на них, отчего они казались раскаленными. А режиссер стоял в стороне и ухмылялся. Автандилу Цуладзе доставляло удовольствие наблюдать.

Появились ящики с вином, шампанским и водкой — под руководством Сыромяткина их притащили Зюбер, Шумовой и Пиросмани — человек с волчьими глазами.

— Молодцы! — похвалил их Автандил, сделал знак оркестру, музыка смолкла, почти все танцующие замерли, кроме трех-четырех, которые все еще жили в мире танца. — А теперь следующая часть программы — «Море разлитое, алкогольное!» Гуляй, братва!

Он сделал широкий жест в сторону ящиков, народ хлынул, возникла неприятная давка, все враз закричали, заверещали. Юра бросился к безумцам, пытаясь остановить их, но было поздно. Ящики вмиг опустели, хлопали пробки шампанского, водку, вино пили прямо из бутылок, взхлеб, как живительную влагу.

Через полчаса все было кончено. Повсюду валялись ослабевшие организмы, оглушенные мощными алкогольными залпами. Пошатываясь, ступали уцелевшие, поднимали с травы бутылки, тщетно проверяли содержимое. Автандил рассчитывался с дирижером, тот кланялся, получая каждую купюру, после чего ритуально поцеловал всю стопочку.

Костер потух. Начинало светать. Маша и Юра сидели на крыльце, думая об одном и том же: утром все будет по-другому. К ним подошел Автандил.

— Молодые люди скучают? Не хотите ли выпить со мной шампанского? У меня осталось.

— Зачем вы их напоили? — сердито спросил Юра. — Смотрите, на кого они похожи! И откуда у вас деньги?

— Разумеется, из кубышки, мой юный друг... А эти растения похожи на самих себя. Когда была музыка, они простодушно пустились в пляс. Когда вынесли выпивку, они тут же набросились на нее и выпили все до капли. Зато я сделал их хоть и на короткий срок, но счастливыми. А вот тебе это не дано. Ты юн и глуп, правда, у тебя доброе сердце. Однако от него так же мало было бы пользы, если б мы, ха-ха, решили сварить из него суп. На всех. Отщипнули бы по кусочку — и через минуту забыли.

— У вас гадкие и злые мысли! И вы никого никогда не сможете сделать счастливым, — вдруг возбужденно заговорила Маша. — У вас нет души. Вместо нее — я вижу — огромный черный удав, он извивается в своих кольцах, а

вместо сердца у вас кирпич, он распирает вашу грудь, вам хочется его выбросить...

Автандил захлопал в ладони.

— Какое бурное воображение!.. Вы, девочка, серьезно больны. У вас шизуха. Жаль, что вы скоро превратитесь в грязную и неопрятную старуху и умрете...

Они ушли от мерзкого Автандила и через минуту заснули в объятиях друг друга. Юрка проснулся от шума, вскочил, ему показалось, что кричали: «Пожар!» Приподнялась и Маша, пробормотала что-то спросонья, задрала голову, сонно моргая:

— Мне как-то и не очень хотелось спать. А мы что, горим?

Вместо ответа Юра протянул ей руку, помог встать. Они вышли в коридор: повсюду металась языки пламени.

— Беги вниз! — крикнул он ей, а сам побежал проверять палаты.

На третьем этаже их было всего три. Все они оказались пустыми. На втором этаже стояла непроницаемая пелена дыма: здесь горело уже давно. Схватив подвернувшийся табурет, Юра стал крушить окна, слыша, как радостно реагируют внизу больные. В едком тумане он обнаружил трех надсадно кашляющих стариков, схватил их за шивороты, вытолкнул к лестнице, потом высунул голову в окно, чтобы набрать свежего воздуха. Но дым валил со всех сторон, и Юрка понял, что сейчас потеряет сознание и никто его не спасет. «Подыхаю», — понял он, усилием воли добрался до лестницы и рухнул, покачиваясь вниз. Из задымленного вестибюля его вытащил Автандил, положив на плечо, как скатанный ковер. На свежем воздухе Юрка тут же очухался, откашлялся, вытер слезящиеся глаза... Больные неистовствовали, восторженно кричали, хохотали, показывая растопыренными пальцами на пожарнице, но большинство трагически переживали случившееся.

— Крякишну забыли!

— Что за Крякишна? — пробормотал Юрка.

— Из двадцать пятой палаты, — тихо ответила женщина, закутанная в одеяло. — Она обезножела.

Юрка чертыхнулся, нашел взглядом Автандила, но тот отрицательно покачал головой. Сыромяткина как назло не было видно. Тут Юрка заметил Карима.

— Быстро за мной, подстрахуешь!

Карим тут же согласился, они побежали в раскаленный вестибюль. Горел и плавился линолеум, зловонное липкое «тесто» испускало зеленоватый дым. «Не дойдем!» — подумал Юрка, на ощупь взбегая по лестнице. Карим шуршал вслед за ним. Они рванулись в полосу огня, будто шагнули в горло дракона. Горели двери, кровати, выставленные в коридоре.

— Крякишна! — утробно закричал Юрка.

Но ни стопа в ответ. Несколько метров — невыносимо далекий путь до палаты. Уже тлела одежда, мутилось сознание. «Не потерять бы Карима!» Ударив по двери, он ворвался внутрь, выбил стекло; пламя, заглотив воздух, тут же заревело с удвоенной энергией...

Юрка обнаружил ее под кроватью: или сама свалилась, или спряталась от огня. Он вытащил ее, легкую, как сухую макаронину, на руках понес к выходу. Он уже ничего не видел, только ощущал свои последние шаги, ватные и мягкие... Очухался он на траве. Вытащили их троих Сыромяткин с Автандилом. Краем сознания Юрка понимал, чувствовал, что должен сейчас кого-то найти. Этим «кем-то», конечно, была Маша. Но дальше этого понимания не доходило. И еще ему очень хотелось пить.

Дом догорал. Плохим он был или хорошим, но теперь стал никаким: на месте окон уродливо торчали обугленные дыры, фасад, стены покрылись жгучей копотью; все, что могло выгореть, — выгорело, внутри еще потрескивало, вспыхивало ненадолго, что-то с хрустом обрушивалось, поднимая последние снопы искр.

Юре сказали, что видели, как Маша выбежала из здания. Грязные, пере-

кошненные, еле узнаваемые лица утверждали, что она опять забегала туда и вроде вновь возвращалась. Он бродил по черному полу, еле волоча ноги, голова раскалывалась, не хотелось думать о том, что будет через час, через пять часов, когда встанет вопрос о кормежке, через двенадцать, когда эту нервную, аморфную, безучастную, дику ораву надо будет укладывать спать. Он слонялся из угла в угол, заглядывал в палаты и пока смутно осознавал трагизм случившегося. Вдруг его затуманенный взгляд наткнулся на что-то ужасное. В последней палате второго этажа, под кроватью, на которой осталась обгоревшая труха, он заметил некое подобие полусожженной кучи мусора. И тут же понял: это обгоревший труп! Черная голова — головешка, скрюченная фигура, руки... Страшнее он ничего не видел. Юрка закричал, опрометью бросился вниз.

— Где Маша, где Маша? — повторял он лихорадочно, не ведая и не веря, что эта безобразная кукла может быть... Он вздрагивал всем телом, расталкивал полуживые, бесчувственные тени. Всклипывая и повторяя одно и то же, он несколько раз обошел вокруг здания, но Маши не было и никто не мог сказать, где она. Тогда он решил посчитать людей, чтобы выяснить, все ли на месте. Однако больные никак не могли понять, что от них требовалось. Появились инициативные помощники, которые перетаскивали вяло соображающих с места на место. В результате Юра мог довольствоваться лишь картиной бессмысленного брожения среди возгласов и ругани...

— Какая сволочь подожгла больницу?

— Разве ты не знаешь? — округлил печальные глаза Сыромяткин.

— Пиросмани поджег, — пробурчал вымазанный в саже Карим.

— Где он, гад, я убью его! — затрясся в бесполезном гневе Юра.

Хамро решил, что пора приготовить коронное блюдо каждого азиатского человека — плов. И да простит ему аллах, что делает его из свинины. В конце концов на войне не выбирают. Он пошел на базар; торговало не более десятка человек. Он выменял на старую солдатскую шапку пакетики с кинзой, зрой, красным перцем двух сортов — жгучим и сладким, барбарисом, еще одному ему известными приправами, прихватил пару головок чеснока. Морковка, рис на полковом складе еще оставались, и, пока это все не исчезло, он сделает такой плов, какой эти русские офицеры ни разу в жизни не ели, хоть и живут тут по десятку лет. В городских забегаловках, в этом Хамро был убежден, не умели готовить.

К священнодействию он приступил после четырех дня, чтобы уставшие за день люди смогли не торопясь, за разговорами, оценить качество блюда и его, Хамро, кулинарное мастерство. Внутренний голос подсказывал ему, что это будет не просто добротный и сытный ужин, который вскоре забудется, а некая тонкая нить, вплетенная в ту долгую или короткую веревочку, которая называется судьбой, маленький рычажок, способный тихо и незаметно подправить, подлатать его жизнь. Все эти подспудные, труднообъяснимые словами чувства поселились в голове приبلудного повара. Тревога, нервный азарт преобразили его, что сразу заметил Костя-Разночинец, которого притянули за здание санчасти необычайные запахи.

Костя взял Хамро под свое покровительство, преувеличенно строго проверял качество пищи, чистоту посуды, полов в санчасти. Все эти отнюдь не обременительные заботы бывший узник с удовольствием брал на себя. И, как дворняжка, которую приласкал первый встречный, был верен и беспрекословно послушен капитану. Офицеры подначивали Костю: где откопал такого худого бродягу? А Хамро и не скрывал, скромно отвечал, что из казенного дома напротив. Как ни странно, на офицеров это впечатления не производило. «Наверное, потому, что они сейчас тоже вроде как зеки», — понимал недавний арестант.

— Кашеваришь? — спросил Костя, начальственно прищурившись.

Хамро не ответил.

Костя хмыкнул и ушел, поняв, что его подопечный «творит», а так как он и сам был творческой личностью, то не стал докучать расспросами.

Аромат плова потихоньку окутал всю округу; люди останавливались, настороженно-чутко шевелили ноздрями, вдыхая священный дух. Даже выстрелы утихли, и если б рису и мяса было вдосталь, может, и война тут же бы всосалась, как вода, в подземную воронку, исчезла, проклятая, оставив после себя лишь подсыхающую грязь.

За столом собралась почтенная публика: Костя-Разночинец, рядовой Чемоданаев, майор Штукин, Фывап Ролджэ с оператором Сидоровым, начальник разведки Козлов. Неожиданно из тени выплыл товарищ Угурузов. Для Хамро, который не знал, что начальник тюрьмы уже давно отсиживался в полку, это, конечно, было не очень приятной неожиданностью. Но он не подал виду и радушно, как хозяин, пригласил:

— Прошу к столу, гражданин начальник.

— Да брось ты, Хамро, так официально! Зови просто: товарищ полковник или даже по имени-отчеству... Мы же тут все свои! — масляным голосом проговорил Угурузов.

Обласканный Хамро принялся раскладывать плов по тарелкам, первому положил Косте, но тут Штукин резонно заметил:

— Подожди, надо командира позвать. Давай, Костя, дуй за ним, раз ты здесь хозяин.

Костя согласно кивнул, вылез из-за стола, пошел в штаб. Минут через пять он вернулся с откупоренными бутылками.

— Коньяк, — пояснил он. — Из стратегических запасов командира.

— А сам где? — нетерпеливо спросил Штукин.

— Сейчас придет.

Хамро зажег керосиновую лампу, потому что электричества опять не было, разложил плов по тарелкам, но никто не притронулся к пище. Ждали командира. Лаврентьев появился вместе с Ольгой. При его появлении все встали, даже Фывапка. Евгений Иванович сел во главе стола, Ольгу посадил рядом с собой.

— По какому случаю праздник? — грозно спросил он.

— Да вот тут откуда-то коньяк появился, — подал голос Штукин.

— Коньяк от благодарного народа, — пояснил Лаврентьев. — Но это вовсе не повод для радости. Если нет других причин, будем считать это официальным приемом. Гостей в полку последнее время много, одних беженцев пару дней назад было две тысячи... Вот и сосед решил нанести визит, — кивнул командир в сторону Угурузова.

— Да, давно собирался, раньше все как-то... — отозвался начальник тюрьмы.

— Потерпи уж, не перебивай, потом слово дам, — остановил его Лаврентьев. — Видишь, даже и американцы научились слушать.

— Я не американец, — буркнул Сидоров.

— На приемах принято произносить официальные речи, а потом уже говорить о дружбе и взаимной любви. Но я всяческим этикетам не обучен, да и не нужно это сейчас... Итак, сначала о дружбе, потом о любви. Костя, разлей под мои простые мысли, которые завершатся тостом... За этим столом сидят представители дружественного народа, не говоря уже об американской стороне. Хамро, человек, волею судьбы очутившийся в моем полку, бывший заключенный из тюрьмы напротив. Плов — это его рук дело, надеюсь, все ему скажут спасибо. Рядом с ним сидит начальник тюрьмы полковник Угурузов... Факт сам по себе ничего не говорящий, если исходить из того, что все люди братья. Да и признаем, в наше время этим не удивишь. Хамро мы ценим за то, что он отличный повар, нас мало волнует, кем он был недавно. А вот Угурузов, начальник при пустой тюрьме и полном городе зеков, вызывает жалость, и нынешнее его качество не поддается определению... Не обижайся, ты не один такой. И не унывай, еще понадобится новая власть... Наше время — время торжества красноречивых идиотов. Идиотизм — это не психическое расстройство, это болезнь масс. Как можно

так быстро, весело и вприпрыжку переломать все вокруг, включая чужие головы, считая, что они плохие и старые, и не сделать ничего взамен... Ну да ладно, жизнь наша, что каша: сегодня без масла, завтра без крупы... Но успокаивает, что все болезни заканчиваются и исхода, как известно, всего два. Я хочу выпить за выздоровление.

Все дружно выпили и набросились на плов, опустив носы в миски. Хамро украдкой огляделся: поглощали исправно. Впервые за последние годы он почувствовал себя человеком на своем месте.

— А теперь, как и обещал, о любви... — произнес командир и поднялся. — Когда-то нашей Олечке я сказал: «Любовь к женщине — это такая частность по сравнению со всей несоизмеримой способностью человека, то есть мужчины, к любви». Я даю возможность всем присутствующим в течение пятнадцати секунд оценить глубину мысли. — Кто хочет высказаться?

Оля встревоженно посмотрела на Евгения Ивановича.

— Очень верная мысль! — поспешил высказаться Костя.

— Одно в другое не мешает, — перевел ответ Фывапки Сидоров.

— А сам как думаешь, не мужик, что ли? — рывкнул Лаврентьев.

— Наверное... — пожал тот плечами.

— Мысль глупа и вредна, — подвел итог обсуждению командир. — В чем я и сознаюсь перед Олечкой. Любовь к женщине — это главное, а остальное — уже частности. Потому что мужчина, не способный любить женщину, не сможет любить все остальное, что вообще можно любить. В этом я и признаюсь, Олечка.

— В чем? — еле слышно, одними губами спросил объевшийся пловом единственный солдат полка Чемоданаев.

— Оля, я признаюсь в том, что люблю вас. Говорю при всех. И хочу жениться...

— Вы с ума сошли, — скороговоркой произнесла Ольга и выскочила из-за стола.

Командир проводил ее веселым взглядом, поднял стакан:

— За любовь мы и выпьем!

Фывапка, которой слово в слово перевели содержание последней тирады, захлопала в ладоши.

Командир выпил, опустил стакан, бросил Штукину:

— Пройдусь по территории.

Он не стал догонять Ольгу, все, что надо было сказать сегодня, он уже сказал. Пусть подчиненные пошущукаются, попьют коньячку, а завтра он даст им за что-нибудь крупный нагоняй. Просто так, чтобы не думали, что у него слишком уж душа нараспашку. В конце концов признание было нужно ему и, возможно, Ольге. Все остальные должны благоговейно воспринять информацию, доведенную командиром. «Пусть Ольга, черт побери, прочувствует, что такое первая полковая дама...» — подумал он. Жаль, что не оценила его порыв. Может, подумала, что это оригинальничанье. Но разве такими вещами шутят?

Еще утром Лаврентьеву и в голову бы не пришло то, что он сделал вечером. Спонтанное признание — это вспышка искренности человека. Правда, потом может прийти сожаление; человек — противоречивая скотина: сегодня кукарекает, завтра ржет, а послезавтра хрюкает. Особенно это свойственно мужчинам. «В этой ситуации я, наверное, похож на фюрера, который учудил жениться перед тем, как отправиться на тот свет», — пришла аналогия.

...На следующий день после дежурства Ольга закрылась в своей комнатке в штабе. Отдых она ненавидела еще больше, чем дежурство: все теряло свой смысл, казалось временным, непостоянным, никому не нужным. Все жили в мире ожиданий, как на вокзале, где у каждого свой поезд — судьба, которая вывезет каждого в свою сторону и в назначенный час. Офицеры ждали замены, чтобы уехать и никогда больше не возвращаться «в эту

дыру». Мятущийся Лаврентьев, кажется, постепенно сходит с ума, но сходит вполне рационально. Он мечтает заменить всех ветеранов и сохранить какое-то подобие полка. Сидим на пороховой бочке, улыбаемся, на что-то надеемся... Женька просто спивается. Алкоголик! Здесь все алкоголики. «И почему-то именно они объясняются мне в любви. Другие не объясняются. Если им что-то и надо, то гораздо более приземленное, например, одна ночь с экстазом. Как все мерзко... Правда, никто не осмеливается. Боятся... Я командирская шлюха, которая ни разу с ним не спала. И поэтому все равно шлюха. И все равно обидно».

Она долго сидела на койке, оцепенело глядя в пустоту, потом подошла к зеркалу, откинула назад соломенную копну волос, оглядела себя, выгнув грудь, провела руками по талии, бедрам; сбросила рубашку, оставшись в одних трусиках, повернулась спиной, скосив взгляд, заглянула в зеркало: и сзади была хороша и стройна. Только никому не нужна в этом логове! Она вспомнила, как Лаврентьев разговаривал по телефону с сыном, как неожиданно изменился его голос, как увлажнились глаза, он подпер щеку рукой, чтобы никто не заметил его слабости. «Не нужна я ему, вернется к своей. Там все будет по-другому, там совсем иной мир. И то, что здесь кажется искренним и чистым, за тридевять земель отсюда просто не может существовать. Другие мысли, чувства, ценности. Все забудется. И пьяный его кураж... Как он мог такое сказать? Весь полк будет смотреть на меня и ухмыляться. А ему, алкоголику, нипочем. Недаром говорят, что у пьяниц сначала атрофируется совесть, а потом печень...»

Тут Ольга вспомнила, что собиралась на свидание с Костей. «Вот единственный человек, который меня искренне любит, — растроганно подумала она. — А ведь он ждет и даже ни словом не намекнул... Поздоровался, посмотрел на меня грустно и промолчал». Ольге не хотелось выходить, тем более идти к санчасти, там обязательно будут слоняться мужики. Не станет же она шептаться, тащить его за собой. Ольга сняла трубку и попросила сменщицу, жену прапорщика, соединить с санчастью. Катерина усмехнулась, полубо-пытствовала: «Хочешь пилюльку на ночь выписать?» «Спрошу, есть ли таблетка от головы», — ответила Ольга, зная, что та все равно подслушает разговор.

— Костя, это я... Принеси мне таблетку от головной боли. Если тебе не трудно.

— Не трудно, — поспешно ответил он. — Ты откуда звонишь?

— Я у себя.

— Я сейчас! Бегу...

«И пусть прибежит! Милый мальчуган в очечках... Будет тихо при мне напиваться, а я буду слушать его умные философские речи. И все будет, как в старых романах. Только я попрошу, чтоб он непременно называл меня по имени-отчеству...»

Раздался стук в дверь. «Какой, однако, скорый!» — удивилась она и крикнула:

— Подожди минутку!

Она быстро надела спортивный костюм: в наше время барышни предпочитают удобные одежды, и юбку не надо вечно оправлять.

— Ты бежал? — первым делом поинтересовалась она, открыв дверь.

— Да, — признался он. — А то вдруг бы твоя голова перестала болеть. Вот таблетки. Это отличное средство...

— Спасибо, но у меня действительно перестала болеть голова. — Ольга усмехнулась и снисходительно посмотрела на Костю.

Он пожал плечами и покраснел.

— Тогда я пойду. — Костя повернулся и с порога грустно заметил: — Тебе нравится играть со мной?..

— Подожди! — требовательно произнесла она.

— Мне некогда. Спокойной ночи! — сухо бросил он и вышел в коридор.

«Как нехорошо получилось!» — опечалилась Ольга, кинулась вслед, остановила Костю, ухватив за кончик форменной рубашки (хотела было за локоток, да не решилась; рукава у рубашки короткие, а хватать мужчину за оголенные места ой как небезопасно!).

— Подожди, ты даже не выслушал меня до конца...

Костя честным, незамутненным взором посмотрел на девушку.

— Я же обещала назначить тебе свидание! Если ты не против, давай посидим у меня.

— Хорошо, — согласился он, и даже очки его засияли от нескрываемой радости. Ведь добрей Кости, и это не секрет, не было в полку человека. — Хорошо, — еще раз повторил он. — Я только спиртику немножко принесу, ладно?

Оля пожала плечами.

— Без этого нельзя?

— Я быстро!

И Костя по кличке «Разночинец» тут же исчез. Его несли крылья любви, а если эта любовь хоть чуть-чуть взаимна, то человек способен на многое, например, в мгновение ока преодолеть любые расстояния. Что и сделал бравый капитан. Не прошло и минуты, как он уже скребся в дверь, Ольга открыла, с немим укором посмотрев на гостя с газетой, свернутой «под колбасу». Однако на капитанском лице читалось такое благоухание чувств, что она тут же его простила. Правда, у нее закралось сомнение: а не от предвкушения ли выпивки блаженствует товарищ? Но нет же, ведь он столько стихов посвятил ей! И Ольга на мгновение представила Костю своим мужем. Как раз они стояли напротив зеркала. Оба глянули на свое отражение, оно тоже, в свою очередь, покосилось на них, но ничего не сказало. Сказал Костя, он был чувствительным малым и понимал мысли, что называется, с лету.

— А мы с тобой могли быть неплохой парой!

Ольга не ответила, потому что нехорошо с порога лишать всех надежд. Любая мало-мальски соображающая женщина это прекрасно понимает, даже если совершенно равнодушна к данному мужчине. Такое уж природное свойство: как мышкин хвостик — виляет, дразнит, а не ухватишь.

На серебристой глади отражалась яркая блондинка, слегка разлохмаченная по моде, в красном спортивном костюме, курточке с приспущенной «молнией». Рядом стоял очкарик с веселыми глазами. Рот его неудержимо разъезжался в улыбке, а карман оттопыривал невидимый градуированный пузырь со спиртяшкой.

— Что-то не так? — поторопилась спросить Ольга.

— Я подумал: выгонишь ли ты меня, если я прямо сейчас стану читать новые стихи, посвященные тебе?

— Ах, вот что тебя занимает! Мне начинает казаться, что ты больше любишь свои стихи обо мне, чем, скажем, саму меня.

— Это неправда! — воскликнул Костя. — Не может причина быть главнее следствия.

— Я твоя причина?

— Да! Причина тоски и... всего остального.

Он выкатил из газеты бутылку немислимого портвейна, смущенно сказав, что ничего другого достать не смог, но в следующий раз они обязательно будут пить шампанское. И Ольге захотелось ответить, что следующего раза не будет, но все же сдержалась, опять-таки по причине, указанной выше. Она спросила, будет ли он ужинать. Костя поспешно отказался. Ольга же резонно заметила, что спирт надо обязательно закусывать, достала полковые консервы, отвратные, но питательные, положила их на стол, Костя открыл «Тунца в масле». Тут же появились две чашки, Ольга извинилась, что хрустала нет, а Костя не преминул добавить про следующий раз, «непременно с хрусталем». Он налил ей вина, себе — спирту, слегка разбавил водой.

- Я хочу выпить за твое счастье, — сказал он.
- Почему именно за мое? — тут же спросила она.

— Ну не за наше же! — усмехнулся Костя. — В последнее время, когда вижу тебя, у меня сердце сжимается, поверь мне. Я вижу, что идет женщина, молодая и красивая, но глубоко несчастная. Она чувствует, как уходит, будто сухой песок, ее жизнь, уходит скучно, бездарно и безвозвратно, и она ничего не может с этим поделать. Эта женщина находится в замкнутом круге, она пленница жизни, обстоятельств, войны. Но не все, кто видит ее, понимают трагедию этой умной и красивой женщины, которой просто не посчастливилось родиться в другом месте, может, в другое время... Одинокая женщина вдвойне одинока, несчастная женщина вдвойне несчастна, потому что никакие чувства не сравнимы с чувствами женщины, загнанной в тупик... И поэтому, милая Оленька, когда я вижу, как ты страдаешь и иногда не по своей прихоти делаешь и мне больно, без злорадства, конечно, скорей от отчаяния, нервных срывов, я никогда не сержусь... Так вот почему я хочу выпить за твое счастье...

Он запнулся. Ольга слушала молча, не перебивая, смотрела куда-то в сторону, может, сдерживала себя, может, тоскливо соглашалась. Последнее время ей так часто бередили душу, что она уже начинала свыкаться с этим. Костя говорил тихо, грустно, даже уныло; Ольга подперла ладонью щеку, незаметно закусив губу: «Когда же он наконец замолчит?» Но останавливать его не решалась. Никто не говорил с ней так проникновенно, никто еще не смог так чутко понять ее страдающую душу.

— Если ты будешь счастлива с ним, и мне будет хорошо. Поверь. За твое счастье! — закончил он.

— Врешь ты все! — улыбнулась она, и глаза ее вдруг просияли. — Ты будешь радоваться, если я выйду за него замуж?

Костя пожал плечами — верный признак того, что в самом деле соврал.

— Давай лучше выпьем за нас! — предложила Ольга.

— За дружбу, что ли? — кисло уточнил Костя.

— А что, с женщиной грешно уже дружить?

— Давай!

И он коротко стукнул о ее чашку своей, махом выпил, выдохнул. Ольга немного отпила и поставила на стол.

— Ну а теперь ты считаешь свои новые стихи про меня! — распорядилась она.

— Самое страшное для поэта — повиноваться.

Он коснулся ее волос, желтых, как свет солнца. Ольга не воспротивилась: пусть ему будет приятно.

В дверь громко постучали. Послышался голос командира:

— Ольга, ты слышишь меня? Открой! Я же знаю, что ты здесь.

— Не трепещи, — тихо сказала она Косте.

— Мне как-то все равно, — прошептал он, но на всякий случай встал.

— Служебное время закончилось! — громко произнесла Ольга. — Что вы хотите?

— Хочу показать, как чисто вымыли пол в коридоре.

— Спасибо, я видела.

— Открывай.

— Не имеете права! — решительно отозвалась Ольга.

— Имею! Во-первых, ты моя невеста. А во-вторых, ты находишься в служебном помещении.

— Мне уйти на городскую квартиру, товарищ подполковник?

— Сиди, черт с тобой. И передай своему кавалеру, что я ему ноги выдерну.

Костя обмер, покосился на окно, но на нем была прочная решетка. «Влип», — подумал он. А Ольга взяла и открыла дверь. Зря она это сделала. Евгений Иванович, конечно, ног у Кости не стал вырывать, но насунился так, что на лбу прорезалось с полдюжины морщин.

— А, вот кто у нас тут... Военврач Синицын Костя. Собственной персоной... Отбиваешь у командира женщину? — сурово спросил он.

Костя замер в позе «вольно». Чертовски дурацкая ситуация получилась. И зачем Ольге нужно было открывать дверь? Столкнуть двух мужиков...

— Я, пожалуй, пойду,— пробормотал он, но Ольга воспротивилась:

— Не уходи!

— Демонстрируешь характер с прицелом на будущее? — смело спросил Костя.

Командиру фраза понравилась. Он шагнул в комнату.

— Ну что, хозяйка, не выгонишь?

— Присаживайтесь, товарищ подполковник. Это же служебное помещение. Как я могу запретить? — холодно ответила Ольга.

Командир сел за стол, стул под ним жалобно скрипнул.

— Вот невестушка у меня... Характер — кремень. Обломает, чувствую, как солдата-первогодка. Как ты думаешь, Костя, у кого характер должен быть крепче: у мужчины или у женщины? Не знаешь? И я тоже не знаю. Хотя на примере Ольги скажу, что совсем неплохо, если женщина неприступная, как скала. А ты лезешь, рискуя каждое мгновение сорваться и свернуть шею. Но зато когда доберешься...

Ольга поставила перед Лаврентьевым стакан, но он отказался:

— Нет, пить не буду. Я уж лучше чайку.

— Чая нет,— печально произнесла Ольга. Она уже пожалела, что открыла дверь.

— Это не проблема. — Евгений Иванович снял телефонную трубку. — Не «чего хочешь», а представляться надо установленным позывным. Вот тебе и «ой»! — сурово отчитал он телефонистку. — Дай столовую!.. Марь Сергеевна, организуй нам чайку! Да, в штаб...

Повисла долгая тишина. Костя тербил клочок газеты, Ольга смотрела куда-то в сторону. Лаврентьев взглянул на них, покачал головой, неторопливо поднялся.

— Ладно, не буду ждать. Недосуг...

Ольга с Костей вскочили, проводили командира взглядом. А тут и Марья Сергеевна с чаем пришла, водрузила на стол, сладко приговаривая:

— Вот, специальной, командирской заварки... А сам-то придет?

— Придет-придет,— ответила Ольга. — Спасибо вам, Марья Сергеевна.

Женщина ушла, Костя тоже поднялся: «Пойду».

— А как же чай? — растерянно спросила Ольга.

— Спасибо, не хочется,— тихо ответил он и ушел.

На столе остались чайник с никому не нужным чаем и две бутылки. Ольга провернула ключ в замке, выключила свет, бросилась на диван и, зарывшись лицом в подушку, расплакалась. Весь мир казался ей ничтожным, скупым, отвратительным и жестоким. Не было в нем для нее места; опустошенное сердце и душа, выстуженная сквозняком-ветром, страдали не так от одиночества, как от обиды. На кого или за что — понимать не хотела. «Дура я, дура», — повторяла она, вздрагивая от рыданий, кусала уголок подушки, чтобы заглушить всхлипы; и слезы ручьями лились, а черствая, сухая наволочка набухала, становясь мягкой и теплой...

Уж сколько девичьих слез вобрал в себя этот податливый перьевой мешочек, сколько тайн узнал от недолюбивших, пострадавших, недогулявших! Душевное, прямо скажем, изобретение...

Костя, нахохлившись, пытался уснуть, но, поворочавшись на постели, включил свет, достал бумагу и стал писать стихи. Однако мир не узнал их: все написанное Костя через час разорвал на мелкие кусочки.

А командир отправился проверять посты. Ему было не до стихов и не до подушки. Печальная необходимость его жизни заключалась в том, чтобы сохранить в это смутное время бесправия своих людей и вождельные для безумных масс горы оружия...

...Великий переход занял десять с половиной минут, включая организационные проволочки. За это время основная колонна вышла на дорогу, пересекла ее и без сопротивления вступила на территорию 113-го полка Российской империи. Прапорщик, стоявший на воротах, опешил, но препятствовать не стал: уж сколько всякого люду перебывало на территории — и с этими как-нибудь разберутся. Впереди гордо вышагивал Автандил. Шумовой, Сыромяткин и Зюбер несли на палках уцелевшие одеяла, некое подобие хоругвей... И уже за этой «каменной группой» ковыляли, плелись, гомоня, смеясь и ругаясь, остальные больные. Где-то в середине шествия под руководством Карима несли Священную Кровать Малакиной. Оголенная панцирная сетка повизгивала, скрипела, как живая, койка плыла над головами, словно маленький железный плот в море бушующих безумных голов. Прапорщик перекрестился: в этом зрелище было что-то неправдоподобное...

Из штаба, как ошпаренный, выскочил капитан Козлов. Сегодня он нес вахту дежурного по полку.

— Это что за процессия? — спросил он как можно более миролюбиво — с психами, ведомо дело, лучше по-аккуратному.

— Мы пришли с миром! — выкрикнул из толпы Карим.

— Зюбер хочет кушать!

— Тихо! — поднял руку Автандил и, слегка поклонившись капитану, продолжил: — Честный человек, посмотри на этих несчастных больных, им негде жить, никто их не накормит, не обогреет. Наш дом сгорел в пламени, у нас нет крыши над головой, у нас нет надежды, мы умираем...

— А почему именно сюда? Здесь воинская часть. — Козлову была непривычна логика умалишенных.

— Правильно! Вы армия, вы будете нас защищать! — обрадовался Автандил.

— Защищать, защищать! — заголосили больные.

Козлов пошел докладывать командиру. Тихие больные тут же опустились на корточки и оцепенели, как майские жуки в заморозки, беспокойные топтались на месте или же возбужденно ходили взад-вперед, натываясь на сидящих; а кто-то уже направился обследовать территорию.

Лаврентьев вышел на крыльцо, обвел взглядом толпу. Скопище убогих и сирых шевелилось, теплилось, взирая на него десятками глаз. Он покачал головой. По сравнению с этими несчастными беженцы выглядели жизнерадостно и благополучно.

— Здравствуйте, товарищи выздоравливающие! — радостным голосом произнес он, дабы сразу вселить оптимизм в больные души.

Ответили нестройно, но многие сразу догадались, что перед ними большой начальник.

— Ну, что приуныли? Бросили вас, а вы и раскисли... Самоуправление ввести надо. Кто у вас старший?

— Я! — гордо ответил Автандил.

— Ты кто, врач? — Командир с сомнением оглядел больничную одежду Чуладзе.

— Нет, я больной.

— Молодец! Надо брать инициативу в свои руки. Что я могу предложить?.. В казармах выделим места для самых тяжелых. Там еще несколько семей беженцев живут. Потеснятся. А остальных могу расселить только по палаткам. Насчет питания сложнее. Но с голоду умереть не дадим... А вот и наш врач идет. Синицын, принимай пополнение!

Костя прослышал, что полк наводнен умалишенными, и поспешил, зная, что чаша сия не минет его.

Командир распорядился:

— Кормить продуктами из складов «нз», с комдивом этот вопрос буду утрясать. А потом пусть городские власти разбираются сами: привыкли выезжать на военных. Только и занимаются тем, что делят должности, а городскими делами заниматься некому!

Вечером Хамро покормил всех кашей с тушенкой «нз», отчего больные сразу полюбили его, почувствовав в нем родственную душу. Проследив за трапезой, Костя ушел к себе грустить и страдать. Он дал себе слово даже не подходить к Ольге, но уже через пятнадцать минут ему страстно захотелось, чтобы она вновь позвонила, ну, как вчера...

После ужина, когда в окнах штаба зажглись желтые огни и отблески их серебристо замерцали на листе тополей, Автандил решил собрать всех здравомыслящих. Он объявил, что пора ввести самоуправление. Но большинству это ничего не говорило, и Цуладзе пояснил: будем выбирать старшего, которого все должны слушаться.

— Кто же он? — спросил поэт Сыромяткин.

— Конечно, я! Разве ты сомневался, глупый стихоплет?

— Но позвольте, а как же демократия! — Сыромяткин вскочил, замер по стойке «мирно», будто слышал государственный гимн.

— Демократия — это необходимость меньшинства для большинства. Вот сейчас ты увидишь, что за меня все проголосуют. Почему? Потому что у меня есть организаторские способности, потому что именно я вас сюда привел, вы все сожрали ужин и даже не сказали мне «спасибо»...

— Спасибо, спасибо, Автандил! — закричали наиболее ослабленные душой.

— Вот видите... — Широким жестом он обвел массы. Впрочем, сидело перед ним не более сорока человек из трех сотен больных. — А кроме того, у меня есть американские доллары, на которые я могу купить всем новые халаты. Вот они, видите? — Цуладзе достал пачку банкнот и потряс ими в воздухе, как колоколом. И шелест купюр прозвучал не менее волнующе, чем призывный набат. — Итак, кто из присутствующих против меня?.. Прекрасно, значит, ни одного. Значит, я директор! Спасибо за доверие! На этом позвольте закрыть...

— А главного врача забыли? — выкрикнул Сыромяткин.

И чтоб нас не лечил!
— Давай главного врача! — раздались крики. — Только хорошего надо!

— И не очкарика!

— Все очкарики — преступники. И их надо расстрелять! — подвел итог спора Автандил.

— Давайте выберем Карима, — предложил Сыромяткин. — Только если он честно признается, что никогда не носил очки.

Карим встал, поклонился и, положив руку на сердце, произнес:

— Клянусь, что никогда в жизни не носил очков.

Карима выбрали единогласно. В своей короткой речи он пообещал, что никого не будет лечить, потому что душу нельзя насилловать, ибо это есть великий грех.

— А кто будет санитаром? — вдруг раздался женский голос.

Это была Анна, единственная женщина на собрании. Она куталась в темное одеяло, из-под которого виднелись только ее голова и блестящие глаза.

— Санитарами будем по очереди, — ответил «главный врач». — Хочешь быть санитаркой?

— Хочу, — тихо призналась Анна.

— Ну и будь, — великодушно позволил Карим. Сейчас он чувствовал особо приподнятое настроение: он, безвестный психически больной человек, стал главным врачом!

Разошлись с шумом и гамом. Спать никому не хотелось, да и негде было. Лежачих втиснули в переполненные казармы, вызвав поток проклятий и ругани со стороны прижившихся здесь беженцев, хотя они и сами были на птичьих правах. Впрочем, если взять орла и сравнить его с какой другой пичугой, то у первого птичьих прав гораздо больше...

Глубокой ночью Юрка-сирота вернулся к пепелищу. Целый день он как неприкаянный ходил по городу, надеясь увидеть Машу. Первым делом

он проник в полк, бродил среди палаток беженцев, громко звал ее по имени. Но никто не видел худенькой девушки в мини-юбке. Потом Юра пошел по центральной улице, вышел к штабу Национального фронта, спросил о Маше у разбитных парней с автоматами, которые стояли у входа. «Не видели, брат», — ответили ему.

В лечебнице, освещая путь спичками, он пробрался в палату, где лежало скрюченное тело. Когда он осветил страшный угол, то с ужасом и изумлением обнаружил, что труп исчез. Юрка пробежал по палате, заглядывая под все койки, — черного тела не было. «Но ведь я своими глазами видел! Ведь не померещилось же мне...» Юрка вбежал в соседнюю палату, обыскал и там все углы, но тщетно. Он сел на железную раму кровати и тихо расплакался. «Значит, уже похоронили...» Теперь он понял, что жизнь его закончилась.

С этими горькими раздумьями Юрка спустился вниз, уже не вздрагивая от скрежета стекол под ногами: все было безразлично. Он не стал ложиться в каморке, открыл подсобку (ключи носил с собой), чиркнул спичкой о коробок и увидел то, что и хотел увидеть: семь новеньких полированных гробов с завитушками, рюшечками и прочими «примочками». Он с трудом стащил верхний гроб — не лезть же под потолок! — снял крышку с крестом, положил в сторону. Внутри было что-то вроде перинки. «Мягко будет», — грустно подумал Юрка, поколебавшись, снял кроссовки, потом носки, сразу ощутив влекущую прохладу земли. Он ступил в уготованную деревянную нишу, мрачно усмехнулся, представив себя со стороны, опустился на колени, потом осторожно вытянулся, сразу почувствовав жесткость деревянных боков. И тут же стал подпирать, давить в бок нож, который он носил в последнее время. Юрка вытащил его из-под себя — почти живое существо, даже в чехле осязаемо ощущалось отточенное лезвие... «Хуже некуда», — подумал он, сжимая нож и сожалея лишь о том, что не сгорел вместе с Машей...

В своих шестьдесят лет Кара-Огай чувствовал себя как никогда сильным и уверенным. А к нитью русской любовницы относился примерно как к назойливому писку комара. Его возраст имел прекрасные преимущества: он знал, как обращаться со слабым полом. Люське этого не понять. Ей хочется развезжать по городу в белой красавице машине. Чего ездить, куда? На посмешище всему народу: вон, скажут, любовница старого дурака Огая покатилась... В столице ей делать нечего. Подруг пусть сюда приглашает. Пусти ее в Россию к маме, дочку хочет увидеть. Уедет, а там... Мало ли что может случиться! Скажет ей старая дура: сиди, не езжай никуда, мы тебе тут мужика найдем, зачем тебе азиат? Ведь так и скажет, старуха чертова... Надо денег ей переслать, пусть лопнет от радости!.. Эти женщины, как куры: один глаз в одну сторону смотрит, второй — в другую, а общую картину ни черта перед собой не видят...

Кара-Огай ехал не просто на встречу, а на праздник, который он приказал устроить по поводу полного освобождения города от фундаменталистов. Сегодня вечером в пригородном колхозе, которому уже присвоили его, Кара-Огая, имя, соберутся все командиры и самые лучшие боевики. Дома он оставил младшего брата Казика, хотя тот очень просил взять его с собой. «Пусть присматривает за цветочком. Еще надо заслужить свое место среди героев».

А перед воротами поставил зека Сирегу. Надежный парень, свой, уже успел отличиться. Ему и трофей в награду распределили — почти новые «Жигули», шестерку. Лидер решил приблизить его. К людям, имевшим тюремное прошлое, у него было неровное отношение.

Они проехали к зданию клуба, на котором еще сохранились коммунистические лозунги, обьехали памятник Ленину, остановились у входа. Человек десять вышли встречать его.

Потом все было именно так, как и представлял себе Лидер: долгие речи, аплодисменты, тосты, восславления его, Кара-Огая, полководческого, поли-

тического таланта, щедрого сердца, открытой души, зоркого глаза и твердой руки.

Вдруг у него защемило сердце, он вышел на улицу. Со стороны города донесся едва различимый отзвук взрыва, будто дальняя гроза за горизонтом. Но никакой грозы, конечно, быть не могло. «Пацаны, что ли, хулиганят с гранатами? — подумал Кара-Огай. — Слишком много оружия бродит по рукам. Раздать легко, отобрать трудно...»

«Поеду домой», — неожиданно решил Кара-Огай.

При подъезде к городу он увидел зарево, отблески которого окрашивали редкие тучки на небе. Кара-Огай поразила эта картина, хотя в последнее время немало повидал страшных пожарищ. «Беда», — понял он, буквально нутром ощутив холодный ужас.

— Гони! — крикнул он водителю, и тот молча, ничего не спрашивая, выжал педаль до отказа.

В той стороне был его дом.

Не дожидаясь, пока машина остановится, он выскочил, безотчетным движением вытащил из кобуры пистолет. Ворота были распахнуты, в ярчайшем свете огня метались человеческие тени... Не помня себя, Кара-Огай бросился к дому — огненному монстру, в который превратилось его жилище. Он не ощутил жара, почувствовал, как затрещали волосы на бороде. Кто-то оттащил его.

— Где Люся? Люся! Где она, кто знает, скажите!

Он хватал за грудки людей, которые суетились с ведрами. Но никто не отвечал. Кара-Огай тряс пистолетом, ходил вокруг дома и кричал, стонал, как умирающий, никому не нужный вожак стаи...

— Где пожарные машины? — кричал он осевшим, чужим голосом, забыв, что их давно сожгли на городской демонстрации, когда на колонну его сторонников пустили мощные струи из водометов.

Сколько они тушили — никто уже не скажет. Время останавливается, когда начинают ход стрелки человеческого горя. Дымный воздух стал рассеиваться вместе с забрезжившим рассветом. На том месте, где у них была зимняя кухня, почерневший Огай и нашел свою страшную находку. Обугленное тельце, на остатках пальцев едва различимы три кольца с тремя разными камнями — алмазом, изумрудом и рубином, которые он подарил Люсе.

— Уходите, уходите все, — не поворачиваясь, глухо сказал он людям, стоявшим за его спиной.

Они безмолвно подчинились. И тут он некстати подумал, что если б не выехал на «мерседесе» — и он бы сгорел. Кара-Огай еще раз пристально посмотрел на то, что осталось от Люси, вздохнул, обошел вокруг дома. «За что такие испытания?» — горько подумал он, в одночасье вспомнив и голодное детство, и лагеря, и жестокие драки, и тупую, бессмысленную работу в чайхане... Он вышел на улицу и увидел двоих.

— Брат, прости, я не виноват!

Кара-Огай потемнел лицом.

— Пошел прочь, негодяй! Ты мне не брат! Как ты допустил, что эти скоты подложили в мой дом бомбу? Почему ты не умер?

— Я уходил... — Казик опустил голову. — Но не надолго! Вот он оставался. Ты у него спроси!

Сирега бухнулся в ноги Кара-Огаю.

— Не виноват я, Кара-Огай! Клянусь матерью! Здесь стоял! А потом как рванет! Я ворота открыл, а там что-то страшное! Не подойти... Я кричать стал, людей звать, боевики из штаба приехали, тушить стали... А потом вы приехали...

— Ты врешь, шакал! — Кара-Огай с силой пнул Сирегу ногой, тот упал в грязь. — Ты бросил ее! Ты сам взорвал дом вместе с фундаментами.

— Я клянусь! — Сирега вскочил.

— На том свете поклянись. — Кара-Огай вытащил пистолет, взвел курок, но в последнее мгновение одумался: «Ведь скажут, за любовницу

убил». — Потом с тобой разберемся. Судить будем. — Он повернулся к Казику: — Отведи его в штаб. Пусть закроют в подвале.

Казик охотно подчинился, подобрал автомат Сиреги, бодро рывкнул: — Давай, пошел!

А в это время Люська, живее всех живых, валялась на диване у лучшей своей подруги Зойки и слушала радиоприемник. Телевизор у хозяйки давно сломался, чинить было негде, но для воскресшей мадам Шрамм дежурные мелодии эфира звучали лучшим гимном свободы, торжества и восторга. Она упивалась сладким чувством победы над мужчинами — ее утомителями и поработителями. О, жалкий Иосиф со своей теорией извечной сексуальной неудовлетворенности масс, несчастный «копошилка», ни на что не способный. Липкий пачкун! Она расхохоталась, вспомнив, как застала своего супруга с так называемой любовницей! Боже, как он перепугался! А ведь на что-то еще надеялся! Люся вскочила, стала ходить по комнате. На ней осталось то же платье, в котором она выбежала из дома. «Наверное, бабушка переживает, — подумала она. — Старикашка, который возомнил себя Зевсом... А я, хитрая Даная, сбежала...»

Вернулась Зойка, принесла пакет с фруктами, купленными на базаре, шампанского не достала, вино кончилось, осталась одна водка. Она не поспешила, взяла сразу три бутылки. Люся скривилась, но делать было нечего: не посылать же ее снова и Бог знает куда.

— Ну, рассказывай! — нетерпеливо произнесла хозяйка. Глазки ее горели от нетерпения. — Весь город о тебе говорит...

— Без тебя знаю! — хвастливо бросила Люся, хотя почувствовала, как начали дрожать поджилки. — Давай мы с тобой, подружка, сначала выпьем! Ты лучшая подруга — все без утайки скажу... Жизнь — сказка! Почти каждый день золото, кулончики приносит, чулочки, парфюмерию французскую — я в жизни такую не видела... Но — сиди во дворе. И ни шагу. Иоська ангелом показался после этого сатрапа. Однако не возвращаться же... Решила я сбежать от такой веселой жизни. Но как? Этот баран Казик целый день меня пасет, как овцу блудную. Один раз за ворота выскочила — дальше угла не дошла... И тут вот случилось — праздник у них. Чего-то освободили, кого-то победили... Собирается он, целует на прощание, осторожно да осматривательней будь, говорит, а то пожары в городе, в больнице психической много народу сгорело... В общем, оставил мне в охрану того же Казика гадкого и еще одного парня — он за воротами стоял, тоже охранял. Только Огай уехал, приходит этот тип. «Слушай, сестра, я чуть-чуть уеду, ладно? А ты одна посиди!» Братик нашелся... Как будто без него усохну... Катись куда хочешь, говорю. А он, скот, ставит передо мной детский горшочек и говорит: «Вот, возьми, если захочешь а-а». И, представляешь, закрывает дверь на ключ. А у меня свой ключ был. О нем никто не знал... Уехал он, и тут я решила: надо убежать, сейчас или никогда. И красного петуха им пустить, чтоб в суматохе про меня забыли. Выхожу как есть, парень этот меня заметил. Спрашивает: «Далеко ли собрались? Я за вас головой отвечаю...» Ну и всякое такое. А я ему, как последняя скромница, говорю: скучно мне, одиноко. Приглашаю в дом чаю попить. Он ни в какую: нехорошо да неудобно. Потом все же согласился: «Ладно, Казик через два часа обещал приехать, а хозяин еще позже...» Беру его за руку, как школьника, он даже упреп от неожиданности, и веду не в комнаты, а в маленький чуланчик, там старые овчины хранились. Толкаю вперед, закрываю дверь, он ни черта не понимает. А я — к нему на грудь. Ну, тут он сообразил, что к чему, стянул с меня все, что на мне было... И сама понимаешь. Ух, и жеребец! Из тюрьмы его освободили — голодный, можешь себе представить...

— Ну ты даешь, Люська! — показала головой Зоя.

— А дальше я уже знала, что делать. Серезка этот, дружок, так ошалел от меня, ну, думаю, теперь крутить надо, пока горячий. Обнимаю, целую его, говорю: ты единственный, кто может меня из тюрьмы выволить.

Украли, похитили меня и всякое такое, старик жестоко избивает, слезу пустила... Он перепугался: «Как я могу помочь?» А я уже поняла, как черт надоумил... Побежала в дом, схватила мешок и фонарь. Садись, говорю, в свою машину и езжай в психушку, там куча трупов обгоревших, пожар был, сам знаешь. Найди какой, чтоб на меня похожий был, — и вот мешок тебе. А он мне: «Как, на тебя похожий?!» Обалдел, мозги в кювет съехали... Еле объяснила. Взял фонарь, мешок... «А если они вернуться?» Скажу, говорю ему, что за шампанским послала — победу праздновать. Поехал... Хожу по кругу, как тигрица. Уже все приготовила: спички, деньги вытащила из тайника, доллары. Не заработала, что ли, за все время? Наконец подъезжает. «Привез?» — спрашиваю. В багажнике, говорит, твое жаркое. А самого чуть не выворачивает. Бери, говорю ему, и неси за мной. В зимней кухоньке вытащил из мешка, я свет включила, посмотрела... Уже не страшно было. Нормально, говорю. Дала ему кастрюлю, чтоб бензин слил. Побежал, как заведенный. Если б кто тогда приехал, значит, не судьба была мне... Вылила на пол бензин, сама подняла эту гадость и прислонила к стенке... Баллоны у него там стояли с газом. Один полный был... Включила на полную мощность, бросила спичку на пол, бензин вспыхнул, дверь закрыла на ключ — и бежать. Гори синим пламенем, гнусная жизнь! Чмокнула Сережку в щеку, сказала, что скоро дам знать о себе... Побежала, ноги как не свои, а впереди — фары. Еле успела в канаву прыгнуть: Казик возвращался. А тут как рванет — и у меня внутри как будто что-то отрезало. Не у меня, а сама я как бы оторвалась от прежней жизни. Все — и идти некуда.

— А если узнают?

— Не узнают! Я ведь и колечки успела одеть на ту несчастную...

— Ух, хитрая же ты! — Зойка качнулась, неверным движением схватила бутылку, плеснула сначала себе, потом подруге. — А ты меня не убьешь?

— Сдурела, что ли? — Люся дернула уголками рта. — С чего бы?

— За квартиру. Или чтоб не разболтала...

Вместо ответа Люся обняла захмелевшую подругу, поцеловала ее.

— Давай еще, Люська, за свободу выпьем. Или за поминки. Чего-то только я одна все пью и пью...

«Пусть напьется и заснет», — подумала Люся и сделала вид, что выпила.

Когда подруга задремала, она взяла оставшиеся две бутылки, отнесла их на кухню, хотела вылить, но передумала и спрятала в шкафу за грудой пустых стеклянных банок. «Пригодится еще...» Потом проверила, надежно ли закрыта входная дверь, снова вернулась на кухню, выбрала нож покрепче и, заметив под плитой топор, взяла и его...

(Окончание следует.)



Пять стихотворений

Сирень

После ночи, незримые гвозди
Заколачивавшей в жестяной
Подоконник, махровые грозди
Тяжелы у сирени дневной.
Ах, как великолепно намокла
Эта зелень: темна и густа, —
Словно солнцезащитные стекла
Зренью выданы властью куста.

В сизо-голубоватых соцветьях
Легкой ржавчины завязь внизу
Прижилась уже... Дай рассмотреть их,
Не на вечном корню — на весу
Увядающих, дух свой мешая
С испареньями влажной земли,
Чтобы принял их тленье, дыша, я —
О, пока они не отцвели!

И, ментоловый, в мятной облатке,
Под язык празднословный клади
Воздух успокоительно-сладкий —
Для смирения крови в груди.
Никому ты не нужен на свете,
И тебе ничего не должны...
И, хотя бы в мгновения эти,
На тебе — ни греха, ни вины.

Просто смотришь и слушаешь, в ритме
Разобраться пытаюсь... Но кто
Мне диктует слова, говорит мне:
«Существуют лишь Я и Ничто»?!
Пограничная жизнь человечья,
Получи сложноцветный урок
Равнодушия и бессердечья,
Сыромятной листвы холодок.

* * *

Наполнившись ветром, рубаха —
как парус, напрягшийся весь, —
Блаженства, запрета и легкого страха
Дарит безотчетную смесь!

Как воздухом лепится тело,
 И — выбившись — прядка листвы
 По лбу моему проведет неумело,
 И я не склоню головы.
 О, как, ощущеньям доверяясь,
 Решить, распознать в этот миг —
 Кто именно ныне — Эол или Эрос
 Ко мне полюбовно приник?

Я лето поймал, за подкладку
 Упрятал, в карманы набил,
 Покуда дожди разбивали палатку
 И воду пускали в распил
 Отвесный — о лезвия жести,
 Чтоб стружку стеклянную снять —
 На корм воробьям: о каком еще месте
 На свете мечтать?! — благодать!
 Вот, вот оно — счастье! о, мне бы
 Освоить еще материк,
 Открытый пернатými заново — Небо,
 Припомнив туземный язык.

На развалинах Пантеона

На варваров можно списать разрушенья,
 Что в общем-то верно... Безглазые лица...
 Захваты чужих территорий, сраженья
 За место под Зевсом... И все еще длится
 Кровавый раздел в коммунальной Пангее,
 Хотя номерок инвентарный — на каждом
 Из бывших богов... Вот и стынут, нагие,
 В аллеях, музеях... Ну что же, мы страждем
 Не меньше, и нам уготована участь
 Подобная, даже страшнее: с одним-то,
 Учившим, что жить невозможно, не мучась,—
 Что делать? — из этого нам лабиринта
 Не выбраться: слишком желающих много.
 Модель поведения — вот что менялось
 В зависимости от расстоянья: до Бога —
 От смертного... А милосердие, жалость,
 Жестокость — все те же. Все радости, беды...
 Не вера, доверие — лучшее средство
 Спасенья души, роковое наследство
 Безрукой Любви, безголовой Победы.

* * *

Ничего, что жизнь мою изменить
 Помогло бы к лучшему, мне уже
 Не осталось; и некого мне винить
 В том аду, который в моей душе
 Существует; в мыслях, которых мне
 Не составить в целое, — лишь облечь
 В форму вдоха-выдоха в тишине
 Удастся: и невозможно — в речь.

Вот письмо приходит, вот облака
Из окна видны мне, вот поднялась
На седьмой этаж почти — как легка! —
Паутинка: смотри на нее, пока
Не исчезла, — вот она, с миром связь!

На письмо — ответу. Но что потом
Остается? Следующего ждать,
Прозревая будущее в пустом
И прозрачном воздухе?! Так тетрадь,
Пролистав, захлопываешь, — чиста.
Но сомненье мучает: просмотрел;
Не нашел исписанного листа...
Вот он — главный в судьбе пробел.

Подойду, раскрою, перетрясу,
Лишний воздух — трепетный шум страниц! —
Выпускаю... Тщетно. И на весу
Остается — о, беспредметней птиц! —
Что-то главное, — не подобрать к чему
Ни строки, ни вздоха, — но что дает
Утешенье — меркнувшему уму
И душе надежду: на жизнь вперед.

* * *

Послушай, как в сады нескушные
Прокрался ветер гробовой, —
Он ямы выроет воздушные
И вновь засыплет их листвою.

Долгоиграющим кузнечиком,
Надежно спрятанным в траву,
Казалось лето. Делать нечего.
Еще не срок. Я доживу.

Латынь сухая и аптечная,
Ладонь, прижатая ко лбу...
И где-то музыка беспечная
Готовит страшную судьбу.



Искусство перевода

Облачение теней

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС
ОКТАВИО ПАС
ХУЛИО КОРТАСАР

Кое-что о переводе

Большинство читающих переводную литературу не ведают, насколько кухня перевода смахивает на адскую: лучше не заглядывать туда — продолжать верить в чистое, доброе.

Каждый текст источает множество контекстов, которые простираются за горизонт, так что, будучи переведенным, текст теряет «по дороге» большое число ассоциаций не потому, что переводчик лентяй или обманщик (порой, правда, каждый из нас непростительно ошибается), а потому, что страна вылета сильно отличается от страны прилета. Многие непереводимо, но даже из переведенного многое не усваивается читателем: символика цвета, интенсивность света, влажность иного пространства, былое и думы чужого народа, его три слова в тексте, а два в уме. Повторяю, многое не-переводимо, «не-доходимо». А ведь не-переводимое и есть сущностное. Что делать?

Да переводить! В природе всегда все — чуть по-иному. Даже для читателей родной литературы на родном языке: нынешние о многом не догадываются, зачитываясь Пушкиным или Толстым, в силу отсутствия контекстовой «угадалки». А уж в переводной-то вещи!..

Соответственно умению и в меру познаний чужого края и его культуры переводчик старается пересказать текст так, чтобы вызвать у родного читателя как можно больше ассоциаций или по крайней мере намекнуть, что текст — не один. Конечно, можно помочь предисловием, сносками, комментариями, но и множества томов не хватит, чтобы объяснить все замыслы, смыслы и умыслы оригинала. Перевод — трюк, штукарство, «добрый обман». Переводить не легче, чем самому писать, ведь пишут как бы «прямо из своей головы» (по свидетельству одного из недавних руководителей Союза писателей), а переводят (это мое свидетельство) как бы «прямо из чужой», но одновременно как бы и из своей тоже.

Однажды (лет десять назад) один издательский надсмотрщик за испанистической «настучал» на меня в партийных инстанциях — на это его подвигло мое высказывание в том смысле, что переводное произведение (как патриотически модно было считать и еще сейчас считается) не должно становиться «фактом русской литературы». Я и сейчас так думаю. Это факты не русской литературы, а — немецкой, испанской, армянской. Русский язык, великолепно гостеприимный и пластичный, существует не для того, чтобы с помощью зарубежных произведений множить количество русских произведений. Русский язык способен на нечто большее, нежели производство «клюквы», — на сохранение аромата импортного плода. А под удобным лозунгом «сделаем каждый перевод фактом русской литературы» советские издатели и конформисты от перевода натворили немало чудес: под видом «перевыражения» не только выбрасывали фрагменты текста, связанные с «духовным мракобесием» или «абстрактным гуманизмом» и писали с маленькой буквы слово Бог, но вымарывали куски пейзажа, бытовые подробности, инвективную — ругательную — лексику, что уж говорить «об идейно неверных» пассажирах.

Об авторах этой подборки

Каждый из них — выдающийся латиноамериканский прозаик/поэт/эссеист совокупно. Иное эссе Паса читается как захватывающая повесть, иной рассказ Кортасара — чистое стихотворение, а какое-нибудь стихотворение Борхеса — что твоё эссе. Таков испанский язык Латинской Америки с крепкими и эластичными латинскими корнями, с привоями эмигрантских наречий, вываренный в специях доколумбовых языков американского континента.

Рано потерявший зрение Хорхе Луис Борхес весь — в мире сознания, в пространстве памяти, в океане эрудиции. Постоянно возвращается к одним и тем же темам, тонко варьируя и развивая их. Саркастичный, ранимый, трагичный. Переводя его, главное — не отклониться от музыкального развития мысли.

Проза Хулио Кортасара — полигон форм, приемов, стилистик, реально-фантастических сюжетов (может быть, поэтому он так любим кинорежиссерами). Его прозаические пространства очень зримы, зависят от предметов и их окружения, детали Кортасара — самостоятельные произведения искусства. Изумительный словодел в высоком смысле этого понятия.

Лауреат Нобелевской премии Октавио Пас, начинавший сюрреалистом, часто — в потоке сознания, в автописью. Чтобы попасть в стиль, переводчику приходится этот поток сознания, это автоматическое письмо имитировать (а ведь скрупулезная работа переводчика диаметрально противоположна стремительному полету интуитивного сюрреалиста). Его пьеса «Дочь Раппачини» (сюжет о «ядовитой девушке» — орудии злодея — восходит к драме индийского поэта IX века Вишахадатты) — настоящая поэма в прозе.

Я никогда не встречался с Борхесом (очень завидую в этом смысле замечательному переводчику Владимиру Резниченко), но с Хулио Кортасаром и Октавио Пасом по одному разу встречался и беседовал. Упоминаю об этом потому, что для переводчика увидеть один раз переводимого куда как важно: теперь не отделаться от его манеры говорить, от жестов, речевой просодии, окраски голоса, мимики. Они вспоминаются то и дело, помогают более живо освоить фразу.

Будучи изданным, любое произведение литературы и искусства тут же начинает меняться вместе с меняющимися вкусами, изменениями в жизни и культуре. Что уж говорить о переводах — я постоянно переделываю их. В опубликовании — не только радость рождения, но и печаль умирания...

Будьте снисходительны.

Павел ГРУШКО

Авторы — о переводе

Хроническая проблема литературы и ее прозрачных таинств — это проблема перевода... Что же касается суеверий по поводу переводов... Так ведь нет ни одного хорошего текста, который бы казался абсолютно завершённым и не поддающимся изменению, если мы будем читать его еще и еще раз... Так же и хороший фильм, просмотренный вторично, кажется еще лучше.

Хорхе Луис Борхес

Я достаточно знаком с профессией переводчика и поэтому знаю, что язык ограничивается здесь прежде всего лишь функцией информативной и, теряя свою оригинальность, притупляет свои фонические, ритмические, цветовые, фактурные и структурные свойства — всю совокупность игл, нацеленных на чувства читателя, которыми язык, подобно ежу, колет его и горючит его зрение, слух, голосовые струны и даже вкус своей игрой созвучий и сопряжений — адреналином, попадающим в кровь, чтобы преобразовать систему рефлексов и отзвонков, склонить к тесному участию в жизненном опыте, коим является рассказ или роман.

Хулио Кортасар

Оригинальных текстов вообще нет, — все они по существу — перевод, метафора другого текста. Сам язык — тот же перевод: каждое слово и каждая фраза объясняют (а значит, переводят) то, что хотят выразить или значат другие слова и фразы. Говорить — это последовательно переводить внутри того же языка...

Октавио Пас

Хорхе Луис БОРХЕС

НОЖ

Маргарите Бунге

В ящике письменного стола лежит нож. На исходе минувшего века он был выкован в Толедо, Луис Мелиан Лафинур подарил его моему отцу в Уругвае, откуда тот его и привез. Доводилось его держать самому Эваристо Карриего*.

Кто его ни увидит, непременно поиграет им — сразу видно: давно ищет такой, рука сама норовит сжать покрепче истомившуюся рукоять. Сильный послушный клинок — весь по ножнам.

Но желает он иного.

Это не какая-нибудь поделка из металла, — люди точно знали, зачем измыслили и сотворили его: неким извечным образом он — тот же нож, что умертвил прошлой ночью человека в Такуарембо, он — те же ножи, что закололи Цезаря. Только и желает он, что убивать, проливать грубую кровь.

В ящике письменного стола, среди бумаг и писем, долгими днями снится ножу немудреный сон тигра, и рука, сжав его, возбуждается, потому что возбуждается металл, который при каждом прикосновении к нему надеется, что берет его убийца, для кого только и сделали нож люди.

Порой меня охватывает жалость: такая твердость, такая верность, такая холодная и бесхитростная заносчивость, — а годы проходят, и все понапрасну...

ПРИГОВОРЕННЫЙ

Одна из перекрестных улиц может быть улицей Андрес, либо Сан-Хуан, либо Бермехо — все едино. Застывшим предвечерьем Эсекьель Табарес ждет. Со своего угла он может незаметно следить за распахнутыми воротами подворья в полуквартале от него. Эсекьель спокоен. Изредка, пересекая улицу, он входит в безлюдную лавку, где продавец в который раз нацеживает ему порцию не обжигающего горло джина, за который тот платит несколько медяков. Тут же он возвращается на прежнее место. Он знает, Ченго не заставит долго ждать, — этот Ченга, отнявший у него Матильду. Правой рукой он оглаживает утолщение на рукояти клинка, заткнутого за пояс под накидкой с перевязанными крест-накрест полами. О женщине он и думать забыл — только и думает, что о нем. Ему по душе тихая робость этих одноэтажных кварталов — забранные решетками окна, черепичные кровли и дворы, вымощенные плитами, а то и немощеные. Только это он и видит. Ему бы знать, что Буэнос-Айрес вокруг него разросся, точь-в-точь дерево с шумной листвой. Где уж там — не видит ничего, не дано ему видеть новые дома и большущие неуклюжие омнибусы. Люди проходят сквозь него, а он об этом не знает. Не знает и о том, что неизлечимо болен мстью. Ненависть переполняет его.

Сегодня, тринадцатого июня тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, правая рука мертвого кума-поножовщика Эсекьеля Табареса, приговоренного к этим нескольким минутам тысяча восемьсот девяностого года, оглаживает в это вечное предвечерье рукоять бесполезного клинка.

* Эваристо Карриего (1883—1912) — известный аргентинский поэт и драматург.

СОН ПЕДРО ЭНРИКЕСА УРЕНЬИ

Этот предутренний сон, привидевшийся Педро Энрикесу Уренья* в 1946 году, странным образом состоял не из образов, а из медлительных слов. Голос, произносивший их, принадлежал не ему, но был похож на его собственный. Тон вопреки патетическим возможностям, связанным со смыслом сказанного, был весьма невыразительным, а сон — кратким. Педро Энрикес Уренья понимал, что спит в своей комнате и что рядом с ним жена. В полной темноте сон сказал ему:

«Несколько вечеров назад на одном из углов улицы Кордова ты обсуждал с Борхесом восклицание неизвестного севильского автора: «О Смерть, явись молчаливо, как ты обычно являешься на острие стрелы!» Вы заподозрили, что это вполне умышленный пересказ латинского текста, — подобные заимствования соответствовали нравам той эпохи, весьма далекой от наших представлений о плагиате, нравам скорее стяжательского, нежели литературного характера. Но вы не подозревали и не могли подозревать, что диалог ваш был пророческим. Через несколько часов ты будешь мчаться по дальнему перрону вокзала Конститусьон, опаздывая на твою лекцию в Университете Ла-Плата. Ты успеешь вскочить в вагон, бросишь папку в сетку и устроишься поудобней у окна. Некто, чье имя мне неизвестно, но чье лицо я вижу, обратится к тебе. Ты не ответишь, потому что будешь мертв. С женой и детьми ты по обыкновению уже простился. А этот сон ты не вспомнишь: забыть его необходимо тебе для того, чтобы все это могло свершиться».

ЭНГИСТУ НУЖНЫ ЛЮДИ

(449 г. н. э.)

Энгисту нужны люди.

Они придут из песчаных далей, которые теряются в беспредельных морях, из продыmlенных хижин, из нищих земель, из дремучих волчьих лесов, где в непроходимых дебрях обретается Зло.

Оратаи оставят плуги, а рыбаки — сети. Они покинут своих жен и детей, ибо мужчине ведомо: в любом из закоулков ночи он найдет одних и зачнет других.

Наемнику Энгисту нужны люди. Они нужны ему, чтобы завоевать остров, который покуда не прозывается Англией.

За ним пойдут покорные и жестокие. Они знают: в сражении мужчин он — первый. Знают: однажды он забыл о мести, ему дали обнаженный меч, и меч сделал свое дело.

На одних веслах, без компаса и парусов, они пересекут моря.

С ними будут их мечи и небольшие деревянные щиты, шлемы, напоминающие кабаньи головы, заклинания от недорода, смутные космогонии, сказания гуннов и готов.

Они завоюют земли, но никогда не войдут в покинутые Римом города, которые для их варварского разума чересчур сложны.

Они нужны Энгисту, чтобы побеждать, грабить, ублажать плоть и кануть в забвение.

Они нужны Энгисту (чего он не знает), чтобы содеялась огромная империя, чтобы запели Шекспир и Уитмен, чтобы корабли Нельсона завоевывали моря, чтобы, взявшись за руки, удалялись в безмолвии из потерянного рая Адам и Ева**.

Они нужны Энгисту (чего он никогда не узнает) для того, чтобы я вывел эти вот строки.

* Педро Энрикес Уренья (1884—1946) — известный доминиканский критик.

** Намек на поэму Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай».

АНДРЕС АРМОА*

С годами он усвоил несколько слов на гуарани, которые он использует, когда того требуют обстоятельства, но которые не смог бы сразу перевести.

Солдаты его признают, но некоторые (не все) немного чураются его, словно он еретик или язычник, а может, мается каким-то недугом.

Не столько эта отверженность его донимает, сколько любопытство новобранцев.

Он не пьяница, разве что по субботам иногда напивается.

Любит посасывать чай-мате, которым как-то скрашивает одиночество.

Женщины его не любят, а он их и не домогается.

В Долорес у него сын. Вот уж сколько лет он ничего о нем не знает, как это водится у простых людей, не умеющих писать письма.

Собеседник он никакой, но иногда рассказывает одними и теми же словами о знаменитом многоверстном переходе от Хунина к Сан-Карлосу. Может, потому он рассказывает одними и теми же словами, что зазубрил их, а сами события запомнил.

У него нет своей койки. Спит на сбруе и не ведает, что такое дурные сны.

Совесть его чиста. Он лишь исполнял приказы.

У начальства в доверии.

Он резник.

Он потерял счет утренним зорям в пустыне.

Потерял счет глоткам, но никогда не забудет первую. И гримасу на лице индейца-пампы.

Никогда ему не выйдет повышение. Он не должен привлекать к себе внимания.

В своей провинции он был объездчиком лошадей. Теперь уж ему не обратять необъезженного жеребца, но лошади ему нравятся, и он их понимает.

Дружит с одним индейцем.

ПРИГОВОР КНИГИ

Среди других книг в библиотеке была книга на арабском языке, купленная за несколько монет на толедской толкучке солдатом. Позже она погибла в огне, ныне ориенталистам известна лишь ее испанский перевод. А была она волшебной, ибо пророчески свидетельствовала будущие дела и слова некоего человека от его пятидесятилетия до дня кончины, долженствовавшей приключиться в 1614 году.

Никто не возобладает теперь этой книгой, погибшей во время большого пожара, учиненного одним священником и одним брადобреем, близким другом солдата, о чем можно прочесть в седьмой главе переводной копии.

Вышеупомянутый солдат не мог прочесть книгу, но до мельчайших подробностей не только исполнил предсказание, измышленное арабом, но будет исполнять его вечно, поелику судьба его запечатлелась в долгой памяти народов.

И разве эта фантазия выглядит более странной, чем предопределение Исламом Бога или чем своеволие, с каким мы домогаемся ужасающего права — остановить свой выбор на преисподней?

* Читателю надо бы вообразить, что история эта имеет место в провинции Буэнос-Айрес в семидесятые годы прошлого века. (Прим. Х. Л. Борхеса.)

ТЫ

Лишь один-единственный человек родился, лишь один человек умер на земле.

Утверждать обратное — пустая статистика, невозможное действие арифметического сложения.

Столь же невозможное, как сложение запаха дождя и твоего позавчерашнего сна.

А человек этот — Улисс, Авель, Каин, первый человек, упорядочивший звезды, человек, воздвигнувший первую пирамиду, человек, который написал гексаграммы Книги Изменений, кузнец, вчekanивший руны в меч Энггиста, лучник Эйнар Тамберскельвер, Луис де Леон, книгопродавец, который породил Сэмюэля Джонсона, садовник Вольтера, Дарвин на носу «Бигля», безвестный еврей в камере смерти, а со временем — ты и я.

Лишь один-единственный человек погиб в Илионе, в Метауро, при Гастингсе, Аустерлице, Графальгаре и Геттисберге.

Один-единственный человек умер в больницах, на кораблях, в неолимом одиночестве, в келье, в алькове любви.

Один-единственный человек смотрит на разлив восхода. Один человек ощутил на небе свежесть воды, вкус плодов и мяса.

Я говорю о единственном, об одном, о том, кто всегда одинок.

ИСТОРИЯ ТАНГО

Столь дотошные исследователи, как Висенте Росси, Карлос Вега и Карлос Муссио Саенс Пенья, каждый по-своему описали возникновение танго. Не раздумывая, я подпишусь не только под всеми их выводами, но и под некоторыми другими. Время от времени история танго продвигается и кинематографом, — по его сентиментальной версии, этот танец родился в предместных дворах (в основном в районе устья реки Риачуэло — Бока де Риачуэло, что объясняется киногеничностью этих мест). Тутешняя знать поначалу отвергала танго, но в 1910 году, переубежденная добрым парижским примером, все-таки распахнула двери перед этим неотразимым завсегдаем приречных окраин. Этот *Bildungsroman**, своеобразная «повесть о бедном юноше», стал чуть ли не бесспорной истиной, аксиомой, однако мои воспоминания (а мне исполнилось пятьдесят) и проведенные мною опросы не подтверждают этого столь безоговорочно.

К примеру, я беседовал с Хосе Саборидо (автором таких танго, как «Фелисия» и «Ла Мороча»), с Эрнесто Понсио (автором «Дона Хуана»), с братьями знаменитого Висенте Греко (создателя «Ла Вирутты» и «Ла Таблады»), с Николасом Паредесом, гаучо из Палермо, и с некоторыми певцами-пайадорами из его окружения. Я дал им выговориться, старательно воздерживаясь от наводящих вопросов, которые подвигли бы их к желаемым ответам. О происхождении танго, его топографии и даже его географии они поведали поразительно несхожие вещи: так, Саборидо (он был уругвайцем) предпочел породить его в Монтевидео, Понсио (он был из квартала Ретиро) выбрал Буэнос-Айрес и как раз свой квартал, жители южной части Буэнос-Айреса упоминали улицу Чили, а северной части: одни — бардачную улицу Темпле, другие — улицу Хунин.

Упомянутые разногласия можно обогатить, побеседовав также с уроженцами городов Ла-Плата или Росарио, однако мои информаторы единодушно сходились в одном: корни танго в борделе. (Не оспаривалось абсолютно никем и время рождения — не ранее восьмидесятого и не позднее девяностого года.) Изначальные инструменты оркестра — пианино, флейта, скрипка, а позднее бандонеон, с их немалой стоимостью, — подтверждают:

* Роман в картинках (нем.).

танго возникло не в береговых районах, там ведь издавна довольствовались шестью струнами гитары. Есть и другие доводы: похотливость танцевальных фигур, двусмысленность некоторых названий («Эль Чокло», «Эль Фьеррасо») и картины, которые мальчиком мне довелось видеть в нашем Палермо, а годами позже на Чакарите и Боэдо, — как в угловых забегаловках танго танцевали мужские пары, поскольку горожанки по тем временам на столь развратных танцульках показываться не желали. Эваристо Карриего запечатлел это в своих «Еретических мессах»:

В проулке люди не расходятся до ночи,
давая двум пижонам смачные советы,
те ловко пижут в ритме танго «Ла Морочи»
ногами дерзкими лихие пируэты.

Еще одна страница из Карриего с избытком удручающих деталей живописует бедняцкую свадьбу, — брат жениха в тюрьме, сам он утихомиривает угрозами двух задир, все пропитано недоверием, злобой и пошлостью, при этом

невестин дядя, порешивший, что обязан
следить за тем, чтобы пристойно танцевали,
оповещает грозно, что никоим разом
он пируэтов не допустит в этом зале...

Невеста — скромная, кто будет с прижиманьем
с ней танцевать — забудет быстро свои шутки...
Дом небогат у нас, мы отрицать не станем,
все что угодно, но уж это — дудки.

Недалекий грубый персонаж, подсмотренный нами в этих двух строфах, хорошо показывает первую реакцию народа по отношению к танго, которое на 117-й странице своего «Пайадора» Леопольдо Лугонес с презрительным лаконизмом нарек «пресмыкающимся борделем». Немало времени понадобилось северному кварталу — Баррио Норте, чтобы привить танго (приведенное до этого в пристойный вид в Париже) в своих кварталах, но я не уверен, что это удалось в полной мере. Поначалу это была оргазмовая дерзость, сегодня — манера ходьбы.

Танго-задира

Сексуальность танго подмечена многими, меньше видна его задиристость. А ведь обе эти черты — вид или проявление одного и того же побуждения, недаром слово «мужчина, муж» на всех известных мне языках связано как с его сексуальной, так и с воинственной сущностью, само слово *virtus*, обозначающее на латыни «мужество», происходит от *vir* — мужчина. Вот и заявляет афганец на одной из страниц «Кима»*: «В пятнадцать лет я убил человека и породил человека» (*When I was fifteen, I had shot my man and begot my man*), словно оба акта изначально едины.

Сказать о танго, что оно задиристо, — мало, по мне танго и милонги своей музыкой и пластикой выражают то, что поэты всегда хотели выразить словами, убежденные, что схватка — праздник. В знаменитой «Истории готов», которую составил в VI веке Иордан, мы читаем, как перед разгромом Шалона, обратившись к воинам, Аттила сказал, что судьба припасла для них радость битвы (*certaminis hujus gaudia*). В «Илиаде» упоминаются ахейцы, для коих воевать было приятнее, нежели возвращаться на пустых кораблях в их возлюбленное отечество, а быстроногий Парис, сын Приама, несся в битву; аки жеребец, что скачет с развевающейся гривой в поиске кобылиц. В

* Роман Джозефа Редьярда Киплинга (1865—1936).

саксонском эпосе «Беовульф», стоящем у истоков германских литератур, рапсод называет битву «sweorða gelac» (игра мечей). «Праздником викингов» окрестили ее в XI столетии скандинавские поэты. В начале XVII века Кеведо в шуточном стихотворении нарек дуэль «танцем шпага», что весьма похоже на «игру мечей» англо-саксонского анонима. Блистательный Гюго в описании битвы при Ватерлоо показал, как солдаты, понимая, что сложат головы на этом празднике (*comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fete*), приветствовали свое божество, стоя во весь рост под пулями.

Подобные примеры неоднократно встречались мне при чтении книг. Вероятно, и в «Chanson de Roland»*, и в объемной поэме Ариосто** есть немало таких мест. Но вышеупомянутые извлечения, — скажем, связанные с именами Кеведо и Аттилы, — более достоверны, хотя и страдают первородным грехом литературности, все это слова, символы. «Танец шпага», к примеру, заставляет нас соединить два несоединимых понятия — танец и схватку, при этом первый пронизывает радостью вторую, однако эта метафора не трогает наших сердец, не рождает саму радость. Шопенгауер («Welt als Wille und Vorstellung», 1, 52) писал, что музыка столь же непосредственна, как мир, — без реального мира и всеобщего потока воспоминаний, выраженных через речь, не было бы литературы, а вот музыка обходится и без мира — она могла бы существовать и при несуществующем мире. Музыка — это воля, страсть: танго при своем зарождении, подобно музыке, прямо передает эту воинственную радость, словесное выражение которой находили в далекие времена греческие и германские рапсоды. Некоторые современные композиторы ищут эту отвагу и подражают, порой небезуспешно, милонгам нижней части квартала Ла Батерия или квартала Эль Альто, но их работы с искусно «постаренными» словами и музыкой — лишь ностальгические упражнения на темы того, что некогда существовало, скорбь по утратам, каким бы разудальным ни был аккомпанемент. Их милонги соотносятся с буйными и наивными милонгами, описанными в книге Росси, так же как «Дон Сегунда Сомбра» с «Мартином Фьерро» или с «Паулино Лусеро»***.

В одном из диалогов Оскара Уайльда мы читаем, что музыка открывает нам наше личное прошлое, о котором мы до этого не догадывались, заставляет оплакивать неудачи, которых у нас не было, ошибки, которые мы не совершали, — о себе скажу, что я и впрямь не могу слушать «Марну» или «Дон Хуана» без того, чтобы не вспомнить с абсолютной точностью апокрифическое прошлое, одновременно стойческое и оргийное, в котором я вызывал на дуэль и дрался, безмолвно падая на землю в темной схватке на ножах. Возможно, это и есть удел танго: наделять аргентинцев верой в их храбрость, мужество и честь.

Частичная тайна

Признав за танго способность вдохновлять, остается развеять одну небольшую тайну. Независимость Америки — в наибольшей степени завоевание аргентинское, аргентинцы сражались в отдаленных углах континента — в Майпу, Аячучо, при Хунине. После этого были баталии гражданские, война в Бразилии, кровопролитная тяжба Росаса и Уркисы, Парагвайская война, пограничные стычки с индейцами... Наше военное прошлое обширно, однако прежде всего аргентинцы в желании считать себя храбрцами связывают себя не с этим прошлым (какое бы значение ни придавалось в школах изучению истории), а с такими многозначными нарицательными персонажами, как Гаучо и Кум. Полагаю, что разгадка этого безотчетного парадоксального влечения не столь сложна. Аргентинец находит свое подо-

* «Песнь о Роланде» (фр.).

** Лодовико Ариосто (1474—1553) — итальянский поэт, автор рыцарского романа «Неистовый Роланд».

*** Дон Сегунда Сомбра, Мартин Фьерро, Паулино Лусеро — герои одноименных произведений из жизни гаучо.

бие в гаучо, а не в военном потому, что мужество, закрепленное устной традицией за первым, не преследует никакой цели и совершенно бесхитроно. Гаучо и Кум-поножовщик понимаются как бунтари, — аргентинец, и этим он отличается от североамериканцев и почти всех европейцев, не хочет иметь ничего общего с Государством. В первую очередь потому, что Государство для него непостижимая абстракция*: аргентинец — индивид, а не гражданин. Афоризмы, в духе гегелевского, о том, что-де «государство — это реальность моральной идеи», покажутся ему злой шуткой. Производимые Голливудом фильмы время от времени приглашают удивиться персонажем (обычно это журналист), который входит в доверие к преступнику, чтобы тут же сдать его полиции, — аргентинец, для которого дружба является страстью, а полиция — чуть ли не мафией, считает подобного «героя» непостижимой канальей. Вместе с Дон Кихотом (часть I, гл. XXII романа) он убежден, что «каждый сам даст ответ за свои грехи» и что «людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых им, кстати сказать, и нужды нет». Не один раз, сталкиваясь с обманчивыми параллелями по поводу нашего сходства с Испанией, я полагал, что мы бесконечно далеки от Испании, но этих двух строчек из «Дон Кихота» мне было достаточно, чтобы увидеть свою ошибку, — это ли не убедительный скрытый символ некоего нашего родства? Особенно ярко подобную черту отображает одна из ночей аргентинской литературы — та отчаянная ночь, когда сержант сельской полиции крикнул, что не пойдет на преступление, не даст убить храбреца, и начал сражаться против своих солдат на стороне дезертира — Мартина Фьерро.

Тексты

Различные по качеству в силу естественной принадлежности к сотням и тысячам неравноценных перьев тексты танго, порожденные вдохновением, если не индустрией, составили за полвека почти неодолимый *corpus poeticum*, который историками аргентинской литературы рано или поздно будет прочтен или по крайней мере систематизирован. Народное начало, архаизированное временем и уже непонятное самому народу, пробуждает ностальгическое почитание разве что у эрудитов, рождая споры и комментарии. Вполне возможно, что в девяностых годах нашего столетия возникнет подозрение или уверенность в том, что настоящая поэзия нашего времени не в «Урне» Банчса и не в «Свете провинции» Матронарди, а в несовершенных текстах, обогативших сборник танго «Поющая душа». Такое предположение печалит. Непростительное мое небрежение не подвигло меня на приобретение и изучение этого хаотического репертуара, однако я хорошо знаю, насколько он разнообразен и как неостановимо расширяется его тематика. Поначалу танго вовсе обходилось без текстов или тексты были непристойными либо случайными. Некоторые смахивали на деревенские («Я подруга верная гаучо лихого»), — композиторы искали что понароднее, а плохая жизнь и городские трущобы не считались тогда материалом для поэзии. В других жанрах, как, например, в близких к танго милонгах, тексты были веселыми и полными бравады:

Я из квартала Ретиро,
какой ни найдется задира,
мне на него наплевать,
танцорам целого мира
меня не перетанцевать.

Или, к примеру:

* Государство — безлично, а аргентинец признает только личные отношения. Поэтому для него похитить общественные деньги — не преступление. Я лишь подтверждаю факт, никак его не оправдывая и не порицая. (Прим. Х.Л.Б.)

Мне в танго равного нет,
на Севере все подруги
визжат, когда я на Юге
пишу свой двойной пируэт.

Встречается тут и жанр бытописания сродни французским натуралистическим романам или гравюрам Хогарта, со всеми превратностями местной жизни упомянутого *harlot's progress**:

Потом ты грела бока
аптекарю-старикашке
и попала на нож сынка
начальника каталажки.

Следует помянуть и достойный сожаления переход задиристых и бедных кварталов в стан благопристойности:

Мост Альсина, скажи по чести,
где жалкое наше предместье?

Или:

Где парни те и девчонки, красные ленты в космах,
широкополые шляпы в Рекене тех славных лет?
Где поселок мой Креспо в незабвенных тех веснах?
Остался еврейский квартал, Триумвирата — нет...

Издавна зуд тайной либо сентиментальной любви задавал работу перьям:

Ты вспоминаешь тот подарок мой,
который преподнес тебе я позже:
ту шляпку, ремешок из тонкой кожи,
которые я стибрил у другой?

Танго порицаний, танго ненависти, танго насмешек и ярости, не поддающееся расшифровке и запоминанию. Все городские перипетии вошли в танго — жизненные тяготы в трущобах не были единственными темами. В прологе к своим сатирам Ювенал, если мне не изменяет память, сказал: все, что движет людьми — желание, страх, ярость, телесные наслаждения, интриги, радость, — сущность его книги. С простительным преувеличением мы могли бы применить его знаменитое *quidquid agunt homines*** ко всей массе текстов танго. Скажем больше: танго составляют бессвязную и необъятную *comédie humaine* буэнос-айресской жизни. В конце XVIII века Вольф заметил, что «Илиада», прежде чем стать эпосом, была рядом напевов и рапсодий; может быть, это позволит предугадать, что тексты танго со временем образуют длинную гражданскую поэму или подскажут какому-нибудь тщеславному поэту создать таковую?

Известно также суждение Эндрю Флетчера: «Дали бы мне написать все баллады какого-либо народа, и мне тогда будет все равно, кто напишет законы»; суть этого высказывания: обычная или традиционная поэзия могут влиять на чувства, диктовать поведение. Рассмотрев с этой точки зрения танго, мы увидим, что оно — зеркало нашей действительности и одновременно — наш наставник, модель, вне всякого сомнения, пагубно на нас влияющая. Ранние мильонги и танго могли быть глупыми либо по меньшей мере безрассудными, однако они были мужественными и веселыми, последующее танго — брюзга, который с избытком сентиментальности оплакивает собственные несчастья и бесстыже радуется чужим.

Кажется, в 1926 году я обвинил в вырождении танго итальянцев (точнее — генуэзцев из квартала Бока де Риачуэло). В том мифе (назовите это

* *Harlot's progress* (англ.) — рост проституции.

** *quidquid agunt homines* (лат.) — что бы люди ни делали.

напраслиной) о нашем «креольском» танго, испорченном-де приезжими гринго, я вижу сегодня явный симптом некоторых националистических ересей, сгубивших позже мир, естественно, из-за неприязни к чужакам-гринго. Не бандонеон, который я окрестил как-то трусливым, и не усердные композиторы из какой-либо порочной трущобы сделали танго тем, чем оно является, а вся Республика Аргентина. Помимо этого, старые креолы, породившие танго, звались Бевилаккуа, Греко и Де Басси...

По поводу моего очернения современного танго кто-то, возможно, выскажется в том духе, что демонстрация храбрости или бравирование меланхолий могут быть не ущербностью, а признаком зрелости. Мой воображаемый оппонент вполне мог бы к этому добавить, что простодушный храбрец Аскасуби* так же соотносится с нытиком Эрнандесом**, как первое танго с последним, и что никто, кроме разве только Хорхе Луиса Борхеса, не отважится вывести из этого приуменьшения радости, будто «Мартин Фьерро» хуже «Паулино Лусеро». Мой ответ прост: разница не только в гедонической тональности, но и в моральной. В бытовом буэнос-айресском танго, в танго на семейных сходках или в приличных кафе-кондитерских всегда присутствуют некое тривиальное канальство, привкус бесчестия, о которых знать не знали танго клинка и танго борделя.

С музыкальной точки зрения танго — не Бог весть какая вещь, единственное его значение — то, которое мы ему придаем. Суждение это, впрочем, справедливо для любой вещи: для нашей собственной смерти или для отвергнувшей нас женщины... Танго спорно, и мы спорим о нем, но, как и все истинное, оно содержит в себе загадку. Музыкальные словари отмечают, и с этим все согласятся, краткую и самодостаточную четкость танго, она элементарна и не представляет видимых трудностей, однако французский или, скажем, испанский композитор, которые, доверившись этой элементарности, старательно сплетут собственное «танго», к своему изумлению обнаружат, что сплели-то они нечто такое, что не узнается нами, не остаётся в нашей памяти, отвергается нашим телом. Так и подмывает сказать: нельзя сочинить танго без сумерек и ночей в Буэнос-Айресе, и на небесах всех нас, аргентинцев, ждет платоническая идея танго, его универсальная форма (едва намеченная в «Ла Таблада» и «Эль Чокло»), — этой счастливой вещи уготовано пусть скромное, но свое место в мироздании.

Вызов на дуэль

Существует легендарный или, скажем так, исторический сюжет, а может быть, исторический факт и легенда одновременно (что, возможно, является иным определением легендарного), — сюжет, запечатлевший культ отваги. Лучшие его литературные версии вы обнаружите в повестях Эдуардо Гутьерреса, несправедливо ныне забытых, — в «Черном муравье» или в «Хуане Морейре», а первая из услышанных мною происходила из квартала, ограниченного тюрьмой, рекой и кладбищем, который назывался Огненная Земля. Главным героем этой версии был Хуан Муранья, шулер и поножовщик, соответствующий всем рассказам о бесстрашии, имеющим хождение по берегам Северного квартала. Эта первая версия была проста. Человек из поселка Стоило или селения Развалюха, наслышанный о славе Хуана Мураньи (которого дотоле никогда не видел), приходит из своего Южного предместья помериться с ним отвагой, — он вызывает его на стычку в лавчонке, оба выходят сразиться на улицу, ранят друг друга; наконец, Муранья «таврит» пришельца и говорит ему:

— Дарю тебе жизнь, и ты уж меня поищи сызнова.

* Иларио Аскасуби (1807—1875) — известный аргентинский поэт, автор знаменитой поэмы «Паулино Лусеро».

** Имеется в виду аргентинский поэт Хосе Эрнандес (1834—1886), автор знаменитой эпической поэмы «Мартин Фьерро».

Бесцельность этой дуэли запечатлелась в моей памяти, ни одна из моих бесед (друзья хорошо это знают) не обходилась без ее упоминания, году в 1927-м я записал ее и с напыщенным лаконизмом озаглавил — «Двое подрались», через несколько лет этот сюжет помог мне измыслить удачный, если не более того, рассказ «Мужчина из розового кафе», а в 1950-м с Адольфо Бией Касаресом мы снова прибегли к нему, написав сценарий фильма, с энтузиазмом отвергнутого студиями, который должен был называться «Люди окраины». Изрядно намыкавшись, я было посчитал, что расстался с историей о столь рыцарской дуэли, но в этом году услышал в Чивилкоке версию куда более совершенную, которая, возможно, и является истинной, хотя такими могут быть обе, — жизнь любит повторяться, и то, что случилось один раз, может случиться неоднократно. Два посредственных рассказа и сценарий (по-моему, весьма хороший) произошли из ущербной истории, но из этой ничего не сможет выйти, настолько она совершенна и цельна. Как мне ее поведали, так я ее и изложу без каких-либо метафорических и пейзажных украшательств. История эта, по словам рассказчика, приключилась в округе Чивилкой около тысяча восемьсот семьдесят какого-то года. Героя зовут Венсеслао Суарес, он стригальщик, живет на маленьком ранчо. Ему сорок — пятьдесят лет, его почитают за смельчака, и нет ничего невероятного (исходя из фактов этой истории), что за ним числятся одно-два убийства, которые, впрочем, будучи совершенными не по собственному умыслу, нисколько не удручают его и не пятнают бесчестьем. В один из вечеров его жизни происходит небывалое: в лавке ему сообщают, что на его имя пришло письмо. Дон Венсеслао неграмотен, лавочник по складам разбирает торжественное послание, со всей очевидностью написанное не рукой отправителя, чья грамотность, должно быть, соответствует грамотности получателя. В присутствии нескольких друзей, знающих цену ловкости и истинному хладнокровию, зачитывается приветствие дону Венсеслао, слухи о славе которого достигли якобы Арройо-дель-Медио, — неизвестный желает оказать ему гостеприимство в скромном своем доме в одном из селений Санта-Фе. Венсеслао Суарес диктует лавочнику ответ: он благодарит за любезность, объясняет, что не решится оставить в одиночестве мать весьма преклонного возраста и приглашает его самого в Чивилкой, на свое ранчо, где не будет недостатка в жареном мясе и вине. Проходят два месяца, и всадник, прискакавший на коне, оседланном несколько на иной манер, нежели здесь, спрашивает в лавке, как ему найти дом Суареса. Дон Венсеслао, который заглянул сюда купить мяса, слышит вопрос и говорит, что Суарес — он самый и есть, приезжий напоминает ему о письмах, которыми они когда-то обменялись. Суарес хвалит его за то, что тот решился приехать, они отправляются в укромное местечко, где Суарес принимается жарить мясо. Едят, пьют, беседуют. О чем? Должно быть, о крови, о жестокости, однако — сдержанно и рассудительно. Пообедали, зной сиесты становится нестерпимым, когда приезжий приглашает дона Венсеслао «попыряться». Отказаться — значит покрыть себя бесчестьем. Немного пофехтовали ножами, поначалу как бы шутя, да только Венсеслао чувствует, что незнакомец намеревается его убить. До него наконец доходит смысл любезного послания, и он сожалеет, что изрядно поел и выпил. Он знает, что устанет раньше, чем соперник, не вышедший еще из молодых лет. В насмешку или из вежливости чужак предлагает ему отдохнуть, дон Венсеслао соглашается. Когда они возобновляют схватку, противник ранит его в левую руку, на которую намотано пончо*. Кинжал рассекает ему запястье, рука безжизненно повисает. Суарес делает большой отскок; положив окровавленную кисть на землю, он наступает на нее башма-

* Об этом старом способе драться с плащом и шпагой говорит Монтень в своих «Опытах» (I, 49), цитируя фрагмент из Цезаря: «Sinistras sagis involvunt, gladiosque dstringunt» («Они обертывают левую руку плащом и обнажают меч»). Леопольдо Лугонес на стр. 54 «Пайадора» приводит аналогичный пассаж из романа о Бернардо Карпио: «Руку плащом обернув, / он поднимает свой меч». (Прим. Х. Л. Борхеса.)

ком и, рывком оторвав, наносит чужаку удар, распарывая ему живот. Так заканчивается эта история, разве что, по версии одного рассказчика, приехавший из Санта-Фе остается в поле, а по рассказу другого (отказывающего ему в достоинстве смерти) — возвращается в родную провинцию. В последней версии Суарес промывает ему рану тростниковой водкой, оставшейся от их трапезы...

В подвиге Безрукого Венеслао — таким именем увенчала Суареса молва — кротость и своего рода учтивость (работа стригальщиком, совесть, выраженная в нежелании оставить мать, два вежливых письма, беседа, обед) смягчают или подслащивают ужасающий сюжет, — эти черты придают событию эпический и даже рыцарский характер, чего, к примеру, мы не найдем, если не зададимся преднамеренно этой целью, в пьяных драках в «Мартине Фьерро» или в похожей версии о Хуане Муранье и пришельце с Юга. Общая черта, пожалуй, особо любопытна. В обеих версиях зачинщик терпит поражение. Это может быть вызвано простой и убогой необходимостью в победе местного или (мы склоняемся именно к этому) внутренним осуждением провокации в этих героических сказаниях, или, что было бы лучше всего, смутным трагическим убеждением, что человек — творец своих собственных бед, подобно Улиссу в Песне Двадцать Шестой Дантовского «Ада». Эмерсон, превознесший в биографии Плутарха «стоицизм не от школы, а от крови», не отверг бы эту историю.

Итак, перед нами наиболее беднейшие люди, гаучо и жители трущоб с берегов Ла-Платы и Параны, которые, сами того не ведая, созидают религию с ее мифами и мучениками — жестокую и слепую религию доблести, готовности убить и умереть. Эта религия стара как мир, но она была заново открыта и пережита в наших республиках пастухами, резниками, перекупщиками скота, беглецами и подлецами. Вся их музыка — в их гитарах, в милонгах и первых танго. Я сказал, что это религия древняя, — в одной саге XII века мы читаем:

— Скажи мне, какая твоя вера? — спросил граф.

— Я верю в мою силу, — ответил Зигмунд.

Венеслао Суарес и его безымянный соперник вкупе с другими смельчаками, коих мифология забыла или вместила в себя, вне всякого сомнения, исповедовали ту же мужественную веру, которая возникла если не от заносчивости, то от сознания, что в каждом человеке — Бог.

ДВА ПИСЬМА

(Публикация в газете «Ла Насьон» очерка «Вызов на дуэль», завершающего «Историю танго», подарила автору два письма, которые достойно дополняют этот очерк.)

Письмо первое

Монтевидео, Восточная Республика Уругвай,
27 января 1953

Сеньору
Хорхе Луису Борхесу

В газете «Ла Насьон» за 28 декабря я прочитал Ваш «Вызов на дуэль».

Учитывая интерес, который Вы испытываете к подобного рода историям, полагаю, для Вас будет весьма интересной одна из них, рассказанная моим отцом, умершим много лет назад, который сказал, что был очевидцем оной.

Место — солеварня «Сан-Хосе» в Пуэрто-Руис, что возле Гуалегуая, принадлежавшая фирме «Лауренсена, Парачу и Марко».

Время — шестидесятые годы прошлого века.

Среди работников солеварни, почти исключительно басков, был негр по имени Фустель, слава о его умении владеть кинжалом, как вы увидите, вышла за пределы провинции.

В один прекрасный день заявился в Пуэрто-Руис всадник, с шиком одетый по моде того времени: штаны-чирипа из тонкого черного сукна, из-под которых выпрастывалась узорная бахрома подштанников, шелковый шейный платок, пояс в серебряных монетах. Был он на коне с роскошной сбруей — удилами, подпругой, стременами и серебряной седельной лукой с золотой отделкой, при кинжале под стать сбруе.

Он сказал, что прибыл с солеварни «Фрай Бентос», куда донеслась слава о ловкости Фустеля, и, считая себя настоящим мужчиной, решил посостязаться с ним в умении владеть ножом.

Свести их было проще простого, и так как никто не выказывал какой-либо неохоты, то и был назначен день и час схватки на этом самом месте.

Схватка, в которой оба показали верх проворства, состоялась в центре широкого круга, образованного всеми работниками солеварни и соседями.

После длительной борьбы негру Фустелю удалось чиркнуть соперника по лбу острым концом кинжала, оставив хотя и небольшой, но обильно кровоточивший порез.

Видя, что ранен, приезжий отбросил клинок и, протянув сопернику руку, сказал: «Вы сильнее меня, приятель».

Они сдружились, и в подтверждение дружбы на прощание обменялись клинками.

Я подумал, что под Вашим именитым пером этот реальный случай (мой отец никогда не лгал) может превратиться в сценарий фильма, который взамен названия «Люди окраины» назывался бы «Благодородство Гаучо» или еще как-то.

С особым почтением Вас приветствует

ЭРНЕСТО Т. МАРКО

Письмо второе

Чивилкой, 28 декабря 1952

В газету «Ла Насьон»,
сеньору Хорхе Луису Борхесу.

(По поводу очерка «Вызов на дуэль»)

Я пишу это письмо с целью проинформировать, а не поправить Вас, не меняя главного, а только уточняя детали событий.

Я много раз слышал от отца подробности схватки, которая послужила основой Вашего очерка «Вызов на дуэль», опубликованного в сегодняшнем номере «Ла Насьон». В ту пору отец жил в своем сельском владении недалеко от лавки «Донья Иполита», вблизи которой на берегу как раз и состоялась страшная дуэль между Венсеслао и жителем из Асуля (он сам сказал, что прибыл из Асуля, куда дошла молва о сноровке Венсеслао, — вот он и приехал убедиться в этом).

Возле стога сена соперники поели, тишком изучая друг друга, и, когда южанин спросил, не скрестить ли им ножи, наш предложение тут же принял.

Из-за прыткости приезжего Венсеслао никак не мог достать его кинжалом, так что схватка складывалась не в его пользу. Со стога один из работников доньи Иполиты, которая из-за этого события закрыла лавку, в страхе наблюдал за поворотами поединка. Задумав маневр, Венсеслао выставил вперед обмотанную пончо левую руку. Южанин нанес ему молниеносный рубящий удар по кисти в то время, как Венсеслао острием кинжала задел его глаз. Звериный рев огласил тишину пампы, и южанин, кинувшись бежать, спрятался за крепкой дверью лавки. Венсеслао, наступив на кисть левой руки, которая держалась на лоскутке кожи, рывком оторвал ее, сунул

культю за пазуху и кинулся за беглецом, он ревел, как лев, требуя продолжить поединок.

С той поры Венсеслао нарекли Культяпым Венсеслао. Он пробавлялся то одним, то другим делом. Никогда не задирался. Его появление в лавках служило сигналом к примирению, достаточно ему было мужественным голосом выказать спокойное, но строгое неудовольствие, как задиры убавляли свою прыть. Среди всей этой нищеты он был истинный господин. Он как бы изменился, его гордый характер не выносил оскорблений, будь то даже небольшое пренебрежение, а глубокое знание человеческих слабостей заставило его сомневаться в беспристрастности правосудия той поры, отчего он и привык вершить его сам. В этом и заключалась ошибка, сделавшая его уязвимым.

Подлость одного гринго заставила его пустить в ход кинжал, с этого и начались его беды. Большая группа полицейских и штатских настигла его в лавке, куда он пришел поразвлечься. Схватка на ножах (пятеро на одного) развивалась для Венсеслао успешно, покуда меткий выстрел штатского не уложил на веки вечные героя тринадцатого округа.

Все остальное верно. Соседи, среди них и мой отец, помогли ему в строительстве ранчо, где он потом жил с матерью. Ни разу в жизни он не позарился на чужое.

Пользуюсь случаем приветствовать талантливое писателя, выражаю Вам мое восхищение и симпатию. С особым почтением

ХУАН Б. ЛАУХИРАТ

Октавио ПАС

ДОЧЬ РАППАЧИНИ

*Одноактная пьеса
по мотивам рассказа Натаниеля Хоторна*

Леоноре Каррингтон

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
(в порядке появления на сцене):

Вестник.
Изабелла — старая служанка.
Джованни — студент из Неаполя.
Раппачини — знаменитый медик.
Беатриче — его дочь.
Бальони — врач, преподаватель факультета.

ПРОЛОГ

Сад Раппачини; в стороне видна часть старого строения, в котором находится комната Джованни (декорация позволяет зрителям видеть интерьер этого высокого, узкого жилища с большим, покрытым пылью зеркалом); в доме запустение; за полуистлевшими гардинами угадывается обращенный в сторону сада балкон. В центре сада — диковинное дерево. При поднятии занавеса на сцене темно, освещено лишь место, где стоит Вестник — бесполое на вид существо, облаченное на манер живописных карточных фигур из колоды Таро, но не копирующее ни одну из них.

Вестник. Не важно, как меня зовут. И какого я происхождения. По сути, нет у меня ни имени, ни пола, ни возраста, ни отчего края. Мужчина и женщина, дитя и старец, вчера и сегодня, север и юг, оба рода, три времени,

четыре возраста и все четыре стороны света сходятся во мне и во мне исчезают. Моя душа прозрачна: загляните в нее, и вас окутает прохладная головокружительная ясность, но и в самой глубине моей души вы не найдете ничего моего. Разве что образ вашего желания, о котором вы до этого и не ведали. Я — место встречи, во мне пересекаются все пути. Я — пространство, одно лишь пространство, ноль, пустота! Я здесь, но я и там, все — здесь, все — там, в любой наэлектризованной точке пространства и в каждой магнетической частице времени: вчера — это сегодня, и завтра — сегодня. Все, что было, все, что будет, творится сейчас, здесь, на земле, или там, на звезде. А встреча — это два взгляда, которые, встретившись, сливаются в одну раскаленную добела точку, это две воли, которые, сплетаясь, образуют один пылающий узел.

Схождения и расставания — души, которые соединяются в созвездие, поющее не дольше краткого мига в центре времени, миры, которые рассыпаются, словно вылушенные на траву зерна граната... (*Вынимает одну карту из колоды Таро.*) Вот она — ось танца, застывшая звезда — жрица, Королева ночи, адская дама, владычица, управляющая ростом травы и деревьев, ритмом приливов и небесных коловращений, лунная охотница, пасущая мертвецов в подземных долинах, мать урожая и источников, половину года она спит и вдруг просыпается, а на запястьях — браслеты из водяных струй, то золотых, то темных, а в деснице — солнечный колос вечного возрождения. (*Вынимает две карты.*) А это ее враги: Король нашего мира, восседающий на троне из навоза и денег, на его дрожащих коленях — свод законов и кодекс морали, в занесенной руке — бич; Король суровый и добродетельный, воздающий Кесарю — кесарево, но не дающий Духу духово. А напротив него Отшельник, который преклоняется перед треугольником и шаром, знаток халдейского письма, ничего не ведающий о языке крови, заблудившийся в лабиринте силлогизмов, заточенный в себе самом. (*Вынимает еще одну карту.*) А это юный Шут, он спал, склонив голову на собственное свое детство, но проснулся, едва услышал ночной напев Дамы; ведомый этим напевом, закрыв глаза, он идет над бездной по слабо натянутому канату, идет уверенно, и шаги ведут его ко мне, несуществующему, а ищет он свой сон; стоит ему изнемочь, и он рухнет в бездну. А вот и последняя карта — Влюбленные: две фигуры, одна — цвета дня, другая — цвета ночи. Это — два пути. А любовь — выбор: смерть или жизнь? (*Вестник удаляется.*)

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Сад смутно различим из-за того, что гардины балкона задернуты. Сама комната слабо освещена.

Изабелла (*входит и показывает Джованни комнату*). Вот мы и пришли, мой юный господин. (*Юноша со скучающим видом молчит.*) Уж сколько лет здесь никто не живет, должно, потому вам и кажется это место таким запустелым. А вы его обживите. Стены вокруг дома высокие...

Джованни. Чересчур даже. Высокие и толстые...

Изабелла. Вот и не слышен уличный шум. Чего лучше для молодого-то студента?

Джованни. Толстые и сырые. Трудно будет привыкнуть к сырости и тишине, хоть и считают некоторые, что одиночество располагает к размышлениям.

Изабелла. Истинно, вы тут будете как дома.

Джованни. В Неаполе у меня была большая комната, и кровать была высокая и просторная, как корабль. Каждую ночь, стоило закрыть глаза, как я отправлялся в плавание по неведомым морям, мимо едва различимых островов, к туманным и мгlistым материкам. Иногда меня ужасала мысль, что я не вернусь, навсегда останусь один-одинешенек посреди черного океана, но

кровать уверенно скользила по гребню ночи и каждое утро выносила меня на тот же счастливый берег. Спал я с открытыми окнами, на рассвете комнату заполняли солнце и ветер.

Изабелла. В Падуе у нас моря нет, зато есть сады. Самые что ни на есть красивые в Италии.

Джованни (*в раздумье*). Море, солнце над морем... Нет, в этой комнате слишком темно.

Изабелла. Да потому что гардины задернуты! Раздвиньте их — и ослепнете от солнца. (*Раздергивает гардины, зрителям открывается залитый солнцем сад.*)

Джованни (*зажмуриваясь*). Совсем другое дело! Какой золотой свет! (*Подходит к двери балкона.*) И сад есть. Он относится к этому дому?

Изабелла. Прежде сад был частью дворца. А сейчас принадлежит доктору Раппачини, знаменитому нашему медику.

Джованни (*выглядывает*). Да сад ли это? Во всяком случае, на неаполитанский он не похож. Кошмар какой-то...

Изабелла. Синьор, у нас в Падуе многие так считают. Только не тревожьтесь, доктор Раппачини сажает не простые цветы, все, что вы видите, лечебные растения.

Джованни. Воздух, однако, упоительный. Прохладный и теплый одновременно, тонкий и легкий, такой неощутимый и почти без запаха. Надо признать, этот Раппачини, если и не владеет искусством улаживать взор, хорошо знает секреты запахов. Что он за человек?

Изабелла. Говорю, ученый, большой ученый. Сказывают, другого такого врача поискать. Да и о разном еще толкуют...

Джованни. О чем именно?

Изабелла. Синьор сами решат... Нынче либо завтра вы его с балкона увидите. Каждый день он выходит ухаживать за растениями. Бывает, что и дочь с ним.

Джованни. Все это мне решительно не нравится. (*Задергивает гардину.*) А что, дочь Раппачини походит на отца?

Изабелла. Прекрасней Беатриче старые эти глаза и не видели никого. Многие на нее зарятся, да только издали, потому как отец держит всех на расстоянии. А сама робкая: как завидит незнакомца, тут же бежать... Может, синьору что еще угодно? Уж мне так приятно было бы услужить вам! Уж такой вы молоденький да пригожий. И, видать, вам так одиноко...

Джованни. Спасибо, синьора Изабелла. Одиночество не опасно. (*Изабелла выходит.*)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Джованни. Попробую привыкнуть к этой пещере. А то, чего доброго, превращусь в нетопыря. (*Подходит к зеркалу, дует на его запыленную поверхность, взмахивает руками, точно летучая мышь — крыльями, хохочет, снова становится серьезным, завидев вернувшуюся Изабеллу.*)

Изабелла. Простите, синьор, что беспокою. Уж так мне горько стало, что вы остались одни, вот и взбрело на ум принести вам букет роз. Может, веселей вам станет. Сама срезала нынче утром.

Джованни (*принимая букет*). Благодарю, синьора Изабелла, от всей души благодарю. (*Изабелла выходит.*) Какая учтивость! А розы прекрасные, жаль, некому их подарить. (*Отбрасывает цветы, потом с улыбкой поднимает их, подходит к зеркалу, разглядывает себя, довольный, с реверансом протягивает цветы воображаемой девушке и делает пируэт. В раздумье застывает, потом, подпрыгнув, подбегает к балкону, раздергивает гардины и выглядывает в сад. Увидев Раппачини, отступает, наблюдая за ним.*)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Раппачини (*склоняясь над цветком*). Стоит взглянуть на тебя, и ты краснеешь, как застенчивая девушка. Какая чувствительность! Какое кокетство! Краснеешь, а ведь ты, цветок, хорошо вооружен: пусть попробует кто-нибудь тебя задеть — тут же его кожа покроется множеством ярких синих пятен. (*Прыжком перемещается к двум растениям, которые переплелись стеблями.*) Любовники! Обнялись, как прелюбодеи! (*Распутывает растения, вырывая с корнем одно из них.*) Впредь придется тебе быть совсем одной, теперь твое буйное вождление у любого, кто понюхает тебя, вызовет бесконечный горячечный бред, похожий на неутолимую жажду, — вроде бреда двух зеркал! (*Перепрыгивает к другому растению.*) А кто ты — жизнь или смерть? (*Пожимает плечами.*) Кому это ведомо? Да и не все ли равно? С момента рождения на свет наше тело начинает умирать, а когда мы умираем, начинает жить... только иной жизнью. Кто решится назвать труп мертвым телом? Спросили бы червей — они бы сказали, что никогда не встречали ничего более животворного. Яды и противоядия суть одно и то же. Белладонна, аква-тофана, цикута, черная белена, черемица... Какое бесконечное разнообразие форм и воздействий! Ядовитый гриб-млечник, непристойный морской желудь, спорынья, марь, коралловый мох-притвора, гриб-дождевик и гриб Сатаны... А рядом — отстоящие всего лишь на волосок друг от друга в ряду форм плаун и медуница, восточный мускус и ужас кухарок — домашняя плесень. Суть одна и та же: достаточно маленького изменения, легчайшего смещения, и яд становится эликсиром жизни. Смерть и жизнь — только названия! (*Перепрыгивает к дереву.*) Беатриче, доченька!

Беатриче (*показывается в дверях*). Я здесь, отец.

Раппачини. Посмотри, каким становится наше дерево. С каждым днем оно все выше и наряднее. А сколько на нем плодов!

Беатриче (*перед деревом*). Какое милое, какое красивое! Как ты вымахало, родное! (*Обнимает его, прижимаясь щекой к стволу.*) Ты не умеешь говорить, но отвечаешь на свой манер: вот, твоя живица потекла быстрее. (*Отцу.*) Я слышу его пульс, будто оно живое.

Раппачини. Оно и есть живое.

Беатриче. Я хотела сказать — живое, как ты, как я. Живое, как юноша. (*Припадая лицом к листу, наслаждается его ароматом.*) Дай мне надыхаться тобой, дай мне украсть немного твоей жизни!

Раппачини. Я сейчас подумал: то, что для одних жизнь, для других смерть. Мы видим лишь одно полушарие. А весь шар складывается из смерти и жизни. Если бы мне удалось определить точные меры и пропорции, я бы мог настаивать жизнь на смерти, тогда соединились бы обе части, и мы бы стали всесильными богами. И если мой эксперимент...

Беатриче. Не надо об этом. Я довольна своей судьбой и радуюсь этому саду, этим растениям — мы с ними одна семья! И все же иногда мне хочется, чтобы у меня была роза — я бы нюхала ее, и жасмин — я бы украсила им волосы, и маргаритка — я бы обрывала ее жаркие лепестки, чтобы она не спалила мне руки.

Раппачини. Наши цветы — бессмертны. А розы, маргаритки, фиалки, гвоздики!.. Похолодало — и они пожухли. Легкий ветерок — и они облетели!

Беатриче. За хрупкость их и любят! В других садах жужжат синие жуки и желтые пчелы, в траве стрекочут сверчки и цикады... А в нашем — ни ящериц, которые греются на изгороди, ни птиц, ни насекомых, ни хамелеонов, ни голубей...

Раппачини. Довольно, довольно! Никогда не бывает всего. К тому же наши растения лучше многих. В их неожиданных формах — красота горячечных фантазий, их рост надежен и неотвратим, как неуклонное развитие какого-нибудь загадочного недуга. Эти цветы и плоды сверкают, как драгоценности. Но изумруд, жемчуг и рубины безжизненны, как все мертвые камни. А наши драгоценности — живые. В их жилах пламя течет и перелива-

ется всеми цветами радуги, подобно свету в подземных гротах. Пламенный сад, где жизнь и смерть обнялись и шепчут друг другу свои секреты!

Беатриче. Конечно... Но я хотела бы завести кота — я бы гладила его по спине, пока он не превратился бы в пушистый электрический шар. И хамелеона — я положила бы его на колени и глядела бы, как он меняет окраску. Кота, хамелеона и желто-зеленого попугая — этот бы прыгал у меня на плече и кричал: «Беатриче! Имя птичьё!» И какую-нибудь пташку — я бы прятала ее между грудой. А еще... *(Всхлипывает.)*

Раппачини. Не плачь, дорогая. Я слишком чувствителен, не могу видеть чужих страданий. Я бы выпил каждую твою слезинку!..

Беатриче *(со злорадством)*. Не можешь, знаешь ведь, что не можешь. Мои слезы сожгут твоё нутро, как царская водка. *(Обращаясь к дереву.)* Только ты, братец, только ты можешь испытать мои слезы. *(Обнимает ствол.)* Испей мои рыдания, отведай мою жизнь, а мне дай немного твоей! *(Срывает плод и надкусывает его.)* Прости, что я ем тебя, это все равно, что съест кусочек собственной плоти. *(Смеется.)*

Раппачини *(в сторону)*. Наконец-то успокоилась... *(Пожав плечами, уходит.)*

Беатриче *(дереву)*. Я стыжусь, мой друг. Мне ли жаловаться? Ни одной падуанской девушке не дано гулять в таком саду, вдыхать подобные ароматы, есть похожие плоды. В этот сад я вхожу, как в самое себя. Воздух меня окутывает, будто беспредельная неосязаемая пелена, испарения от деревьев теплее, чем дыхание младенческого рта, ласковая влажность обволакивает меня. В доме я задыхаюсь, кровь стучит в висках, кружится голова. Мой милый, если бы ты не был прикован к земле, ты бы спал со мной рядом: твоё дыхание развеяло бы все мои кошмары. Если бы ты мог ходить, мы бы гуляли по саду. А если бы ты говорил, мы бы рассказывали друг другу разные истории и смеялись. *(Ласкает ствол.)* Ты был бы статным и красивым юношей. Белозубым. Волосы на твоей груди походили бы на выющийся плющ. Ты был бы высоким и спокойным. И не надо было бы опасаться, что ты будешь с другой. Ты не мог бы. Никогда! И я не могла бы изменить тебе. Нет, не могла бы, никогда не смогу... *(Про себя.)* Неужто мне суждено вечно гулять одной по этому саду, беседовать только с собой? *(Дереву.)* Поговори со мной, скажи что-нибудь, ну, хотя бы «добрый вечер»...

Джованни *(с балкона)*. Добрый вечер!

Беатриче *(вскрикнув, бежит, но тут же возвращается и делает реверанс)*. Добрый вечер.

Джованни *(бросает ей букет)*. Это недавно срезанные розы! Понюхаете их, и они скажут вам мое имя.

Беатриче. Спасибо, синьор. Меня зовут Беатриче.

Джованни. А меня Джованни, я приехал из Неаполя, а эти розы...

Беатриче подбирает розы, прижимает их ладонями к груди и убегает, не дав Джованни договорить. Медленное затемнение.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Темнота, слабо освещена лишь комната Джованни. Во время этой сцены Джованни мимикой и жестами воспроизводит слова, произносимые Вестником.

Вестник. Спит и во сне сражается сам с собой. Заметил ли он, что букет роз, словно бы тронутый молнией, почернел, едва Беатриче взяла его в руки? В робком свете сумерек, когда голова одурманена испарениями этого сада, не просто отличить увядшую розу от только что срезанной... Спи, почивая в грехах о море, на которое солнце сбрасывает серпантинны алых и лиловых лент, мечтай о зеленой долине, мчись по берегу... не ведая, что все больше и больше удаляешься от родных мест... Словно бредешь по городу, вытесанному из горного хрусталя. Тебя томит жажда, эта жажда порождает геомет-

рические наваждения. Затерявшись в прозрачных коридорах, ты обходишь круглые площади, эспланады, где задумчивые обелиски, будто стражники, застыли над ртутными фонтанами, петляешь вместе с улицами, которые всякий раз выводят на одну и ту же улицу. Стекланные стены смыкаются за тобой, словно створки ловушек, твое лицо тысячекратно отражается в тысячах зеркал. Обреченный на заточение в себе самом, обреченный искать себя среди прозрачных галерей, ты вечно на виду у самого себя, но вечно недосыгаем!.. А тот, кто вечно маячит перед тобой, кто с мольбой ищет твой взгляд, надеясь уловить хоть какой-то ответ, хоть малейший знак узнавания и признания, — не ты сам, а лишь твой образ. Обреченный на сон с открытыми глазами, закрой их, отступи, вернись во тьму, в до-детство, вспять, в перво-родство! Волны времени разбиваются о твое сердце! Наперекор этим волнам гребь против течения, к началу начал, оседлай поток, закрой глаза, доберись до истока. Кто-то сомкнул твои веки. Рушится прозрачный острог, стекланные стены легли осколками у твоих ног, стали заводью утихшей реки. Смело пригубь ее воду, спи, плыви, отдайся на волю этой Реки Сомкнутых Глаз. Утро рождается из твоего ребра.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Изабелла. Синьор, к вам доктор Бальони.

Джованни. Как! Доктор Бальони, друг моего отца?

Изабелла. Великий врач, слава факультета.

Джованни. Пусть войдет! Просите! Нет, пусть подождет, я немного приведу себя в порядок и приму его в гостиную.

Бальони (*входя*). Юный друг, в этом нет необходимости. Твой отец был моим товарищем по комнате и учебе в этом самом городе. Его сын — равно и мой сын.

Изабелла с поклоном выходит.

Джованни. Досточтимый профессор, ваш приход меня смущает. Простите, что моя студенческая обитель столь скромна. Обстоятельства...

Бальони. Все понимаю, все прощаю. Наконец-то, дорогой, ты в Падуе. Живая копия отца!

Джованни. Синьор доктор, я растроган вашей любезностью. Объясню причину моего приезда: я решил изучать право. Прибыв вчера, я не нашел другого пристанища по моим средствам, кроме этой скромной комнаты, которую вы почтили своим посещением...

Бальони. Чудесный, скажу тебе, вид, и сад рядом.

Джованни. Сад поистине замечательный. В жизни не видел ничего подобного. Он принадлежит знаменитому Раппачини.

Бальони. Раппачини?..

Джованни. Мне сказали, он ученый, повелевающий диковинными таинствами природы.

Бальони. Я вижу, ты уже ознакомился с нашими достопримечательностями... сколь ни сомнительны некоторые из них. Раппачини действительно ученый муж. На факультете вряд ли кто-нибудь с ним сравнится... За одним разве что исключением.

Джованни. Еще бы вы не знали друг друга! Живя в одном городе, при вашей общей любви к науке вы, должно быть, большие друзья!

Бальони. Погодите, нетерпеливый юноша. Бесспорно, Раппачини любит науку, однако жестокость, с которой проявляется эта любовь, или, я бы сказал, чудовищная моральная бесчувственность, окутали его душу мраком. Люди для него лишь орудия, объекты для сомнительных и, вынужден заметить, почти всегда злосчастных экспериментов.

Джовани. Но тогда он опасен!

Бальони. Так оно и есть.

Джованни. Подумать только, любить науку таким странным образом! Бальони. Сын мой, наука для человека, а не человек для науки.

Джованни. Но это не мешает Раппачини создавать удивительные сна-
добья.

Бальони. Порой удача сопутствовала ему. Только мне известны и дру-
гие случаи, когда... Впрочем, что тебе до твоего беспокойного соседа? Или
ты, не дай Господь, занемог?

Джованни. Никогда не чувствовал себя лучше. На ночь я оставил
балкон открытым и спал, как сурок.

Бальони. Воздух в Падуе — наичистейший... Что касается Раппа-
чини...

Джованни. Разумеется, поскольку я только что прибыл в Падую, лич-
ность Раппачини пробудила мою любознательность. К тому же он мой сосед.
Столько разговоров о его поразительной любви к науке.

Бальони. Лучше бы говорили о результатах столь безумной любви...

Джованни *(с некоторой запальчивостью)*. Есть то, что для Раппачини
превыше науки, ради этого сокровища он пожертвует всеми своими зна-
ниями.

Бальони. Что за сокровище?

Джованни. Его дочь.

Бальони. Наконец-то мой юный друг раскрыл свой секрет! Выходит,
прекрасная Беатриче и есть виновница всего этого допроса!

Джованни. Я и увидел-то ее только вчера вечером...

Бальони. Полно оправдываться. Я не знаком с этой девушкой. Слы-
шал, что некоторые юные падуанцы от нее без ума, хотя... и обходят ее
стороной. Говорят еще, что она не только чудо красоты, но и кладезь знаний,
так что вполне могла бы, несмотря на юные годы, занять кафедру. *(Сме-
ется.)* Хотя бы и мою... Но оставим все эти глупые слухи... *(Идет к бал-
кону.)* Мрачный сад!

Джованни. Он может нам не нравиться, но мы не станем отрицать, что
этот сад — свидетельство любви, я бы сказал, одержимой любви к истине,
страстного влечения к бесконечному познанию. Вот и идет кругом голова...

Бальони. Тише! Раппачини собственной персоной.

Появившийся в саду Раппачини осматривает растения. Почувствовав, что за
ним наблюдают, он поднимает голову и впивается взглядом в балкон. Бальони
холодно приветствует коллегу, тот не отвечает на приветствие. Не удастая внимани-
ем Бальони, Раппачини бросает быстрый пристальный взгляд на Джованни.
Тут же уходит.

Бальони. Он видел нас, но даже не удосужился ответить на мое привет-
ствие. На меня даже не взглянул, смотрел только на тебя. Вы знакомы?

Джованни. Как мы можем быть знакомы, если я только что приехал?

Бальони. Не знаю, но я поклялся бы, что ты его заинтересовал. Раз-
умеется... с научной точки зрения. Знать бы, какая роль в этом уготована
Беатриче.

Джованни. Синьор профессор, вы, однако, заходите слишком далеко.
Ни отец, ни его дочь ничего обо мне не ведают.

Бальони. С этим человеком никогда ни в чем нельзя быть уверенным.
Я поразмышляю над только что увиденным. Не хотел бы, чтобы в моем
родном городе с сыном старого друга случилось нечто непредвиденное.

Джованни. О чем вы, синьор?

Бальони. Пока ни о чем. Разве что одно подозрение... и одна почти
догадка. Впрочем, я задержался, меня ждут на факультете. Могу ли я рассчи-
тывать на удовольствие видеть тебя в один из дней в моем доме?

Джованни. Это большая честь для меня, доктор Бальони.

Бальони. Тогда до встречи. *(Выходит. Джованни направляется к
балкону, но прежде, чем он доходит до него, Бальони возвращается.)*

Сети, которые тебя опутывают, невидимы, но они могут тебя погубить. Помоги мне, и я их порву! (*Уходит.*)

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Джованни застыл в раздумье. Отогнав жестом руки черные мысли, он выходит на балкон, тут же возвращается, прохаживается по комнате, снова выходит на балкон, решительно спрыгивает в сад. С любопытством и неприязнью разглядывает растения. Его движения напоминают движения лазутчика и одновременно человека, который остерегается невидимой опасности. Он склоняется над цветком. За его спиной появляется Беатриче.

Беатриче. Добрый день! Я вижу, нашего соседа тоже интересуют цветы и растения.

Джованни. Не знаю, простите ли вы мою дерзость? У меня нет дурных намерений, просто я очарован этой необыкновенной растительностью. Не в силах противиться соблазну, я помимо своей воли спрыгнул с балкона... И вот я здесь!

Беатриче. Незачем оправдываться, я понимаю ваше любопытство и уверена, что и отец не станет вас ни в чем упрекать. Для него любознательность — мать любого знания.

Джованни. Я не хотел бы вводить вас в заблуждение. Меня не интересует ботаника, и загадки природы не лишают меня сна. В Падую я приехал, чтобы изучать право, случай сделал нас соседями, и вчера я вас увидел. Помните, вы прогуливались среди этих растений? И я почувствовал, что меня в действительности влечет...

Беатриче. Признаться, я не совсем вас понимаю. Один взгляд в сторону сада открыл вам ваше призвание? О, отец был бы весьма польщен этим...

Джованни. Сад здесь ни при чем. Увидев вас в окружении стольких неведомых мне растений, я признал в вас нечто привычно знакомое, словно вы цветок, и в то же время нечто бесконечно древнее. Как жизнь, которая пробивается среди камней в пустыне с той же простотой, с какой каждый год к нам приходит весна. Мое тело стало покрываться зелеными листьями. А голова из печальной реторты, которая варит смутные мысли, превратилась в озеро. Я не думаю теперь, а лишь отражаю. Открываю или закрываю глаза, вижу только ваш образ.

Беатриче. Я не знаю нравов, с детства я росла одна, мне трудно что-либо ответить. А лгать не умею. Если бы и умела, не лгала бы никогда. Ваши слова меня смущают, но они не застали меня врасплох. Я их ждала, я знала, что вы мне должны были их сказать... рано или поздно.

Джованни. Беатриче!

Беатриче. Как необычно вы произносите мое имя! Никто не произносил его так.

Джованни. Это птица, я говорю Беатриче, и она раскрывает крылья и летит невесть куда. Далеко-далеко отсюда...

Беатриче. Когда я увидела... тебя, мне показалось, будто вокруг открывается множество дверей. Я была заперта, замурована. И вдруг порыв ветра распахнул все двери и окна. Мне захотелось прыгать, плясать. Ночью мне почудилось, что я лечу. Но я снова упала сюда, в этот сад. Словно запахи всех этих растений перемешались и соткались в невидимую сеть, которая учтиво, с большой нежностью удерживает меня. Я словно привязана к почве. Я одно из этих растений. Если меня вырвать, я погибну. Уходи, оставь меня!

Джованни (*отводя руками воображаемую пелену запахов*). В этой чащобе ароматов я прорублю просеку, отсеку спутанные ветви невидимого леса, ногтями и зубами пророю лаз под стеной, стану мечом и одним ударом рассеку завесу. Развяжу узел и покажу тебе мир. Мы поедем на юг, ты наберешься сил, море поднимется со своего ложа и взметнет над тобой соленое опухало, пинии возле моего дома будут кланяться тебе вслед...

Беатриче. Но я не знаю, какой мир. Вольный воздух меня удушит. *(Указывает на сад.)* Только запахи моего сада живут меня. Мое сияние — от его света. Я сотворена из его вещества... Останься здесь.

Джованни. Обнять тебя рекой, обтекающей остров, дышать тобой, пить свет твоих губ! Ты смотришь на меня, и твои глаза облачают меня в прохладные, сверкающие доспехи. Блуждать, бесконечно блуждать по твоему телу, спать на твоей груди, поутру пробуждаться в твоём горле вздохом, подняться вверх по руслу твоей спины, заблудиться на твоём затылке, спуститься к твоему животу!.. Потеряться, утонуть в тебе и на другом берегу встретить себя, ждущего себя самого! Родиться в тебе, умереть в тебе!..

Беатриче. Не уставая, вращаться вокруг тебя планетой, ведь ты солнце...

Джованни. Лицом к лицу, как два дерева!..

Беатриче. Вырастать, обрастать листвой, цветами и поспевающими плодами...

Джованни. Сплестись нашими корнями!..

Беатриче. Переплестись нашими ветвями...

Джованни. Стать единым деревом!..

Беатриче. Солнце нашло приют в нашей листве и поет...

Джованни. Словно медленно распахивается веер...

Беатриче. Мы сотворены из солнца...

Джованни. Мы идем, и мир раскрывается перед нами...

Беатриче *(очнувшись)*. Нет, мир начинается в тебе и в тебе оканчивается. А горизонт замкнут этим садом.

Джованни. Мир бесконечен, он начинается у кончиков пальцев на твоих ногах и заканчивается на кончиках твоих волос. Ты беспредельна.

Беатриче. Увидела тебя и вдруг вспомнила... Вспомнила нечто смутное, что было давным-давно, только след остался, как тайная рана, и она вдруг напоминает о себе и твердит: взглядишь и запомни — то, что ты забыла при рождении, это и есть я.

Джованни *(пристально глядя на нее)*. Хотел бы я проникнуть в замок твоей головы, углубиться в твои раздумья, добраться до самой тебя, до твоей сущности... Кто ты?

Беатриче. На моем лице ты можешь прочесть все, о чем думаешь сам. Мое лицо — зеркало, оно отражает тебя и не устает повторять твой образ. Я обжита твоим желанием. До того, как я увидела тебя, я никого не знала, даже себя. Не ведала, что есть солнце, луна, вода, губы. Я была одним из этих растений. Иногда говорила с моим деревом. Вот и все мои знакомства. Вчера ты бросил мне розы... Что дать тебе взамен?

Джованни. Ветку этого дерева. Я поставлю ее на ночь рядом с моим изголовьем, и мне будет казаться, что я с тобой. *(Джованни приближается к дереву, протягивает руку, чтобы сорвать ветку.)*

Беатриче. Не дотрагивайся до него! Это смертельно! *(Она гладит руку Джованни. Словно почувствовав электрический разряд, он отдергивает руку. Беатриче испуганно прячет лицо в ладони. Джованни хочет обнять ее. Она останавливает его жестом и бежит к дому. Джованни порывается нагнать ее, но в дверях показывается Раппачини.)*

Джованни *(смущенно)*. Простите... Мое присутствие здесь... Смущение лишает меня слов...

Раппачини *(с улыбкой)*. Между соседями не должно быть ничего неловкого.

Джованни. Меня привлекли эти растения, сам не знаю почему я спрыгнул в ваш сад. Это было сильнее меня. И вот задержался... Пожалуй, мне пора...

Раппачини. Ну что же. Только вряд ли будет удобно вернуться путем, которым вы сюда проникли. Я покажу вам, где выйти.

Джованни. Спасибо...

Раппачини *(пропуская юношу вперед)*. Пожалуйста, сюда.

Оба уходят. Медленно гаснет свет.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Слабое освещение. В глубине — Джованни и Беатриче.

Вестник. Отрешенные от всего мира, бродят они среди загадочных цветов, вдыхая таинственные испарения, которые то обволакивают, подобно обморочному покрывалу, то рассеиваются, не оставляя следов, тают в разливах утренней зари, словно образы сновидений. Так же на протяжении нескольких часов то появлялись, то исчезали на правой руке Джованни, которую Беатриче погладила накануне, пять маленьких красных пятнышек, похожих на пять крохотных цветков. А юноша и девушка ни о чем не спрашивают друг друга, ни в чем не сомневаются, — не грезят даже, а лишь глядят друг на друга, дышат друг другом. Дышат — смертью или жизнью? Ни о чем не думают Джованни и Беатриче — ни о смерти, ни о жизни, ни о Боге, ни о Дьяволе. Нет им никакого дела ни до спасения души, ни до обретения богатства или власти, ни до собственного счастья, ни до радости сделать счастливыми других. Только и надобно им, что стоять лицом к лицу да любоваться друг другом. Он ходит вокруг нее, а она вращается вокруг себя самой, — круги, которые он описывает, с каждым разом все меньше, вот она замирает и, будто ночной цветок, начинает закрываться, лепесток за лепестком, пока не становится непроницаемой. А он дрожит, разрывается между страстью и страхом, наконец, склоняется над ней, и она, видя его беспомощный взгляд, вновь раскрывается, вся распрямляется и кружит вокруг возлюбленного, который зачарованно обмирает перед ней. Но они не касаются друг друга, обреченные на бесконечное кружение, движимые двумя враждебными силами, которые сводят их и разводят. Ни одного поцелуя, ни малейшей ласки. Только глаза пожирают глаза.

Во время этого монолога влюбленные повторяют жесты и движения, упомянутые Вестником.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Сад пуст. Джованни и Бальони — в комнате.

Бальони. Надеюсь, я не помешал? Неподалеку живет один из моих пациентов, и, прежде чем навестить его, я решил заглянуть к тебе.

Джованни. Доктор, я всегда рад вам.

Бальони. Я не строю иллюзий. Старики утомляют молодежь, наши беседы не столько умиротворяют, сколько вызывают у нее раздражение. Что поделаешь, так устроен мир. *(Пауза.)* Ты не пришел ко мне.

Джованни. Доктор, уверяю вас, это объясняется не забывчивостью, а занятиями. Я целый день за книгами...

Бальони. Юриспруденция, история? Или... ботаника?

Джованни. Языки, доктор, иностранные языки.

Бальони. Греческий, латынь, древнееврейский или... птичий?.. Однако какой упоительный и странный аромат!

Джованни. Аромат?

Бальони. Очень тонкий, но властный. То наплывает, то улечучивается, то появляется, то исчезает. Он проникает в самую глубь легких и растворяется в крови, будто чистейший воздух...

Джованни. Иногда воображение позволяет нам видеть и обонять...

Бальони *(прерывая его)*. Нет, сын мой! Этот аромат не досужая фантазия, это реальность моего обоняния. И говорю я вполне серьезно: запах, столь подозрительно наполняющий комнату, доносится оттуда, он струится из сада! Раппачини и его коварная Беатриче принуждают своих пациентов принять смерть в облатке ароматов!

Джованни. Говорите о Раппачини все, что угодно, но не порочьте Беатриче.

Бальони. Раппачини — отравитель, роковая мания довела его до омерзительного поступка: собственную дочь он превратил в пузырек с ядом!

Джованни. Вы лжете! Беатриче невиновна.

Бальони. Невиновна или виновна, но эта девушка источает погибель! Она выделяет смерть.

Джованни. Беатриче чиста...

Бальони. Соучастница она или жертва — все едино. А истина в том, что Раппачини избрал объектом для нового чудовищного эксперимента тебя. Его дочь — наживка.

Джованни. Домыслы, пустые домыслы! Это слишком ужасно, чтобы быть правдой!

Бальони. А если это все же правда?

Джованни. Тогда я пропал! У меня нет выхода...

Бальони. Выход есть. Мы посмеемся над Раппачини! Слушай внимательно. (*Достаёт из кармана пузырек.*) В этом пузырьке противоядие, более действенное, чем пресловутый камень-безоар, чем жабный камень и опийная настойка. Это плод многих бессонных ночей, проведенных мной в лаборатории. Ежели Беатриче невиновна, дай ей выпить это, и она обретет естественное состояние. А теперь прощай! Твоя судьба в твоих руках.

Джованни порывается что-то сказать. Бальони, приложив палец к губам, велит ему молчать, передает пузырек и выходит.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Джованни. Рассказни, выдумка завистника! Но... букет роз, пятна на коже? (*Разглядывает руку.*) Исчезли, ничего нет! У меня отменное здоровье. Я сильный, люблю жизнь, и жизнь любит меня... А если все это правда?.. Как узнать?.. (*Прохаживается в нерешительности. Внезапно кричит.*) Изабелла, синьора Изабелла! Поднимитесь, мне срочно надо с вами поговорить. (*Доносится голос Изабеллы: «Иду, сию же минуту!» В ожидании служанки Джованни разглядывает себя в зеркале и оцупывает себя. Входит Изабелла.*)

Изабелла. Что угодно синьору?

Джованни. Так, пустяки. Не подарите ли вы мне розу? Вроде тех, что принесли мне в день моего приезда.

Изабелла. Розу?

Джованни. Да, красную розу, покрытую росой...

Изабелла. Боже милостивый! Синьор влюбился.

Джованни. Свежесрезанную розу!

Изабелла. Сию секунду, синьор. (*Выходит.*)

Джованни. Пусть Бальони прав, и Беатриче напитана ядом, но я-то здоров и крепок. Воздух родного Неаполя, вспоивший меня, не даст мне пропасть. И если все окажется ложью, я отрежу вам язык, досточтимый доктор Бальони...

Изабелла (*с розой*). Самая красивая! Гляньте — как живая!

Джованни (*перебивая*). Спасибо, синьора Изабелла. (*Дает ей несколько монет.*) Теперь оставьте меня одного.

Изабелла. Пресвятая Дева, ишь какие капризы! Молодые — что сумасшедшие. (*Выходит.*)

Джованни (*с розой в руке*). Красная роза, она трепещет в моей руке, как маленькое сердце. Роза жаждущая. (*Дует на нее.*) Освежись, вдохни мою жизнь! (*Роза чернеет. Джованни в ужасе бросает ее на пол.*) Значит, правда, сушая правда! Мое дыхание убивает, в моей крови смерть! Я проклят,

отвергнут жизнью! Ядовитая стена отделяет меня от мира... и соединяет меня с чудовищем.

Беатриче (*из сада*). Джованни, Джованни! Солнце уже высоко, растения заждались нас!

Джованни (*в сомнении, потом решительно*). Иду! Только спрыгну, так я быстрее попаду в сад. (*Прыгает с балкона.*)

Беатриче. Едва стало светать, а я уж начала считать часы до нашей встречи. Без тебя сад теперь не кажется мне родным... Во сне я разговариваю с тобой, а ты мне не отвечаешь, ты говоришь на языке дерева и вместо слов роняешь плоды.

Джованни (*с беспокойством*). Какие именно?

Беатриче. Большие золоченые плоды — плоды сна. Разве я не говорила, что они мне приснились? (*Разглядывая растение.*) Видишь, цветок изменил окраску. А как пахнет! Его благоухание усыпляет сад.

Джованни (*с ожесточением*). Должно быть, это очень сильный наркотик.

Беатриче (*простодушно*). Не знаю. Многие свойства растений мне неизвестны. Не знает все их секреты и отец, что бы он ни говорил. И понятно, ведь эти растения — новые.

Джованни. Новые? Что ты имеешь в виду?

Беатриче. Разве ты не знаешь? Их раньше не было, эти виды выведены отцом. Он подправляет природу, обогащает ее, как бы вдыхает в жизнь новую жизнь.

Джованни. Я бы сказал иначе — обогащает смерть. Этот сад — ее арсенал. Каждый листик, каждый цветок, каждый корень — смертоносное оружие, орудие пытки. А мы спокойно прогуливаемся по дому палача и даже умилеяемся его творениям...

Беатриче. Не продолжай! То, что ты говоришь, ужасно!

Джованни. Есть ли что-нибудь ужаснее этого сада? Ужаснее нас? Несчастная, понимаешь ли ты, кто ты и чем жива? Чума, тиф, проказа, загадочные заболевания, которые покрывают тело панцирем из пунцовых язв, обволакивают лианами малярии, наполняя мозг пауками бреда... Глаза, которые средь бела дня лопаются, истекая гноем, зеленая пена у рта... Все здесь собрано. Этот сад — карбункул на теле города...

Беатриче. Ты не вправе меня винить, не выслушав!..

Джованни. Не притрагивайся ко мне! Гнилое яблоко, отравленное яблоко — вот кто ты. Мертвое существо, приукрашенное признаками жизни!

Беатриче. Я была одинока...

Джованни (*перебивает*). Как проклятый остров!.. И тогда ты выбрала меня. В соучастники. Радуйся: наше дыхание, перемешавшись, иссушит посевы и отравит колодцы. (*Пауза.*) Говори же, скажи что-нибудь!

Беатриче (*спокойно*). Я ждала этого. Знала все, что ты мне скажешь. Но я без ума от тебя и надеялась на чудо. С детства я жила одна и своей судьбой была довольна. Иногда стен этого дома достигал шум мира, его зовы меня возбуждали... И кровь моя текла быстрее... Но тут же при виде моего сада, опьяненная его пагубными ароматами, я забывала, что существуют кошки, лошади, розы, гвоздики, другие люди. К чему мне были яблоки, гранаты или груши, когда у меня были плоды моего дерева, похожего на райское? Отец уверил меня: в нем смерть стала жизнью.

Джованни. То, что ты зовешь жизнью, содержит болезни, безумство, смерть. Твое дыхание убивает.

Беатриче. Мое дыхание, но не мое сознание. Я была во власти отца и его бесконечных галлюцинаций. Подобно этим растениям, я опровергала природу, была вызовом ей: самые сильные яды текли в моих жилах, не причиняя мне вреда. Я стала одним из созданий отца — самым дерзким, самым ужасающим, самым...

Джованни. Гибельным.

Беатриче. Да, гибельным.

Джованни. И преступным.

Беатриче. Не моя в этом вина. Ничто живое меня не окружало, я не причинила зла никому, кроме самой себя. Никогда у меня не было ни кошки, ни собаки, ни канарейки. Никто не учил меня музыке, никто не играл со мной, не дрожал от страха вместе со мной в темном чулане. Я лишь росла, дышала — и созревала!

Джованни (*с нежностью и раздражением*). Как манящий плод, до которого нельзя дотрагиваться.

Беатриче. Я жила жизнью одинокого семечка — ушла в себя, словно посеянная в самое себя. В стороне от всех и вся.

Джованни. Как островок в стороне от морских путей, затерянный в бесконечном времени, обреченный на уединение, на который никогда не ступит нога человека...

Беатриче. Как деревце, которое дремлет, ни о чем не вспоминая, ничего не желая, крепко сидя в земле, пустив глубокие корни внутрь самого себя... И вот мир раскололся! Ты выдернул меня, как травинку, отрезал мои корни, подбросил в воздух. В небесах твоего взгляда я повисла над пустотой. С того часа я оторвана от своей почвы. Я бросилась бы к твоим ногам, но не сделаю этого — я могу отравить даже твою тень.

Джованни. Каждому из нас суждено видеть другого, не прикасаясь к желанному телу!

Беатриче. Я и тому рада, что гляжу на тебя. Мне хватит одного твоего взгляда. Я не хозяйка себе, я лишена собственного существования, тела, души. Твое сознание вошло в меня, нет такого уголка, такой щелочки во мне, куда бы ты не проник. Во мне места и для меня самой не осталось. Но я не желаю быть в себе, только в тебе. Позволь мне стать одной из твоих мыслей, пусть самой мимолетной! А потом забудь меня.

Голос Раппачини (*из глубины сада*). Дочь, отныне ты не будешь одинокой. Сорви цветок с нашего дерева и дай его любимому. Теперь он может трогать его без опаски. И может прикасаться к тебе. Благодаря моей науке и чудесному соответствию его крови ваши враждебные свойства примирились. Вы можете быть единым целым. В этом союзе вы — равные богам — будете шествовать по миру, ужасая всех своей неуязвимостью.

Джованни. Окруженные ненавистью, смертью? Как две гадюки, которые прячутся в расщелине?

Голос Раппачини. Нет, глупец! Как победители жизни, несокрушимые, величественные дарители смерти, окруженные изумлением и почти-тельным ужасом.

Джованни. Безумец, нас не утратит твоя заносчивость, мы избежим твоих сетей! Выход есть. Я владею ключом, который даст нам свободу. Беатриче, выпей это противоядие, не бойся — к тебе вернется твоя человеческая природа. (*Протягивает ей пузырек.*)

Голос Раппачини. Не пей, дочь моя, не пей. Противоядие для тебя — яд. Ты умрешь!

Джованни. Новая уловка старика. Испей снадобье без страха, отступись от чудовища. И станешь свободной.

Голос Раппачини. Наивный неуч! Элементы ее крови вобрали изобретенные мной яды, любое противоядие тут же ее умертвит. Дочь, не пей!

Беатриче. Отец, если ты обрек меня на одиночество, почему ты тогда не вырвал мои глаза? Я бы не увидела его. Почему не лишил меня слуха и речи? Не посадил меня в землю, как это дерево? Я бы не бегала за самой тенью Джованни! (*Обращаясь к нему.*) Я бы, слепая, глухая и немая, прикованная к земле цепями, бежала за тобой! Мои мысли оплетают твой облик, как вьюнки. Когтями и шипами я карабкаюсь на стену, раздирая тело в кровь, чтобы упасть к твоим ногам.

Джованни. Я открыл глаза и увидел, что посажен в этом саду, как проклятое дерево, лишенное соков земли...

Беатриче. Чтобы достичь истинной жизни, мы вслепую брели под сводами смерти. Но ты открыл глаза и испугался...

Джованни. У меня закружилась голова! И я попятился... Открой и ты глаза, посмотри на меня, взглядишь в жизнь!

Беатриче. Нет, я возвращаюсь в себя. Я вглядываюсь в себя, начинаю владеть собой. В потемках я ощупываю себя, в потемках проникаю в свое существо, спускаюсь к моим корням, трогаю исток моего рождения. В себе я начинаюсь, в себе оканчиваюсь. Меня окружает частокोल мечей, я неприкасаема.

Голос Раппачини. Ты слышишь, я плачу и умоляю тебя: не пей! Я отступлю, позволю природе обрести свое первородство. Я хотел сделать тебя сильнее самой жизни, а теперь унижу самое смерть.

Беатриче (*пьет из пузырька*). Последний прыжок — и я на другом берегу. Сад моего детства, отравленный рай, дерево, брат мой, сын мой, мой единственный любовник, мой единственный муж, укрой меня, обними меня, спаси меня, вбери мои кости, впитай мою память! Я падаю — лечу внутрь себя и никак не могу коснуться дна моей души!

Раппачини (*появляясь*). Дочь, почему ты меня покинула?

ЭПИЛОГ

Вестник. Одна за другой возникают фигуры Шута, Отшельника, Жрицы, одна за другой они появляются и исчезают, сходятся и расходятся. Ведомые то ли звездами, то ли бессловесной волей крови, они движутся навстречу самим себе, сталкиваются, соединяются на мгновение и снова разлучаются, теряясь во времени. Подобно размеренному движению солнца и планет, без усталости повторяют они свой танец, обреченные искать друг друга, обреченные находить и терять друг друга и снова искать друг друга без отдыха и остановки в бесконечных лабиринтах времени. Мир всем, кто ищет, мир тем, кто одиноко кружит в пустоте! Ибо нет ни вчера, ни завтра: все — сегодня, все — здесь, сейчас. То, что прошло, все еще проходит.

Занавес.

Хулио КОРТАСАР

НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ

Видно, совсем спятил сеньор Силикозо, коли надеется, что я дам ему хотя бы одного муравья. Это сейчас он просит одного, норovia покорить меня своей покладистостью, а поначалу (22 ноября, вечером) он ведь попросил куда больше, он хотел заполучить множество муравьев, легион муравьев, практически всех муравьев. Совсем спятил. Я не только не дам ему муравья, но, пожалуй, еще и прогуляюсь с насекомым перед домом этого Силикозо — пусть побесится. Сделаю-ка я вот что: сперва повяжу желтый галстук, после чего, выбрав самого стройного и шустрого из моих муравьев, выпущу его по галстуку прогуляться. Прогулка получится как бы двойная: я стану прогуливаться взад-вперед перед домом сеньора Силикозо, а мой муравей станет прогуливаться взад-вперед по моему галстуку. Я сказал — двойная прогулка? Правильнее сказать, бесконечное множество прогулок по спирали: ведь если

муравей прогуливается по моему галстуку, то мой галстук прогуливается вместе со мной, земля прогуливает меня по эллипсу, последний прогуливается по всей галактике, а та прогуливается вокруг звезды Бета Центавра, — тут-то сеньор Силикозо, считающий себя неподвижным, и увидит, выйдя на балкон, моего муравья: муравей со всеми своими ножками и антеннами будет прекрасно вырисовываться на моем желтом галстуке, который покажется бедолаге сверкающим мечом. Тут у него изо рта и носа пойдет похожая на макраме пена, а его жена и дочери прибегут к нему с нашатырем и начнут укладывать его на диван в гостиной. Их гостиную я хорошо знаю — не я ли провел в ней столько вечеров, гоня почти холодные чаи с этим жадным до насекомых семейством?

НАИКРАТЧАЙШИЙ МЕТРАЖ

Во время отпуска автомобилист объезжает горы в центральной Франции, тоскует по городу с его ночной жизнью. Девушка останавливает его общепринятым жестом автостопа, робко спрашивает: в сторону Бена или Турню? По дороге несколько слов, красивый смуглый профиль, изредка лицо в фас, скудные ответы, взгляд искоса по обнаженным бедрам на красном сиденье. За поворотом с асфальта в густые заросли. Поймать взглядом скрещенные на мини-юбке руки, а сама боится все больше. Под деревьями занавешенный ветвями глубокий грот, где вполне можно выскочить из машины, метнуться к другой двери, схватить за плечи. Девушка глядит, да нельзя же, решается выйти, а в лесу ни души. Едва рука обхватывает талию, чтобы увлечь за деревья, из сумочки пистолет — и к виску. После кошелек, много ли, заодно угоняет автомобиль, который бросит через несколько километров, не оставив даже отпечатки пальцев, — в этом деле площадь себе дороже.

СЛОВО ПРОСИТЕ, НО ПОСЛЕ НЕ ГОЛОСИТЕ

Когда профессор Ластра взял слово, оно так сильно укусило его, что руку едва не пришлось отнять. Не он один был в неведении, что, когда берешь слово, надо умело держать его за шерсть заправка, если, к примеру, речь идет о слове **волна**, но **жалобу** надо брать за лапы, в то время как **рукоятка** предполагает осторожное ухватывание пальцами снизу, как если бы речь шла о манипуляции с горячим хлебом, который надо быстро-быстро намазать маслом, проявив при этом незаурядную сноровку.

Что касается **сноровки**, то здесь действуют обе руки, одна сверху, другая снизу, как будто держишь младенца, которому без году неделя, и надо избежать резких движений, к которым руки обычно предрасположены. И если мы заговорили о **предрасположенности**, то ее берут сверху, как редиску, но всеми пальцами сразу, так как она претяжеленная. А раз уж речь зашла о **претяжеленной**, то брать следует снизу, как берут трещотку. А **трещотку** — сверху, как на базаре безмен.

Ну, а теперь, доктор Ластра, можете продолжать.

ОБЛАЧЕНИЕ ТЕНИ

Труднее всего окружить ее, определить ее пределы там, где на краю самой себя она переходит в сумрак... Надо выбрать ее среди множества других, отделить от света, которым любая тень, с ущербом для себя, тайно дышит. И тогда как бы нехотя приступить к ее облачению, не допуская лишнего телодвижений, чтобы не напугать и тем самым не развеять ее: в этой начальной стадии один неуместный жест — и пустота. Нижнее белье, прозрачный лиф, чулки, намечающие шелковистый подъем к ляжкам. В своем

недолгом неведении она многое дозволит, думая, что играет с другой тенью, но вдруг забеспокоится, когда юбка охватит талию и она ощутит пальцы, которые застегивают на ее груди блузку и касаются шеи, возносящейся в небо невидимым темным фонтаном. Она отвергнет желание увенчать ее париком из парящих белокурых прядей (трепещущим ореолом, окружающим несуществующее лицо), и надо поторопиться, чтобы успеть нарисовать ей огоньком сигареты рот, надеть перстни и браслеты, что и наделит ее руками, которые будут нерешительно сопротивляться, в то время как только что рожденные губы обронят едва слышный вздох существа, пробудившегося для жизни. Все еще не будет глаз — они возникнут с первым проблеском слез, а там тень начнет сама себя дополнять, чтобы лучше защищаться, стоять на своем. Недостижимо притягательной явится она в миг, когда та же самая страсть, что ее облачала, та же самая жажда увидеть совершенное ее возникновение из расплывчатого пространства начнет ее домогаться камышовою зарослью ласк, начнет обнажать ее, постигая в первый раз ее форму, которая напрасно захочет укрыться за вскинутыми руками и за мольбами, малопомалу уступая, падая в сверкании колец, царапающих темный воздух своими влажными светляками.

НЕТЕРПИМОСТЬ

Зевоту я терпеть не могу, особенно у полицейских. Выше моих сил видеть, как на углу зеваает постовой, — я подхожу и отвешиваю ему одну из тех пощечин, которые, в силу их взаимовозвратности, сравнимы с почтовыми голубями. Это уже стоило мне трех сломанных ребер и — в сумме — пятнадцать месяцев тюремной отсидки, не считая разрозненных пинков и подзатыльников. Однако я ничего не могу с собой поделать, так что единственный способ исключить подобные неприятности — это встречаться с такими полицейскими, которые, будучи увлечены своим делом, проявляют неподдельный интерес к уличному движению.

Со священниками хуже: когда я застаю зевающим священника, мое негодование не знает границ. Я не упускаю ни одной возможности побывать на мессе, из первых рядов я внимательно наблюдаю за священнослужителем. И когда замечаю, что он зеваает во время подъятия чаши (а я примечал это дважды), какая-то сверхъестественная сила выносит меня к алтарю — о последствиях не спрашивайте. Знаю, в курии находятся пухлые досье, где засвидетельствованы мои действия, а в некоторых храмах, едва я в них показываюсь, меня предают анафеме и дефенестрации.

Самому мне нравится зевать — это гигиенично, причем глаза увлажняются слезами, выносящими из организма разного рода нечистоты. Однако вряд ли я позволил бы себе это, сидя со стенографическим блокнотом в кабинете сеньора Розенталя, когда он диктует мне один из своих пресловутых отказов по любому вопросу, щедро одобренный паточкой. Иногда мне кажется даже, что сеньор Розенталь испытывает озабоченность от того, что я не зеваю, — может быть, потому, что моя сосредоточенность на работе вынудила его повысить мне зарплату? Я почти уверен, что, если однажды я произвольно зевну, сеньор Розенталь испытает неподдельное удовлетворение, — разумеется, мой повышенный интерес к работе его изрядно беспокоит. Однако я тщательно утаиваю зевки, которые с половины пятого теснятся в области нёба и горла, поэтому, когда по выходе из офиса я вижу зевающего постового, то, не в силах сдержать негодования, я спешу вклеить ему пару горячих. Любопытно, что делаю я это безо всякого удовольствия, как если бы, скажем, в этот момент я был сеньором Розенталем и одновременно постовым, то есть как если бы сеньор Розенталь бил меня по щекам посреди улицы. Я предпочитаю пинки, тюремное заключение или отлучение (когда это священник), потому что тогда речь идет персонально обо мне и только обо мне, не в пример случаям, когда пойдешь разбери, кто есть кто.

НОВОСТИ В ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ

In a Swiftian mood

Люди, пользующиеся кредитом в банке, заметили, должно быть, что автор этого сообщения отличается почти маниакальным знанием системы подземного транспорта в городе Париже, — его одержимость этой темой свидетельствует о наличии подоплеки, вызывающей определенное беспокойство. Однако можно ли умолчать о слухах, связанных с рестораном, курсирующим в метро, что вызывает разноречивые толки в самых различных кругах? Ни одно издание, даже самое дерзкое, не оповестило об этом возможную клиентуру, — власти хранят недопустимое молчание, и только нарастающий ропот *vox roruli* свидетельствует о наличии недовольства на этой довольно значительной подземной глубине. Недопустимо, чтобы подобное нововведение ограничивалось привилегированным периметром города, считающего, что ему все дозволено, — справедливо и даже необходимо, чтобы Мексика, Швеция, Уганда и Аргентина также знали *inter alia* об опыте, выходящем за чисто гастрономические рамки.

Идея должна была исходить от Махима, так как именно этому храму паразитизма была выдана лицензия на вагон-ресторан, открытый в полной, мягко говоря, тайне в середине нынешнего года. Декор и обслуживающий персонал соответствовали, без каких-либо отклонений от нормы, атмосфере любого железнодорожного ресторана, разве что еда здесь несравненно лучше за соответственно несравненную плату, — даже этих деталей достаточно, чтобы догадаться о клиентуре. Нет недостатка в тех, кто задается недоуменным вопросом о целесообразности устройства столь утонченного заведения в обстоятельствах столь замызганного вида транспорта, как метро, другие, среди них и автор этих строк, хранят укоризненное молчание, содержащее тот же вопрос, в котором со всей очевидностью заключен и ответ. На подобных вершинах западной цивилизации шикарный ресторан вряд ли может заинтересоваться «Роллс-Ройсом», уныло передвигающимся среди расшитых ливрей и низких поклонов, в то же время легко представить острое наслаждение, когда после спуска по грязным лестницам в метро и просовывания билетика в прорезь турникета, открывающего доступ на перрон, забитый бесчисленным количеством потных сдавленных толп, только что покинувших цеха и конторы и спешащих скорее добраться домой, — когда после ожидания среди беретов, фуражек и прочих сомнительного происхождения головных покрытий подкатывает наконец поезд с особым вагоном, который простые пассажиры могут видеть лишь в краткий миг его остановки. Но наслаждение не ограничивается этим первым необычным переживанием — за ним следуют другие, о чем мы не преминем рассказать.

Основополагающая идея столь блистательного предприятия уходит корнями в историю, начиная с посещений развратной Месалины римского квартала Субурры и кончая тайными прогулками Гаруна-аль-Рашида по закоулкам Багдада, не говоря уже о врожденной тяге истинной аристократии к запретным связям с отбросами общества и американской песней «Let's go slumming». Высшее парижское общество, принужденное в силу занимаемого им положения, передвигаться в личных автомобилях, самолетах и фешенебельных вагонах, открывает для себя нечто соблазнительное на лестницах, теряющихся в подземной глубине, которыми оно пользовалось лишь в крайних случаях и с нескрываемым омерзением. В эпоху, когда французские рабочие утрачивают боевой дух, снискавший им такую славу в истории нашего столетия, предпочитая крутить баранку собственного автомобиля либо уткнуться в экран телевизора в немногие свободные часы, кого может шокировать то, что буржуазия при деньгах отворачивается от вещей, которые становятся угрожающе доступными всем, и ищет точку наибольшего — с виду — приближения к пролетариату при одновременном отчуждении от него в гораздо большей степени, нежели на вульгарной городской поверхности,

что не без иронии спешат отметить интеллектуалы, вышедшие из их собственной среды. Само собой разумеется, что concessionеры ресторана вкупе с клиентами с негодованием отвергли бы идею, которая хоть каким-то образом выглядела бы иронической, в конечном счете достаточно накопить деньги — и ты можешь посетить любой ресторан, где тебя обслужат как любого другого клиента, к тому же всем хорошо известно, что у многих нищих, спящих на скамейках в метро, денег пруд пруди, как у цыган и левых вожakov.

Разумеется, администрация ресторана учитывает эти изменения, но отнюдь не поэтому она прекратила принимать меры, которых негласно требует рафинированная клиентура, учитывая, что деньги не являются единственной целью в подобном заведении, опирающемся на порядочность, хорошие манеры и неперемное пользование дезодорантами. Мы даже осмелимся утверждать, что эта вынужденная селекция составила существенную проблему для руководителей ресторана, и было куда как непросто найти простое и одновременно жесткое решение. Известно, что перроны метро открыты для всех и что между вагонами первого и второго класса нет сколько-нибудь значительной разницы, так что инспекторы обычно манкируют надзором, и в часы пик, хотя вагон первого класса набит до отказа, никому не придет в голову разглагольствовать, имеют или не имеют пассажиры право заполнять его. Вот почему препровождение клиентов в ресторан, меры для облегчения их прохода в вагон представляют определенные трудности, которые до сегодняшнего дня как-то преодолевались, хотя ответственные за это не выказывают особого интереса к тому, чтобы ресторан в момент остановок поезда на каждой станции обязательно наполнялся до отказа. В общих чертах метод заключается в том, чтобы держать двери закрытыми, пока публика покидает или заполняет обыкновенные вагоны, и открывать их за несколько секунд до отправления, — для этого вагон-ресторан снабжен специальным звуковым устройством, оповещающим о моменте открытия и закрытия дверей для удобства выходящих и входящих сотрапезников. Данная операция должна осуществляться без каких-либо заминок, для чего дежурные ресторана действуют синхронно с дежурными по станции: в считанные секунды они образуют шпалеру по обе стороны клиентов, препятствуя проникновению в салон ресторана какого-нибудь чужака, наивного туриста или злокозненного политического провокатора.

Понятно, что стараниями частной рекламы, оповещающей лишь узкий круг клиентов, последние знают, что должны ждать поезд в определенном месте перрона, которое, дабы околпачить прониры, меняется каждые пятнадцать дней, о чем тайно сообщается на плакатах, рекламирующих на стенах перрона сыры, моющие средства и минеральную воду. Хотя это и требует больших расходов, администрация предпочла информировать клиентов об этих изменениях через посредство специального бюллетеня вместо того, чтобы помещать в соответствующих местах указатели и другие необходимые оповещения, учитывая, что многие молодые люди из безработных и празднующихся, использующие метро как ночлежку, не преминут потолкаться возле вагона-ресторана хотя бы для того, чтобы поглазеть вблизи на шикарную отделку, что, несомненно, может пробудить их аппетиты самого низкого свойства.

Информационный бюллетень содержит и другие столь же необходимые для клиентуры указания, крайне важно, чтобы последняя знала линию, по которой будет курсировать ресторан во время завтрака и ужина, линия к тому же каждодневно меняется с целью обогатить наилучшим образом впечатления посетителей. Поэтому, помимо перечня фирменных блюд шеф-повара, публикуется точное расписание на ближайшие пятнадцать дней, и хотя ежедневная смена линии усложняет для администрации высадку и посадку клиентов, это позволяет избежать того, чтобы внимание обычных пассажиров угрожавшим образом не сосредоточивалось на двух гастрономических периодах дня. За исключением получающих бюллетень, никто не может

знать, пройдет ли ресторан по станциям линии от Мари де Монтрё до Порт де Севр или по линии, соединяющей Шато де Винсенн с Порт де Ноли, и к наслаждению, которое клиенты ресторана испытывают от посещения разнообразных объектов метро и от знакомства с различиями, не всегда стертыми, между станциями, прибавляется такой важный элемент, как безопасность, учитывая непредвиденное воздействие, которое может произвести постоянное появление вагона-ресторана на станциях, посещаемых одними и теми же пассажирами.

Те, кто трапезничал на любой из линий, сходятся во мнении, что к наслаждению изысканной кухней добавляется приятный и куда как полезный социальный опыт. Усаженные напротив окон для непосредственного обозревания перрона клиенты имеют возможность наблюдать спектакль, каждый раз иной формы, напряжения и ритма, в котором действует трудолюбивый народ, спешащий к своим повседневным занятиям или поспешающий в конце трудового дня к доброму заслуженному отдыху, порою задремывающий на ходу в толчее перрона. Чтобы содействовать более естественному характеру этих наблюдений, бюллетень администрации рекомендует своей клиентуре не глядеть на перрон безотрывно — предпочтительнее делать это между двумя укусами и глотками или в паузах разговора: избыточное исследовательское рвение может вызвать неожиданную и, разумеется, незаслуженную посетителями реакцию части пассажиров, слабо развитых в культурном плане и не могущих понять завидную широту взглядов, которой наделены современные демократии. В частности, следует избегать пристального изучения перрона, когда на нем преобладают группы рабочих и студентов, и, наоборот, можно обозревать перрон без риска, когда там находятся лица в возрасте и предпочитающие со вкусом одеваться, — будучи похожими на посетителей вагона, они даже могут приветствовать их, давая понять, что их нахождение в ресторане является поводом для национальной гордости, если не положительным свидетельством прогресса.

В последние недели в связи с тем, что сведения об этом новом виде сервиса проникли почти во все слои городской общественности, на станциях, где останавливается вагон-ресторан, замечена большая активизация полицейских сил, что свидетельствует о внимании официальных кругов к столь интересному начинанию. Больше всего полиция активизируется в моменты выхода и входа, особенно когда речь идет об одиночках или парах: в этих случаях, после того как образуется шпалера из дежурных ресторана и метро, вооруженные полицейские, число которых может варьироваться, вежливо препровождают клиентов к выходу из метро, где их почти всегда ожидает автомобиль, так как эта клиентура придает большое значение скрупулезной подготовке своих приятных гастрономических вылазок. Эти предосторожности более чем понятны: во времена, когда самое безответственное и неоправданное насилие превращает в джунгли не только нью-йоркскую, но порой и парижскую подземку, разумная предусмотрительность властей заслуживает всяческих похвал не только со стороны посетителей ресторана, но и со стороны пассажиров в целом, которых не очень-то прельщает возможность стать случайной жертвой грязных побуждений со стороны провокаторов или умственно больных людей, по преимуществу социалистов и коммунистов, а то и анархистов, — побуждений, коим нет конца, как и надеждам бедняков на лучшую жизнь.

О ГРАФОЛОГИИ КАК ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ

Вышло так, что некоего господина осенила мысль: ежели каждый почерк в своем комарином порхании сохраняет черты характера, а следовательно, и жизни той или иной личности, ничем по существу не отличающейся от бороздок граммофонной пластинки (особенно когда характер тверже алмаза), то достаточно скопировать почерк Наполеона, и начнется обратный

процесс, так что вместо дворжаковского квартета, востребованного этой спиралью с моторчиком, мы получим Бонапарта, который после пяти месяцев правописания собственной персоной выходит из своего дома напрямик на rue de la Convention и тут же на углу останавливается поглядеть на четырех метельщиков, углубленных в свое занятие, — само собой, легендарный гипнотизм аустерлицкого орла со страшной силой воспламенит метельщиков, а с ними и торговку яйцами у соседних ворот, которая тут же превратится в солдатку, что уж говорить о нескольких священниках, трех каменщиках и паре приказчиков из ближайшей скобяной лавки, бегущих строиться перед Императором, — таким образом немногочисленное, но избранное и, что немаловажно, самоотверженное войско начинает продвижение по rue de Vaugirard, причем многочисленные жители квартала оторопело взирают из окон на этот спектакль, взволнованно и шумно перекрикиваясь до того момента, пока Император не поднимет взгляд и не вскинет руку, после чего со всех сторон начинают сыпаться первые бумажные листки, знаменующие большой триумф, — явное свидетельство того, что мы уже в результате обретаемся в самой что ни на есть второй половине двадцатого века, когда внешние признаки идолопоклонства и праздничного настроения значительно изменились благодаря демократическому и повсеместно распространенному американскому образу жизни.

Само собой разумеется, что наполеоновская колонна, уже достигнувшая rue de Rennes, вызвала определенную озабоченность префектуры, вследствие чего две тюремные машины с непременным наблюдателем от Красного Креста выезжают навстречу войску, которое в своем продвижении весьма ощутимо возросло в результате крикливых речей с безукоризненным корсиканским произношением на каждом пятом углу и которое, похоже, готово перейти Сену с целью захвата правого берега, где банковские и оптовые коммерческие учреждения, оповещенные по радио и через громкоговоритель с вертолета, организуют первую линию обороны и посылают телеграммы-молнии в Организацию Объединенных Наций, папе римскому и в Международный валютный фонд, разумеется, с оплаченным ответом. Одного приказа Императора достаточно, чтобы пламенный батальон кадетов, сформированный из подростков лица с boulevard Pasteur, в считанные минуты подавил ленивое сопротивление пятидесяти полицейских, посланных на линию огня испытывающим сомнения префектом, который продолжает подозревать, что все это студенческий розыгрыш. Лишь после того, как cocktail Molotov, сварганенный водопроводчиком с rue des Canettes (тут же произведенный в brigadier), поднимает на воздух пожарную машину с частью ее команды и двумя обывательницами, которые на чем свет стоит поносили брандспойты, власти начинают понимать, насколько накаляется обстановка, в особенности потому, что значительная часть гражданского населения спешит под знамена Императора, — последний показывается в районе шлюзов в мундире с широкими отворотами и в треуголке, которую, пристроившись на бегу, всучил ему старьевщик — до этого почти прикованный к постели паралитик, а с этого момента полковник. Атака на мосты через Сену проводится по принципу клещей и кусачек и сверх того молниеносно, так что традиционная в общем-то оборона муниципальных гвардейцев разнесена в пух и прах пулеметным огнем парашютного подразделения, перешедшего со всем вооружением и боеприпасами на сторону Наполеона, от выступления которого меньше всего ожидалось, что оно превратится в самый что ни на есть мятеж. Сторонники Императора продвигаются по мостам Solferino, Royal и Caroussel, пал Louvre, завидев обуреваемые сомнениями штурмовые механизмы и ракеты типа «земля — земля» западногерманского производства, пали сады Tullerias, где дети, пускавшие кораблики в большом фонтане, спешат к герою с букетами цветов и словно с цепи сорвавшимися матерями, пала ночь на армию-победительницу, ставшую походные палатки и шумно веселящуюся под каштанами, — уже распространилась весть, будто наутро Император начнет продвижение по большим бульварам, где основные силы противника и отборные

резервные части займут позиции для последнего и безнадежного отпора. Ответ папы приходит за полночь: «*Dominus vobiscum*»*, — самая элементарная гуманность требует перемирия, дабы вынести с поля боя павших с той и с другой стороны и созвать дипломатическую конференцию, которая могла бы перековать мечи на (следует достаточно длинный текст). Усталый, но потешивший свою гордыню Наполеон отвечает согласием, не ведая, что в это самое время некое лицо в Лондоне начинает труднейшее состязание со временем, горбясь над пожелтевшими письмами, поспешно конфискованными у весьма уважаемых коллекционеров, — его окружают строгие чиновники, врачи, которые измеряют ему температуру и давление, диетологи, которые — для успешного преодоления сна — вкалывают ему в ляжку животворные протеины. Сорок восемь часов спустя, отвергая рассчитанные на отсрочку маневры канцлеров и Совета Безопасности, Император отдает приказ возобновить наступление, не ведая, что самолетом в Le Bourget только что доставлен человек, заряженный непоколебимой волей, который решительно и молчаливо спускается по трапу и после почти презрительного приветствия становится во главе ожидающих его появления войск. У ворот Saint-Denis императорская армия столкнется с Железным Герцогом, некто Grouchy опоздает, некто Cambonne скажет нечто приличествующее при подобных обстоятельствах, имперский орел увидит заход солнца с высоты Галерей Лафайета. Владелец этого достославного центра в настоящий момент изучает целесообразность изменения названия на, скажем, Ватерлоо; останавливают его лишь врожденное уважение, некоторые разбросанные по Парижу памятники и иные подобного рода вещи. Есть надежда его переубедить.

СИЕСТЫ

Когда-нибудь в безоблачные времена припомнится, как почти ежевечерне тетушка Адела слушала эту пластинку с отдельными голосами и целыми хорами и какая печаль наплывала, когда возникали голоса — женщина и мужчина, а после все вместе выпевали непонятные слова, — зеленая такая этикетка с объяснением для взрослых: «*Te lucis ante terminum. Nunc dimittis*»**, тетушка Лоренса говорила, что это латынь, а поется о Боге и вроде того, и Ванда тогда уставала не понимать и быть печальной, как это бывало дома у Тереситы, когда та ставила пластинку с Билли Холидей, и они слушали и могли курить, потому что мать Тереситы («Веснушчатая») была на работе, а отец отлучался куда-то по делам или спал свою сиесту, и они могли спокойно покуривать, однако слушать Билли Холидей — это была печаль красивая, так что хотелось лечь и плакать от счастья, настолько славно было в комнате у Тереситы при закрытом окне, в сигаретном дыму слушать Билли Холидей. Дома ей запрещали петь эти песни, потому что Билли Холидей была негритянка и умерла — запомни! — от чрезмерного употребления наркотиков; тетушка Мария заставляла Ванду лишний час сидеть за пианино и оттачивать арпеджио, а тетушка Эрнестина тут же заводила свои речи про нынешнюю молодежь. «*Te lucis ante terminum*», — гремело в гостиной, где тетушка Адела шила, освещенная стеклянным шаром с водой, вбивавшим (вот прелесть!) весь свет настольной лампы. По крайней мере ночью Ванде никто не докучал, она спокойно спала с тетушкой Лоренсой в одной постели, где не было ни латыни, ни лекций о вреде курения и уличных недоумках; тетушка Лоренса, помолясь, гасила свет, и некоторое время они говорили, почти всегда о псе Грокке, и, когда Ванда засыпала, она чувствовала успокоение, защищенная от печали этого дома теплом тетушки Лоренсы, которая тихо посапывала, почти как Грокк, горячая, как бы свернувшаяся калачиком и довольно посапывающая, точь-в-точь Грокк на его коврик в столовой.

* Господь с нами (лат.).

** «Тебе до скончания света. Ныне отпускаешь» (лат.).

— Тетушка Лоренса, сделай что-нибудь, чтобы не видеть человека с искусственной рукой, — взмолилась Ванда той ночью, когда ей привиделся кошмарный сон. — Ну, пожалуйста, тетушка Лоренса, прошу тебя!..

После она рассказала об этом Тересите, и Тересита долго смеялась, но Ванде было не до смеха, да и тетушка Лоренса не смеялась, когда вытирала ей слезы, поила водой и потихоньку успокаивала, помогая отрешиться от образов — от воспоминаний прошлого лета вперемешку с этим кошмаром: человек, напоминавший мужчин из альбома Тереситино отца, слился с человеком в черном, который в сумерках подстерегал ее в тупике, — он медленно надвигался на нее, пока не остановился и не придвинул к ней лицо, залитое всем светом полной луны, в очках с металлической оправой и тенью от шляпы-котелка, надвинутой на лоб, а там — движение правой руки, вскинутой по направлению к ней, рот с тонкими губами-лезвиями, ее вопль и бегство, спасшие Ванду от страшной развязки, стакан с водой и ласка тетушки Лоренсы перед медленным пугливым возвращением в сон, который продлился до полудня, слабительное тетушки Эрнестины, жидкий суп и наставления, снова дом и «Nunc dimittis», а затем — разрешение поиграть с Тереситой, притом вызывает большие нарекания то, как мать воспитала ее, проказница она этакая, ведь такому тебя учила, да уж ладно, лучше не видеть твое изможденное лицо, развлечься немного тебе на пользу, раньше-то девочки в сестру вышивали или разучивали сольфеджио, в то время как нынешние...

— Не то что сумасшедшие, а прямо идиотки, — сказала Тересита, давая ей сигарету из тех, что стянула у отца. — Ну и тетушки у тебя, голубка. Значит, дали тебе слабительное? Ты сходила или нет еще? Вот, глянь-ка, что мне одолжила Чола, все осенние моды, но сперва погляди на фотографии Ринго, ну, не лапочка ли, видишь, какая на нем открытая рубашка? А на груди волосики, видишь?

Потом она хотела узнать подробности, но Ванде было нелегко продолжить рассказ сейчас, когда внезапно ей снова привиделась картина ее бегства, безумного метания по тупику, и это не было кошмарным наваждением, хотя очень походило на конец ужасного сна, который она забыла оттого, что с криком проснулась. Возможно, до этого, в конце прошлого лета, она бы и рассказала все Тересите, но сейчас промолчала из опасения, что та наябедничает тетушке Эрнестины, — Тересита все еще захаживала к ним, и тетушки выведывали у нее всякое разное с помощью поджаренных хлебцев и сгущенного молока, покуда не поругались с ее матерью и не перестали пускать Тереситу, хотя иногда и позволяли Ванде по вечерам навещать ее, когда ждали гостей или хотели побыть одни. Сейчас-то она могла бы рассказать Тересите все как есть, но теперь это было ни к чему, потому что кошмар ничем не отличался от всего остального, или, верней сказать, остальное было частью кошмара, — настолько напоминало альбом Тереситино отца, и ничто на самом деле не оканчивалось, а было как на этих улицах в альбоме, которые терялись вдаль точно так же, как в кошмаре.

— Тересита, открой немного окно, жарко ведь.

— Не в себе? Моя старуха тут же допрет, что курили. У моей Веснушчатой тигриный нюх, в нашем доме ходи да поглядывай.

— Так прямо-таки и забьют тебя палками!

— А то! Ты-то домой — и все дела. Все та же пай-девочка.

Но Ванда теперь не была пай-девочкой, хотя Тересита все еще бросала ей в лицо это оскорбление, правда, все реже с того вечера, когда тоже была духота, и они говорили про всякое такое разное, и Тересита потом показала ей это всякое такое разное, и все стало другим, хотя Тересита порой и дразнила ее пай-девочкой, когда сердилась.

— Никакая я не пай-девочка, — сказала Ванда, выпуская дым через нос.

— Ладно, ладно, не заводись. Ты права, душно, как перед грозой. Давай-ка разденемся и выпьем вина со льдом. Я тебе вот что скажу, все это присни-

лось тебе из отцовского альбома, хоть в нем и нет никакой искусственной руки, но сны, они такие, сама знаешь... Глянь, как они у меня развиваются.

Под блузкой не было ничего выдающегося, но обнаженные — они приобретали значительность, делали ее женственной, придавали ее лицу новое выражение. Ванда постыдилась раздеваться и оголять грудь, где все это едва только намечалось. Одна из туфель Тереситы улетела на кровать, другая скрылась под диваном. Это верно: тот походил на одного из мужчин в альбоме Тереситино отца — эти мужчины в черном повторялись почти на всех картинках, Тересита показывала ей альбом в один из вечеров, когда отец только что вышел и дом был таким же пустынным и безмолвным, как залы и дома в альбоме. Нервно хихикая и толкаясь, они поднялись в библиотеку на антресоли, куда Тереситины родители иногда приглашали их, как заправских сеньорит, на чай, и в эти дни не удавалось ни покурить, ни выпить вина, потому что Веснушчатая тут же догадалась бы, вот они и пользовались случаями, когда оставались в доме совсем одни, и тогда взбегали, крича и толкаясь, по лестнице, как в этот раз, — Тересита толкнула Ванду, так что та плюхнулась на синее канапе, а сама пригнулась и, стащив с себя трусики, осталась голой перед Вандой, и обе стали глядеть друг на дружку с какой-то робкой странной улыбочкой, пока Тересита не расхохоталась и не сказала, неужто она не знает, дура, что здесь растут волосики, как на груди у Ринго. «Ну, и у меня есть, — сказала Ванда, — еще тем летом появились». Точно так же, как в альбоме, где у всех женщин было, и довольно густо, почти на всех картинках, на которых они удалялись или приближались, сидели, лежали на лугу или в залах ожидания на станциях («Прямо сумасшедшие», — считала Тересита), и на этой тоже, где они глядели друг на друга большими глазами и как всегда при полной луне, хотя ее и не видно было на картинке, — все всегда происходило в местах, где было полнолуние, и женщины разгуливали голыми по улицам и станциям, сталкиваясь, словно бы не видя друг друга и пребывая в ужасающем одиночестве, а порой мужчины в черных костюмах или в серых пыльниках глядели, как они сближаются и удаляются, иногда же, не снимая котелки, рассматривали в микроскоп редкие камни.

— Ты права, — сказала Ванда, — очень смахивает на мужчин из альбома, у того тоже были шляпа-котелок и очки, он был, как эти, только с искусственной рукой, и когда он тогда...

— Кончай с искусственной рукой, — сказала Тересита. — Весь вечер будешь так? Сперва на духоту жаловалась, а как раздеваться, так я?

— Мне в туалет надо.

— Так и есть, слабительное! Ну, тетушки твои, скажу я тебе! Давай быстрее, а на обратном пути захвати еще льда, ты погляди, как Ринго за мной шпионит, ангел мой ненаглядный. Что, любовь моя, нравится мой животик? Получше гляди, да потрись, так, вот так, ой, Чола меня убьет, когда увидит фотографию измятой.

Ванда решила задержаться в туалете, чтобы не бегать снова, она испытывала болезненное чувство, злилась на слабительное, да и Тересита смотрела на нее как на маленькую, когда она сидела на синем канапе, и насмеялась над ней, как в тот раз, когда показывала ей всякое разное, и Ванда ничего не могла поделаться с лицом, зардевшимся от смущения; в тот вечер все стало по-другому: сперва тетушка Адела позволила ей остаться подольше у несносной Тереситы, все-таки это неподалеку, а у меня визит директрисы и секретарши из школы Пресвятой Девы Марии, при нашей-то тесноте отправайся-ка играть к своей подружке, только на обратном пути гляди в оба, ступай прямиком домой и чтоб никакого там с Тереситой кокетства на улице, этой нравится шляться где ни попадая, я ее насквозь вижу, а после снова курение сигарет с золотым фильтром и необычным ароматом, забытых Тереситиным отцом в письменном столе, и под конец Тересита показала ей все это, — трудно было припомнить, как все произошло, то ли они говорили об альбоме, то ли разговор об альбоме был в конце весны, в тот вечер они бы и одеты теплее, чем следовало, на Ванде был желтый свитерок, тогда еще лето

не наступило, затем они не знали о чем говорить, поглядывали друг на дружку и смеялись, почти молча вышли на улицу, чтобы пройтись около станции, обойдя стороной угол дома, где жила Ванда, потому что тетушка Эрнестина обязательно заприметила бы их, как бы ни была занята беседой с директрисой и секретаршей. Они погуляли немного по перрону станции, словно в ожидании поезда, поглядывая на маневренные паровозы, которые заставляли содрогаться платформы и застилали черным дымом небо. Тогда-то, вернее, когда они уже возвращались и пора было расставаться, Тересита сказала, словно невзначай, чтобы она была поосторожней с этим, так, вскользь, и Ванда, которая хотела все забыть, покраснела, а Тересита рассмеялась и сказала, что об этом вечере никто не может знать, но что ее тетушки почище Веснушчатой, и, если она будет неосторожной, в один прекрасный день они ее подловят, и уж тогда — знаешь сама. Они снова стали смеяться, ведь верно, что это должна быть тетушка Эрнестина, она-то и застучает ее на исходе сестры, хотя Ванда и была уверена, что в этот час никто не войдет в ее комнату, все отправились спать и на дворе слышалось позвякивание цепи Грокка да жужжание ос, разозленных зноем и духотой, но едва она успела натянуть простыню до подбородка и притвориться спящей, — не тут-то было — у изножья кровати уже стояла тетушка Эрнестина; не сказав ни слова, она рывком сдернула с нее простыню, уставив взгляд на пижамные панталоны, запутавшиеся у нее в щиколотках. У Тереситы дома они запирали дверь на ключ, при всем при том, что Веснушчатая им это запрещала, и тетушка Мария с тетушкой Эрнестиной вечно пугали пожаром и что запертые дети погибают в пламени, но не это сейчас занимало тетушку Эрнестину и тетушку Аделу, — они молча приблизились, Ванда попыталась изобразить на лице недоумение, но тетушка Адела схватила ее за руку и вывернула ее, а тетушка Эрнестина дала ей пощечину, потом другую и третью, Ванда в слезах защищалась, уткнувшись лицом в подушку, крича, что не делала ничего плохого, что у нее зачесалось, вот и... Но тетушка Адела сняла тапочку и начала шлепать ее по ягодицам, удерживая ей ноги, и обе тараторили, что дегенератка она, и что наверняка Тересита, и что молодежь, и что неблагоприятная, и что заболевания, и что сольфеджио, и что запираются, но в особенности что дегенерация и заболевания, пока в спальню не поднялась тетушка Лоренса, встревоженная криками и плачем, и тогда наступил покой, осталась только тетушка Лоренса, скорбно глядевшая на нее, она не утешала и не ласкала ее, тетушка Лоренса всегда так, она дает ей стакан с водой и защищает от человека в черном, шепча ей на ухо, что она будет крепко спать и у нее теперь не будет никаких кошмаров.

— Ты съела слишком много рагу, я видела. Рагу на ночь — тяжелая пища, как апельсины. Ну, да ладно, все обошлось, спи, я с тобой, тебе больше не привидится кошмарный сон... Чего ждешь, раздевайся. Снова захотела в туалет? От тебя кожа да кости останутся, твои тетушки сумасшедшие...

— Не так уж и жарко, чтобы раздеваться, — сказала Ванда в тот вечер, снимая платье.

— Сама первая заладила о жаре. Дай мне лед и принеси бокалы, тут еще осталось сладкое вино. Вчера Веснушчатая увидела бутылку, и ее аж перекошило. Видела бы ты ее лицо! Она ничего не говорит, только лицом играет, знает, что я это вижу. Хорошо еще, старик думает только о делах, ими только и занят все время. А у тебя тоже волосики, только мало, ты все еще на девочку похожа. Я тебе в библиотеке покажу одну вещь, только никому ни гу-гу, поклянись.

Тересита нашла альбом случайно, стеллаж запирался на ключ, — твой папочка, дочка, хранит там научные книги, они не для твоего возраста, — вот идиоты, в тот раз они оставили его полуприкрытым, и там были словари и одна обернутая книга со скрытым корешком, чтобы не привлекала внимания, и еще другая с анатомическими картами, которые отличались от школьных, они были со всеми деталями, но как только она вытащила альбом, анатоми-

ческие карты перестали ее интересовать, потому что альбом был вроде этих фотороманов, да такой необычный, надписи, жаль, были на французском, так что понять можно было лишь отдельные слова, la serenite est sur le point de basculer, serenite означало спокойствие, но вот basculer — кто его знает, что он означал, bas — это вроде бы чулки, у Веснушчатой были les bas Dior, но вот culer: чулки кульера не означали ничего, а женщины на картинках были всегда голые или в одних юбках и туниках, и чулок на них не было, может, culer было чем-то совсем другим, Ванда подумала о том же самом, когда Тересита показывала ей альбом, и они хохотали, как безумные, им было славно вечерами сиесты, когда их оставляли дома одних.

— Не так уж и жарко, чтобы раздеваться,— ответила Ванда.— Тоже придумаешь. Да, я сказала про жару, но ведь не про это...

— Выходит, тебе не нравится быть, как эти женщины? — пошутила Тересита, вытягиваясь на канapé.— Погляди на меня и скажи: не похожу ли я на эту с той картинке, где все как из стекла, а вдали по улице идет маленький человечек? Снимай трусики, идиотка, зачем портить настроение?

— Эту картинку я не помню,— сказала Ванда, нерешительно кладя пальцы на резинку трусиков.— Ах, да, теперь вспоминаю, на чистом небе лампа, а в глубине синий квадрат с полной луной. Все синее-синее, верно...

Никому не известно, почему тогда они дольше обычного разглядывали эту картинку, хотя были и другие, более волнующие и странные, например, с Orphee, который в словаре оказался Орфеем, отцом музыки, который спустился в преисподнюю, при всем при том, что на картинке не было никакой преисподней, а только улица с домами из красного кирпича, немного напоминая начало того кошмарного сна, хотя потом все изменилось, и снова был переулочек и человек с искусственной рукой, и по улице с домами из красного кирпича шел голый Орфей, Тересита тут же его ей показала, хотя сначала Ванда подумала, что это была еще одна голая женщина, но Тересита прыснула и ткнула пальцем в то самое место, и Ванда увидела, что это очень молодой мужчина, настоящий мужчина, и они начали рассматривать и изучать Орфея, любопытствуя, кто эта женщина в саду, стоящая спиной, и почему она стоит спиной, и молния на ее юбке наполовину расстегнута, как будто только так и можно прогуливаться по саду.

— Это не молния, а украшение,— сделала открытие Ванда.— С виду молния, но если ты приглядишься, то увидишь, что это гарус, похожий на молнию. Что непонятно, это почему Орфей идет по улице голый, а женщина в саду за оградой стоит спиной, странно как-то. Орфей же с этой своей белой кожей и бедрами смахивает на женщину. Конечно, эта штука его...

— Поищем другую картинку, где он поближе,— сказала Тересита.— Ты их видела голыми?

— Нет, ты что! — ответила Ванда.— Я знаю, что к чему, но ты что, откуда я их могла видеть? У них, как у маленьких, только побольше, верно? Как у Грокка, но он собака, это не одно и то же.

— Чола говорит, когда они влюбляются, у них это вырастает раза в три, и тогда происходит оплодотворение.

— Чтобы иметь детей? Оплодотворение это самое и есть или как?

— Совсем тупая, крошка. Погляди, вот еще, почти та же улица, но с двумя голыми женщинами. Зачем этот несчастный рисует столько женщин? Видишь, они проходят, не замечая друг друга, и каждая идет в свою сторону, совсем чокнутые, голые посреди улицы, и никого, кто бы протестовал, такого нигде не может быть. А здесь и мужчина есть, но он одетый и прячется в доме, видны только лицо и рука. А тут на женщине одни ветки и листья, так и есть, что сумасшедшие...

— Больше не приснятся кошмары,— пообещала тетушка Лоренса, лаская ее.— Сейчас усни, а кошмары больше не приснятся.

— У тебя тоже волосы, только мало,— сказала Тересита.— Странно, ты все еще похожа на девочку. Дай мне прикурить. Иди ко мне.

— Не надо,— сказала Ванда, желая высвободиться.— Что ты делаешь? Я не хочу, отвяжись.

— Ну, и глупая же ты. Гляди, сейчас увидишь, я покажу как. Да ничего я тебе не сделаю, не дергайся и все узнаешь.

Вечером тетушки отправили ее спать, не позволив поцеловать их, ужин был как на картинках, где царило безмолвие, одна только тетушка Лоренса время от времени поглядывала на нее и подавала ей еду, вечером издали донеслась до нее пластинка тетушки Аделы, а долетевшие голоса словно порицали ее, «*Te lucis ante terminum*», она твердо решила покончить жизнь самоубийством, и было щемяще приятно плакать, воображая, как тетушка Лоренса находит её мертвой, и всех мучают угрызения совести, пожалуй, она покончит с собой, бросившись в сад с крыши, или разрежет вены бритвой тетушки Эрнестины, но пока подождет с этим, потому что надо же написать прощальное письмо Тересите, в котором она простит ее, и другое письмо — учительнице географии, та подарила ей переплетенный атлас, все-таки хорошо, что тетушка Эрнестина и тетушка Адела не ведают о ее с Тереситой посещениях станции, где они глядели на составы, и о том, что по вечерам они пили вино и курили и в особенности что вечером, когда она возвращалась из Тереситино дома, вместо того чтобы перейти улицу, как ей было велено, она обошла квартал, и человек в черном подошел к ней и спросил, который час, как в том кошмаре, а может быть, это и впрямь был кошмар, о, Боже правый, как раз у входа в тупик, который заканчивался поросшей плющом стеной, но и тогда она не догадывалась (а может быть, это и впрямь был кошмар), что человек прячет руку в кармане черного костюма, пока он не начал очень медленно вытаскивать ее, спрашивая, который час, а рука была как бы из розоватого воска с твердыми полусомкнутыми пальцами, она застряла в кармане пиджака и постепенно высвобождалась маленькими рывками, и тогда Ванда бросилась бежать подальше от входа в тупик, но почти забыла про бег, про бегство от человека, который хотел загнать ее в глубь тупика, тут словно был провал в памяти — остался только ужас перед искусственной рукой и ртом с губами-лезвиями, не было ни до, ни после, и когда тетушка Лоренса дала ей стакан воды, — в кошмарном сне тоже не было ни до, ни после, и ужаснее всего, что она ведь не могла сказать тетушке Лоренсе, дескать, это был не только сон, — она теперь и сама не была уверена и очень боялась, что об этом узнают, и все это, с Тереситой вместе, перемешалось, а единственно верным оказалось, что тетушка Лоренса была с нею рядом в кровати, укрывала ее своими объятиями и обещала спокойный сон, глядя ей волосы.

— Что, нравится, правда? — спросила Тересита. — Можно еще и так, видишь.

— Не надо, пожалуйста, — сказала Ванда.

— Да брось, так еще лучше, в два раза приятнее, Чола так делает и я, видишь, тебе понравилось, не обманывай, хочешь, приляг здесь, теперь ты и сама можешь, раз научилась...

— Спи, дорогая, — сказала тетушка Лоренса. — Вот увидишь, кошмара больше не будет.

Но это Тересита склонялась над ней, зрочки ее закатились, словно внезапно она смертельно устала, показав Ванде всякое такое разное, и походила теперь на блондинку с того синего канапе, но более юную и смуглую, а Ванда думала о другой женщине с картинки, глядевшей на зажженную свечу, хотя в стеклянной комнате была на ясном небе лампа, а улица с фонарями и человек вдалеке, казалось, проникают в комнату, образуя часть ее, как всегда на этих картинках, но ни одна из них не показалась им такой странной, как та, что называлась «Девы из Тонгреса», потому что *demoiselles* на французском значит «девицы», и, глядя на Тереситу, которая изможденно дышала, словно от невероятной усталости, Ванда будто снова видела картинку с девицами из Тонгреса (то есть из какого-то места, потому что слово было написано с большой буквы), которые обнимались, облаченные в синие и красные туники, но голые под ними, и у одной груди были наружу, и она ласкала

другую, и у обеих на длинных белокурых волосах были черные береты, — ласкала, проводя пальцами пониже спины, как это делала Тересита, а лысый мужчина в сером пыльнике смахивал на доктора Фонтану, к которому тетушка Эрнестина ее водила, и он, посекретничав с тетушкой, попросил Ванду раздеться, ей было тринадцать, и она начинала формироваться, поэтому тетушка Эрнестина и повела ее, а может быть, и не только поэтому, — доктор Фонтана стал смеяться, и Ванда услышала, как он говорил тетушке Эрнестине, что на эти вещи не следует обращать особого внимания, не стоит преувеличивать, после чего прослушал ее и исследовал ее глаза, а пыльник у него был как у того на картинке, но только светлее, и он попросил ее лечь и прощупал внизу, тетушка Эрнестина была в кабинете, но отошла к окну, хотя и не могла выглянуть на улицу, потому что на окне были белые занавески, доктор Фонтана подозвал ее и сказал, что нет причин для беспокойства, и Ванда одевалась, пока доктор выписывал рецепт чего-то тонизирующего и микстуру от бронхита, и ночь с кошмаром была чем-то похожа, потому что вначале человек в черном был приветлив и улыбочив, как доктор Фонтана, и хотел только узнать, который час, а потом появился тупик, как в тот вечер, когда она обходила квартал, и теперь ей не оставалось ничего другого, как покончить с собой с помощью бритвы или бросившись с крыши после того, конечно, как она напишет учительнице и Тересите.

— Идиотка, — сказала Тересита. — Сперва дверь оставляешь открытой, как дурочка, а потом и прикинуться не можешь. Предупреждаю, если твои тетки придут со всем этим к моей Веснушчатой, а они точно придут все валить на меня, то меня тут же засунут в интернат, отец ясно сказал...

— Выпей еще немного воды, — сказала тетушка Лоренса. — Сейчас ты уснешь и будешь спать до утра безо всяких там кошмаров.

Хуже всего, что нельзя было рассказать, объяснить тетушке Лоренсе, почему она улизнула из дома в тот вечер, когда тетушка Эрнестина и тетушка Адела, ну, в общем, почему она тогда бродила и бродила по улицам, не зная, что делать, думая о том, что тут же должна покончить с собой, броситься под поезд, и все оглядывалась, ведь кто знает, не находится ли мужчина снова здесь и, когда она приблизится к какому-нибудь безлюдному углу, не подойдет ли он к ней спросить, который час; скорее всего женщины с картинок бродят гольшом по этим улицам, потому что тоже убежали из дома и боятся мужчин в серых пыльниках и в черных костюмах, как на человеке из тупика, но на картинках было много женщин, а сейчас, наоборот, она идет совершенно одна по улицам, хорошо хоть, что не нагишом, как те, и ни одна из них в красной тунике не подходит к ней обниматься и не велит ей лечь, как это велели ей Тересита и доктор Фонтана.

— Билли Холидей была негритянкой и умерла из-за чрезмерного употребления наркотиков, — сказала Тересита. — У нее были галлюцинации и так далее.

— Что такое галлюцинации?

— Не знаю, ужасное такое, когда кричат и корчатся. Знаешь, а ты права. Душно, как перед бурей. Давай раздеваемся.

— Не так уж и жарко, чтобы раздеваться, — буркнула Ванда...

— Ты съела слишком много рагу, — сказала тетушка Лоренса. — Рагу на ночь — тяжелая пища, как апельсины...

— Можно еще и так, видишь, — усмехнулась Тересита.

Бог весть, почему больше всего запомнилась картинка, где виднелась узкая улица, по одну сторону дерева, а по другую, на первом плане, дверь, в довершение ко всему посреди мостовой виднелся столик с зажженной лампой, хотя было это днем. «Кончай с искусственной рукой, — сказала Тересита. — Весь вечер будешь так? Сперва на жару жаловалась, а как раздеваться, так я?» На картинке сама Ванда удалялась, волоса по мостовой темную тунику, а в двери на переднем плане стояла Тересита, глядевшая на столик с лампой и не видевшая, что поодаль на улице затаился человек в черном, подстерегающий Ванду. «Но ведь это не мы, — думала Ванда, — это

взрослые женщины, которые разгуливают нагишом по улице, это не мы, это как в кошмаре, ты думаешь, что ты есть, а тебя нет, да и тетушка Лоренса не допустит, чтобы мне еще раз привиделся кошмар». Вот если бы она могла попросить тетушку Лоренсу, чтобы та избавила ее от этих улиц, от бросания под поезд, от человека в черном, который на картинке подстерегал ее на улице, когда она обходила квартал («Ступай прямо домой, и чтобы никакого там кокетства на улице», — сказала тетушка Адела), а человек в черном приближался к ней, чтобы спросить, который час, и медленно теснил ее в глухой тупик без окон, все ближе и ближе к стене с плющом, она не в силах была ни кричать, ни молить, ни защищаться, как в кошмарном сне, но в кошмаре был выход, потому что там была тетушка Лоренса, которая ее успокаивала, и все стиралось запахом свежей воды и ласками, также и тот вечерний тупик имел выход, потому что Ванда могла убежать, не оглядываясь назад, пока не вбежала в дом, заперев дверь и позвав Грокка, наказав ему сторожить вход, поскольку не могла рассказать всю правду тетушке Аделе. Сейчас снова все было как тогда, но из тупика теперь было не выбраться, на этот раз нельзя было ни убежать, ни проснуться, человек в черном прижал ее к стене, и тетушка Лоренса не утешала ее, в этих сумерках Ванда была наедине с человеком в черном, который спрашивал у нее, который час, приближаясь к стене, и начал выпрастывать руку из кармана, он был все ближе и ближе к Ванде, прижавшейся к плющу, и этот человек в черном теперь не спрашивал, который час, восковая рука что-то искала на ней и у нее под юбкой, и человек говорил ей на ухо: не шевелись и не плачь, сделаем-ка то, чему тебя научила Тересита.

Переводы с испанского Павла ГРУШКО.



Т е о р е м а Ф е р м а

РАССКАЗ

- Нэвжели так больно?

— Еще бы не больно — иголку втыкают прямо в глаз.

— Кто, Таня?

— Нет, Юля.

— А-а, Юля... Да, она твердо работает.

Вацлав Иванович указательными пальцами развел на две стороны свои жидкие седые усики.

— Теперь легче вже?

— Вроде немного легче. Но все равно ужасно больно. Дело в том, что я дергаюсь от укола, ничего не могу с собой поделать. Как люди выносят операцию без наркоза?

— Они дают новокаин.

— Я имею в виду — без общего наркоза. Даже глаза нельзя зажмурить.

— Ну нет, нет, не надо думать об этом! Я имел три операции. Это можно терпеть. Ради глаз можно.

Мне делали укол в глаз каждое утро. Вечером, когда гасили свет в палате, я не мог заснуть, потому что начинал думать об утреннем уколе. В девять, после завтрака, мы становились в очередь к сестре. Потом в курилке час примерно я плясал от боли. А после, в одиннадцатом часу, проваливался наконец в блаженный сон. Ничто мне не мешало — ни жаркое июньское солнце, ломящееся в окно, ни громкие разговоры моих пяти соседей, ни пылесос в коридоре. Все слышал, и все только убаюкивало.

Вацлав Иванович помещался отдельно. Он был тут давним, многоразовым пациентом и выпросил одиночную каморку. Без соседей, но и без окна и почти без пространства — кровать, стул, тумбочка. Мы как-то сразу друг друга отметили. Уже на второй день он стал мне исповедоваться. Со мной часто так, уже привык. Мы сидели в тихое послеобеденное время на длинной скамье с высокой спинкой в темном тупике коридора. Скамья была старая, хорошего дерева, без зазубринки отполированная тысячами спин и задов. И рук. И плеч. И вся эта больница была старая. И Вацлав Иванович был старый, седенький, щуплый с плоскими усиками врзлет.

Западный был человек. Хотя вся его жизнь на Западе — это время оккупации и сидение в гестапо. Потом — и гораздо дольше — он сидел в лагере под Пермью. А на свободе и до, и после лагеря Вацлав Иванович преподавал математику в старших классах в маленьком городке на границе Белоруссии и Литвы. Он был чех. Я-то думал — поляк, раз Литва, Белоруссия... Но он сказал: нет, чех. И звали его сперва Вацлав Игнациевич. Однако давно уже для простоты он стал Ивановичем. Какие сильные гены! Ведь всю жизнь, можно считать, абсолютно всю жизнь он «наш». А вот — не наш. Эта белая рубашечка с каким-то особенным старомодным воротничком, мелкие ботинки вместо стандартных больничных тапочек, и самое поразительное — не стрелка, но все же складка на пижамных брюках. Ну, еще и европейские усики.

— Нэвжели вы любили в школе математику?

— Обожал. Остальное было легко. А это... одолеть алгебру... Это было как спорт.

— Математика — это логика, а логика — это разум. Все мои ученики ненавидели алгебру. Почти все. (Он еще иногда окал и сказал: почти все). КОтОрый час?

— Уже начало восьмого.

— НадО ужинать.

Вацлав Иванович передвигался по отделению совершенно свободно. Он попадал сюда уже много раз и знал пространство по сантиметрам. Но в коридоре стояли две одинаковые скамьи — друг против друга. И чех забыл, на какую из них мы сели. Вставая, он свернул направо, в глухую стену. Сразу почувствовал, поправился и пошел налево. Однако этот маленький пируэт вдруг ясно показал мне: Вацлав Иванович был слеп. Я взял его под руку.

— Квадрат суммы двух чисел забыли?

— Это как раз помню.

— Нэвжели не забыли?

— $A^2 + 2ав + в^2$

— Это совершенно достаточно. Если не ляжете, заходите ко мне. Я покажу удивительную вещь. Вы слыхали о теореме Ферма?

— Да, слыхал... но забыл. Это какая-то сложная теорема, которую уже сто лет никто не может решить.

— Доказать не может, — поправил меня Вацлав Иванович. — Она совсем простая в задаче. Вы поймете. Заходите ко мне после ужина, я покажу вам.

— Ой, нет, Вацлав Иванович, это мне не по зубам!

— По зубам, по зубам, я уверен, вы поймете. Я доказал теорему Ферма.

Телевизор в холле работал скверно. Постоянно шли горизонтальные полосы, звук то исчезал, то возвращался. После программы «Время» несколько человек ушло, освободилось кресло. Я опустился в него и стал задремывать под однообразный документальный фильм про галерею Уффици. Чех не появлялся. Может быть, уже лег? Хорошо бы, глаза слипаются. Кажется, сегодня завалось без всяких мыслей про уколы, про боль, про завтра. Какая там теорема Ферма! Да и старик, наверное, забыл, о чем говорили. Я поднялся и зашаркал в свою шестую палату. Тапочки были без задников. Надо бы зубы почистить... но это еще идти на тот край отделения в умывальник. Нет, нет, утром, нет сил.

Каморка Вацлава темна — из-под двери света не видно. Уснул, конечно. Для очистки совести я без стука приоткрыл дверь. Старик сидел на аккуратно застеленной кровати, чинно положив руки на колени. Слабая лампочка под абажуром из толстого картона еле светила на тумбочке. На кровати рядом с ним лежала большая бухгалтерская книга.

— Входите, входите! — сказал Вацлав Иванович. — Зажигайте верхний свет. Сейчас вы все поймете. — Он нервно разгладил на стороны свои плоские усики. — Садитесь, садитесь на стул.

Я смертельно хотел спать.

— Теорему Пифагора помнят все, и вы, конечно, тоже. Квадрат гипотенузы равен...

— Сумме квадратов катетов.

— Это так, и это очень красиво. Значит, — он произнес слово с мягким знаком на конце, — если в прямоугольном треугольнике меньший катет равен трем, больший — четырем, то три в квадрате — девять, четыре в квадрате — шестнадцать, девять плюс шестнадцать будет двадцать пять. Гипотенуза равна корню квадратному из двадцати пяти, то есть пяти. Это так. Это понятно?

— Угу.

— Что?

— Понятно, понятно.

— Теперь я буду говорить тише — десять часов, там, за стенкой, женская палата, они рано ложатся.

Вацлав Иванович пересел ближе к изголовью кровати и к моему стулу. Наши колени соприкоснулись. Он протянул мне бухгалтерскую книгу:

— Значить, так, откройте.

В книге была закладка. Я раскрыл книгу и разглядел закладку. Обычная фотография пса. Пес сидел возле парадной, раскрыв пасть и свесив на сторону язык.

— Это ваша собачка?

— Нет, это Искра, овчарка-поводырь. Морозова Николая Герасимовича, который умер.

— Ага... Отчего умер? — У меня слипались глаза, и даже, кажется, что-то снилось.

— Он умер от инфаркта. А Искру взяли обратно в питомник.

— Ага-а...

Мне снилась светлая комната в деревянном доме. Окно выходило на веранду. За верандой колыхалась под ветром сирень. Звучный женский голос говорил: «Позовите сестру, позовите сестру!»

— У них в палате две лежачих, — сказал Вацлав Иванович.

Я поднялся и пошел в дежурную комнату за сестрой.

— Да, я знаю, — сказала сестра Таня, — уже иду. Ей укол надо. Сейчас. Вацлав Иванович стоял в дверях своей каморки.

— Идет?

— Да, сейчас придет. Идет сестра! — крикнул я в женскую палату.

Мы снова сели на свои места — колени в колени.

— Теперь смотрите. Вот, значить, формула: $a^n + b^n = c^n$. Видите?

Он ткнул пальцем в бухгалтерскую книгу. Там через все секции учетной разницы четко было выведено: $a^n + b^n = c^n$.

— Так вот, еще в семнадцатом веке Ферма предложил доказать, что, если n больше двух, то это равенство невозможно: если $n > 2$, $a^n + b^n \neq c^n$.

— Больше двух?

— Ну да! Если n равно двум, то это теорема Пифагора, это возможно.

— А если больше двух, то невозможно?

— Невозможно.

— А зачем доказывать отрицательную истину?

— Как?! — тихо вскрикнул чех. — Отрицательная истина отличается от положительной только тем, что лежит по другую сторону от нуля.

— Ну! — От желания спать я начал терять вежливость.

— Переверните страницу, — сказал чех. — Смотрите. Теперь я начинаю мое доказательство. Нужно сделать всего два допущения. Первое — допустить на время, что n — целое число, кратное одному из однозначных чисел. Понятно?

— Ну... да.

— То есть двадцать один — годится, оно кратно трем и семи, да? Оно делится на три и на семь. Так. Двадцать два — годится или нет?

— Годится.

— Кратно чему?

— Двум и одиннадцати.

— Одиннадцать — не однозначное число. Однозначное только от двух до девяти. Кратно двум. Двадцать три — годится?

— Годится.

— А чему же кратно двадцать три?

— А?

— Чему кратно?

— Чему?

— Ничему. Значить, не годится.

— Да, не годится. Ну...

— Второе допущение. Переверните страницу.

Я прошелестел толстой серой бумагой и прикрыл глаза. Нехорошо было пользоваться слепотой собеседника, но я ничего не мог с собой поделаться.

— Теперь мы приходим к простому уравнению... Переверните страницу.

Я перевернул вслепую и, кажется, даже не одну, а сразу несколько страниц зацепилось.

— Остается признать, что a^n всегда меньше X .

Я открыл глаза и глянул в бухгалтерскую книгу. Страница, о которой говорил старик, была давно потеряна, и нить рассуждений окончательно ускользнула от меня. На расчерченной бумаге громоздились какие-то совершенно неведомые буквы, знаки, степени, корни. Может быть, это была уже другая теорема.

— Теперь вы видите это неравенство? — спросил чех.

Я захлопнул книгу.

— Вацлав Иванович, я все-таки сильно позабыл алгебру. Мне трудно.

— Вы устали. Отложим до завтра.

— Нет, подождите. Что вообще значит теорема Ферма? Сам-то он ее решил или нет?

— Пьер Ферма написал несколько знаков на полях возле формулы и ссылку на другие свои бумаги.

— Значит, у него решение было?

— Видимо, так.

— А если не было? Если он сам понял, что это некорректная постановка задачи?

— О, да вы математик! — засмеялся старик. — Вы такие слова знаете... Почему некорректная?

— Да потому что я применяю это к обычной жизни! — Я начал злиться, и сонливость прошла, отодвинулась. — Это то же самое, что сказать человеку: докажите, что вы невиновны! Это незаконно. Ты сам докажи, что я виновен. А мне нечего доказывать, я живу себе и живу.

— Ферма достаточно авторитетен. И он никогда не ставил задач некорректных.

— А в принципе, в принципе что это дает? Ну да, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы — это колоссально, потому что это всегда так. Это — открытие. И это нужно для дела, для людей. А здесь... Допустим, вы доказали, что никогда так быть не может. Ну и что? Это же бездна. Никогда...

— Это и есть бездна, — тихо сказал чех и облизал свои плоские усики. — Я ее чувствую, и я обосновал ее. А мне не верят. Думают, что там, в бесконечности, есть дно, что там уравнение может сойтись. А оно не может. Бездна.

Мне почему-то стало жутковато, и сон совсем прошел.

— Вы говорили, что у вас много друзей — больших физиков и математиков, — продолжал Вацлав Иванович. — Я бы только хотел, чтобы кто-нибудь познакомился с этим доказательством. Это моя мечта.

Я долго стряхивал с простыни непонятно откуда набившиеся крошки, песчинки. Стряхнул, лег и все равно почувствовал множество крупинок, въевшихся в тело. Накрылся второй серой и навсегда пыльной простыней. Палата спала. Я думал о том, что на Руси много гениев. Какие идеи, какие странные бескорыстные увлечения, какие биографии! Как несправедлива жизнь! Гениев обижают, не замечают. Я думал о том, что я, пожалуй, больше замечен, чем Вацлав Иванович, и что это несправедливо. Потом захрапел сосед слева. Даже не захрапел, а зарычал и засвистел одновременно. Я перевернулся на другой бок, и мысли мои повернулись. Я стал думать, что и меня не заметила жизнь, что вот я ворочаюсь на пупырчатой простыне в палате с тяжелым запахом и завтра мне всадят укол в глаз. А ведь я тоже немало хорошего сделал или хотел сделать... Потом я уснул.

Мне снилась внутренность гладкой черной трубы. Я летел по ней, слегка

касаясь плечами маслянистого металла. Потом меня прижало всем правым боком — поворот. Скорость была громадная. Крутая извилина кончилась, я поднял глаза и далеко впереди увидел яркий свет — труба кончалась растробом, и там, в конце, под сильным ветром колыхалась сирень.

В правый глаз мне вставили монобль в виде овальной рюмочки с теплой жидкостью. Рюмку привязали к голове резиновым бинтом. Подсоединили к торчащей в бинте клемме и пустили слабый ток. Я откинулся на спинку кресла. Нас сидело шестеро в этом зале физиотерапии. Распахнутое окно, пыльное тепло июня. Легкое потрескивание никому непонятных электроприборов, бесшумные колдовские шаги медсестры. И никакой боли, И, честно говоря, никакой веры в это лечение — уж слишком все это симпатично, слишком умиротворяюще. Тебя просто греют, просто не тревожат. Тебя просто любят. Неужели это может вылечить? Весь опыт жизни говорит, что нет. А все-таки приятно.

У всех из глаз торчали ножки овальных рюмочек. А от ножек шли проводочки к черным коробочкам на стене. Мы походили на инопланетных насекомых с кристаллическими глазами, вынесенными впереди головы.

Некоторое время мысли мои не имели никакой формы. Напряженно и легко я думал ни о чем. Потом я стал мысленно разглядывать внутренность моей головы. Я подбирался с фонариком к местам, где глаз крепится к глазнице. Я видел заломившиеся, искрившие нехорошим током сосуды-проводочки. Их бы надо менять. Замутненное стекловидное тело — оно походило на непрозрачное волнистое стекло в дверях учрежденческих туалетов. На нем была пыль. Я думал о том, что человек, лишенный зрения, видимо, всегда погружен во внутренний свой мир. У него всегда есть индугенция, позволяющая ему не думать о других. Это его право, и в этом есть определенная соблазнительная степень свободы. Например, я лично свободен еще минут двенадцать — до конца процедуры — не задумываться, не заботиться ни о ком и ни о чем. А вот, скажем, Вацлав Иванович, тот вообще... Но здесь в мою беззаботность вдвинулось острие тревоги. Я вспомнил эту бухгалтерскую книгу, сплошь исписанную почти совершенно слепым человеком. Вспомнил его напряженную сосредоточенность. Старик не устал жить и бороться. Он в неравных, худших условиях. Ему все труднее. Но он не покидает ринг. Вот и меня хочет он сделать своим секундантом, чтобы продолжить бой. А я зеваю, засыпаю..... Мне стало стыдно, и лицо вспотело под резиновыми бинтами. Вацлав не подошел ко мне за завтраком. Я вообще не видел его сегодня.

— Я его отпустила домой за документами. У него завтра комиссия, — сказала мне завотделением.

У меня с ней были славные шуточные отношения. Как бы не замечая своего жуткого вида — больничной пижамы, тапочек, бахил, — я в ее присутствии постоянно обозначал все признаки салонной галантности — вскакивал со стула, шаркал ножкой, кланялся. Ей это нравилось.

— А далеко живет наш Вацлав?

— Ох, далеко! На окраине.

— И что же, сам поехал или кто его забрал?

— Сам, сам. Он одинокий. Потихоньку, с палочкой, с палочкой.

— Вот что, мадам, Любовь, свет, Володимировна... позвонить бы мне по телефону, да не из автомата, а для тихой беседы, а?

— Во как! — Она кокетливо покачала головой. — Идите ко мне в кабинет. Ключ в двери. Запритесь изнутри.

Из больницы легко разговаривать даже с тем, кому не собрался позвонить месяцы, а то и годы.

— Я уж думала, ты совсем пропал. Может, думаю, зазнался или, может, эмигрировал. Или, думаю, влюбился...

— Что ты, что ты, дорогуша моя! Просто так получилось. Я сейчас из больницы звоню...

— Как? Что? Где?

— Да нет, все уже нормально...

Все! Мои вины уже позабыты, и вроде уже должок за ней — она дома, а я вот в больнице. Уважают в России болезнь.

— Кстати, о птичках... Что ты думаешь о теореме Ферма?

Трубка замолчала. Потом послышался легкий смешок... хмыканье.

— Ну, ну, продолжай.

— Ты не подумай чего плохого, я еще не свихнулся, скажи только — ты ведь работала в этом математическом издании, как оно называется? Ты еще там?

— Я давно не там. Ты мне, дорогуша, не звонил два года. Вот что... апельсинов я тебе привезу и что я о тебе думаю, скажу откровенно, а насчет Ферма... позвони Саше. Он в журнале работает, и он тебе скажет, что он думает о Ферма и что я думаю о Ферма. Целую. Пока.

Я позвонил Саше и произнес все положенные слова вежливости вроде: «Брось, старик, да знаю я тебя» или «Да надо плюнуть на все, сесть нам вдвоем и выпить водки с пельменями из картонной коробки». Когда я дошел до Ферма, трубка замолчала, как и в прошлый раз.

— Алло, ты здесь?

— Слушай, сколько твоему Вацлаву Ивановичу лет?

— Семьдесят, может, больше. Слепой старичок.

— Я все понимаю, но, знаешь, ты подальше от этого.

— В чем дело, Сашок? Ты можешь посмотреть эту тетрадку?

— Могу посмотреть. А могу и не смотреть. Говорю заранее — сумасшедший. Я это все десятки раз видел. Теорема Ферма в математике — это как перпетуум-мобиле в механике. Близко и понятно, как собственный локоть, но ведь не укусишь.

— Сашок, у него там какой-то совершенно новый подход. Там два простых допущения и... всех дел полчаса... а? Он, Сашок, и в гестапо сидел, и в лагере сидел.

— Ну, ладно. Потом, может, занесешь, и я тебе объясню. Только не давай ему моего телефона.

В дверь три раза стукнула Люба Владимировна:

— Это я, хозяйка, иду покурить.

Я повесил трубку.

В палате на моей койке лежала бухгалтерская книга с закладкой. Еще раз я поглядел на собаку Искру. Пасть была разинута, язык свесился набок. Искра улыбалась.

Двое моих сокамерников играли в шахматы. Трое остальных давали советы и страшно при этом матюгались. Потом все стали хватать фигуры руками и отталкивать друг друга. Потом вся партия просыпалась на пол, и мой сосед-храпун начал всех хватать за грудки, крича одинаково: «Ты играл за «Пищевик» или я играл?»

Я лег на спину поверх одеяла и попробовал читать доказательство сначала.

$$a^n + b^n = c^n \quad (?); \text{ при } n > 2 \quad a^n + b^n \neq c^n$$

Первые три страницы невероятно крупных букв и цифр прошли, как детектив. Потом я забуксовал, стал беспомощно отлистывать назад, рванулся через страницу вперед, и опять накатились сонливость и равнодушие. «А на хера мне с ним играть? — кричал храпун. — Он поля не видит в сраку, он пешки жрет — и п....ц!» «Во, во! — говорил от окна Володя, которому шибануло глаз взорвавшимся кислородным баллоном. — Вот ты используй! Ты выиграй! Попробуй!» «Одна попробовала, да весь и сжевала». «Все, статус! — крикнул плешивый дядя Леша. — Развели, ё моё, экологию. Я футбол буду слушать». — И он стал прилаживать наушники.

Вацлав Иванович появился перед ужином. «Ручаться не могу, — сказал я ему, — но, может быть, удастся показать вашу теорему. Я связался кое с кем». Чех не дрогнул. Даже, кажется, не вполне расслышал мое сообщение.

— Могу я попросить ту фотографию с тетрадки?

— Искру?

— Да, да, Искру.

Немного обиженный его равнодушием, я пошел в палату. Было тихо. Ругань дошла до точки, и теперь соседи, все обиженные, лежали молча, отвернувшись друг от друга. Я взял книгу и вышел. Вацлав ждал меня у распахнутой двери своей каморки. «ЗахОдите». Он снова подчеркнул букву «О». Мы уселись во вчерашнюю позицию — я на стуле, он на кровати. Я вложил в его руки бухгалтерскую книгу. Он вжикнул большим пальцем во всю толщину страниц, определяя — где фотография? Взял карточку и осторожно положил поверх грессбуха. Несколько раз быстро пригладил усики. Только теперь я заметил, что он сильно взволнован: руки слегка тряслись, кожа на лице стала совсем пергаментной.

— Знаете, я сегодня заплутал в городе. Я почти три часа ехал домой. Обратно меня привез на машине сосед. Потому что мне стало нехорошо около двери.

— А что за срочность? Что за бумаги им вдруг понадобились?

— О, это не им. Это мне. Завтра комиссия. Они мне два разá (он сделал ударение на последнем слогe), два разá вже отказывали.

— В чем отказывали?

— Я хочу собачку.

Мы помолчали.

— Если бы это была Искра, то это как семья. Мы давно знаем друг друга. Но это невозможно, невероятно. Пусть другая собачка.

— Из питомника? Это специально, что ли — поводыри?

— Да, да. Они обучены. И потом у них есть душа. У всех. Я знаю.

— А почему вам могут отказать? Ведь вы же... — Я замялся. — Чего им надо?.. Надо еще хуже видеть, что ли?

— Да, да... тут и группа инвалидности, и еще, и еще... Большие интриги. Надо, с одной стороны, доказать, что ты абсолютно одинок и не имеешь ни средств, ни помощи, а с другой стороны, — что имеешь средства хорошо содержать собачку. Потому что ты стар и умрешь, а она еще перейдет к другому. Я жду уже два года, но там очередь, и много человек на одно место.

— Может, я чем могу помочь? Поговорю с главной или на комиссию пойду. Это здесь, в больнице?

— Да, внизу. Завтра. Спасибо вам большое, но я, правда, не знаю... Там интриги — у всех свои кандидаты. Там, говорят, дают взятки, но я не уверен. Это слухи. Я не знаю, кто берет, сколько и когда нужно дать. Вот, вот у меня здесь характеристики, рекомендации...

Он протянул мне прозрачную фиолетовую папку, в которой лежало десятка два документов.

— Ну, вот видите, — сказал я. — Какая у вас кипа.

— Да, да, это со школы — и с Белоруссии, и с общества слепых — я там преподавал... И с жека... Два года это все собирал.

— Вы же еще и отсидели. Вас реабилитировали?

— Да, да, там есть. — Вацлав нервно застучал тонким пальчиком по фиолетовой папке. — Но, знаете, все же оккупация. Там, на комиссии, по-разному на это смотрят.

— Даже теперь?

— Нэвжели ж нет?! Там ветераны, они прежней закваски. Они воевали, а я...

— А вы в гестапо прохлаждались.

— Вот именно, так они и говорят.

— Ну ладно, пойду-ка я завтра на это судилище и попробую стать вашим адвокатом.

Не спалось. Мучила жара. Болел глаз. В коридоре ходили, двигали кровати. Несколько раз привозили больных по «скорой». В полудреме все путалось: всплывали слепые лица ветеранов из комиссии, и это были мои соседи по палате. Ветераны сидели на пляже. Лысый дядя Леша поднимал с песка графин с водой. По краю графина сплошь был песок. Дядя Леша пил из графина, выплевывал песчинки и говорил: «Развели, ё моё, экологию».

Часа в четыре ударила сильная гроза. Прошел ливень, и сразу похолодало. Утро было серое. Володя у окна надрывно кашлял. Вчерашний мой адвокатский азарт куда-то улетучился, и я не представлял, как приступить к делу. В самом воздухе было что-то нехорошее. Все впали в угрюмость и неврастению. Валера, сосед справа, пил кефир, проливал его на майку и, постукивая кулаком по колену, бормотал: «Сходила моя Элка налево. Вот чувствую, в эту самую ночь сходила налево». В коридоре стало тесно — привезли новеньких, а в палатах мест не было: кровати стояли вдоль всей стены до самого буфета.

Из буфета шел Вацлав Иванович, держа впереди себя чайник с кипятком.

— Во сколько ваше судилище? — спросил я.

— Еще в одиннадцать. Знаете, я думаю, они вас не пустят. Они никого не пускают.

Мы вошли в его клетку без окон. На кровати распластались черные брюки, а низ правой штанины лежал на тумбочке. Казалось, маленький невидимка разлегся в развязной позе и неслышно храпит. Вацлав Иванович накрыл брючину на тумбочке полотенцем и стал медленно водить по ней горячим чайником.

— Зачем это вы?

— А-а! Надо прилично выглядеть. Я всю ночь их гладил. Все равно сна нет. Мне дали чайник, я сам кипятил. А потом вот сломался штепсел (он произнес «штепсел» без мягкого знака), стало надо ходить в буфет. Сейчас уже скоро конец.

Водить чайником с водой было неудобно и жутко опасно. Слепой... с кипятком... в комнате без окон... и эти маленькие брючки с маленького тела. Картинка была настолько жалостная, что проснулось во мне спасительное раздражение: чего он в самом деле?... «Чего он наворачивает?» — неприятно думал я о Вацлаве Ивановиче, направляясь в кабинет завотделением.

— Я, конечно, буду на комиссии,— сказала мне Любовь Владимировна. — Но голоса у меня там нет. Я только докладываю. И вот что, голубчик мой, отступитесь-ка вы от этого дела, толку не будет.

— Любовь, свет, Владимировна, смотреть на него просто невозможно. Он какой-то втройне одинокий, в кубе одинокий, математически говоря.

— Да... — Ее сигарета потухла, она начала щелкать зажигалкой, встряхивать ее, но огня не было. Я протянул ей свою сигарету, и она прикурила от нее. — Да... — повторила она. — На всех на вас смотреть невозможно. Там, на комиссии, такие судьбы всплывают, что уже непонятно, кого жалеть, а кого...

— У него в питомнике даже знакомая собачка.

— Да знаю... Искра. Она занята, я спрашивала.

Окно распахнулось от ветра. Взлетели к потолку занавески. С подоконника полилась вода. Я с трудом наводил порядок. Любовь Владимировна не шевелилась. Курила.

— Но шансы у него есть все-таки? — спросил я.

— Мало.

Когда Вацлав Иванович явился в коридоре при полном параде — в черных коротких брючках с идеальными стрелками, в пиджачке на четыре пуговицы, при галстучке, — я и сам понял, что шансов у него ноль. Такой он был иностранный, чужой нашему миру. Без палки, с фиолетовой папкой в

руке, он держался очень прямо и походил на дипломата капитулирующего маленького государства.

С моей «защитой» все решилось само собой. Мы спустились вниз и увидели целую толпу слепых и провожатых возле двери комиссии. Выкликали по фамилии и каждый раз добавляли жестко: «Без сопровождения! Без сопровождения!»

Мы просидели около часа. Люди входили, выходили. Ответ давался не сегодня. Все это еще должно было рассматриваться, оформляться, кем-то утверждаться. Потом пришла сестра из отделения и вызвала меня на консультацию.

Я выписался из больницы, но продолжал заходить через день на осмотр, на процедуры. Пару раз принес гостинцы — хорошие конфеты заведующей, шоколадки сестрам, фрукты для Вацлава. Мы с ним спустились в сад и посидели на скамейке. Я еще раз предложил ему показать для журнала его теорему. Он странно заупрямился.

— Ну давайте, давайте, пусть они посмотрят, — настаивал я.

— Нет, надо все переписать. Я понял: там есть одно нечеткое место. Возможно произвольное толкование. Могут придраться. Я еще поработаю.

Говорили и про собаку. Я спросил: а нельзя ли просто купить такого поводыря? Вацлав засмеялся:

— Этому нет цены! Ни у кого нет таких средств.

Мелькнула мысль о сборе денег, об обращении по телевидению, о письме министру. Но дела... дела все туже напрягали время. Вацлав отодвигался на дальний план моей жизни. В больнице я бывал редко. Однажды Любовь Владимировна завела меня к себе в кабинет.

— Ну вот, отказали ему. Мы его выписываем. Если хотите, попробуйте дать ему денег.

— Сколько?

— Сколько можете. Только он вряд ли возьмет.

— Да, придется без собачки, — сказал мне Вацлав Иванович. Мы помолчали. — А неравенство, — заговорил он снова, — неравенство доказать можно. Я это чувствую нутром. Задача Ферма правильная. Если больше двух, то неравенство абсолютно. Это без дна, как вы говорите. Я это еще докажу.

Было жарко и ветрено. Неровные плиты двора были вычищены и высушены. Ветер продул и вымел каждую песчинку. За нашими спинами в больничном саду с морским шумом металась сирень.

— Вы завтра выписываетесь?

— Завтра.

Я хотел спросить: «Ну, и как же вы теперь будете?» — но почувствовал, что этого вопроса задавать нельзя.

*Москва.
Лето 1994*



Д р у г в д р у г е з а б л у д я с ь . . .

Воздух

У яблонь на губах обсохло молоко,
И льдинки лепестков упали так легко!
И ветер дует в голубую дудку,
Цвет превращая в плод, в пруд запуская утку
И пальцем пробуя — достаточно ль крепки
Бузинные тугие узелки.
Прозрачен и кудряв, он раздувает щеки,
И связывает кончиком далекой
Мелодии — дрожащие леса,
И в узел спутывает наши голоса.

Огонь

Ветер-фонарщик затепливает цветы,
Раскуривает дымок сирени,
Останавливается, холодный, как ты,
Полный предчувствий и подозрений,
Меняет цветные стекла, наклоняет ветвь,
Гасит пальцами, как свечу, одуванчик:
Тает желтый, разгорается белый свет,
Кровь струится иначе,
Больше не мечется в темноте,
Озаренная вспышкой фиалки,
Убегает стремительно к той черте,
За которой — помнишь? — и мы не те,
И слова — в ослепительной наготе —
Как кувшин обожженный,
не треснуты и не жалки.

Земля

Пернатой крови клюв стучит в висок,
Рой запахов порхает по хвощу.
Земля зажала в потный кулачок
Растение, которое ищу.
И я бегу за ней, скрывая страх,
Я вижу локти, пятки, — Боже мой,
Так удирает младшая сестра,
Стащив из шкафа ключ или письмо.

Она сжимает зернышко, на дне
Которого — твой смех и голос твой,
И профиль твой вечерний на стене.
И я тебя ревную
к ней одной.

Вода

На венки из одуванчиков — венцы.
Коронованное носится дитя.
Мы низложены с тобой, мы беглецы,
Остается нам, невесело шутя,

Этот вечер полновесный золотой
Проиграть, не жульничая, тьме,
Что Хароновой железною водой
Плещется снаружи — и во мне.

В деревянном оперенье гробовом
Полетим над нею скоро — путь един,
А покуда на дворе не треснул гром,
Перекурим и за рюмкой посидим.

И пока светла, сыграем с ней, дружок:
Пусть, ручная, бьет из крана, горяча,
Шепчет на ухо — в зубах у ней цветок, —
Пусть бежит, нагая, гибкая, с плеча...

* * *

Внутри воды — огонь, горячий язычок
Легко щекочет грудь и шею,
То спрячется, то заскользит у ног,
По-детски радуясь движенью.
Внутри воды угрюмо пышет сушь,
То рыбью чешую, то камень зажигая,
То твой зрачок, — ты тоже вездесущ,
И мне досталась искорка-другая,
Ожог, и в глубине озноб. Еще
Живут внутри воды земля и пленный воздух,
Висящий клочьями, касаясь мокрых щек,
Ребристых крыш и веток острых;
Наполненный словами. Но когда,
Друг в друге заблудясь, как в закоулках дома,
Мы гулко дышим, — в нас горит вода,
Сквозь нас плывет земля, срывая провода,
И воздух рушится, — и я не знаю, кто мы.

З а п и с к и а к т р и с ы

НОКТЮРН

Яродилась грузчиком и до поры до времени была как мальчишка: широкоплечая, мускулистая, порывистая.

Маму любила и жалела до слез; провинюсь, бывало, накажет, не говорит со мной — больно было, стерпеть невозможно. По бедности взрослые трудились до упаду и неминуемо вынуждены были звать детей на помощь. Безоговорочно я подхватывала мамины-мамочкины поручения, но постоянным было желание выгадать минутку, чтоб прыгнуть в речку, поскакать по поляне и сделать вид, что не слышала ее зова.

Пошли братики и сестрички рождаться... Хорошенькие, беспомощные. Стала и их на закорках таскать, и хворост, и кукурузные початки — только поспевай.

Я делила трудности со взрослыми. И не я одна — все мои сверстники. От работы уйти было некуда, как от своего имени и места рождения.

Таскала и помогала...

А мама ругалась. Возле мамы чего не сделаешь! А ей надо было больше заботиться о маленьких.

«Ты, кобыла здоровая, зачем надкусила пряник?» «Это не я...» «Брешешь — зубы твои отпечатались».

Крыть нечем.

Однажды вдруг рассмотрела я свою руку и увидела, что некрасивая она, уже натруженная.

Школу я воспринимала, как курорт: училась неважно, так как главным моим стремлением было по звонку сигануть из окна, кричать, чудить, прогулять урок...

По русскому и литературе тем не менее сыпались хорошие отметки. Это было для меня легко — сочинение написать, словно прыгнуть в палисадник.

Такие «математики», как я, как-то раз собрались и написали письмо Сталину, чтобы отменил этот предмет. А пока Ольга Пастухова из года в год выручала. И как у нее все быстро решалось!..

Однако и я в передовых была, когда надо было полы мыть или парты таскать. Только и слышишь: «Мордюковочка!» Бригаду в момент организуешь — и работа закипела.

Перетаскав парты, босиком мчусь по пустому коридору, аж в ушах свистит.

От меня постоянно ждали хулиганских выходок, хотели, чтобы отмочила что-нибудь. Один раз чуть не утопилась в Азовском море. В уборной кто-то написал слово на букву «х». Вызвали меня в учительскую и стали пытаться. Сколько слез пролила, молила поверить, что это не я. Не выдержала и побежала к маме.

— Мама! Я в море утоплюсь!

Мама заплакала. Пошла в школу. Завуч «подбодрила»:

— Мы верим, что не она писала, но на нее подумать вполне можно.

— Собирай книжки, и пойдём отсюда! — тихо приказала мама.

Стала учиться я в другой школе, надеялась начать новую жизнь. Посадили меня за первую парту. Только учительница повернулась к доске, как я с силой кинула галошу назад. Она полетела, ударилась с хлопком о заднюю стену. Я, как памятник, не шелохнусь. Общий смех. Вот тебе и новая жизнь!

Когда много лет спустя затеяли обо мне фильм снимать, классная руководительница сказала: отзывчивая и компанейская, но школу не любила — и все...

Кончилась война. В товарном вагоне ехать в Москву да еще без билета — хорошо! Делились хлебом, песни пели. Колеса крутятся. — по назначению едем. Чего еще надо?

В институте уцепилась мертвой хваткой за специальные предметы. Хвалили, а потом раз — и собрание о моем исключении из института. Общеобразовательные предметы путались у меня в ногах, мне не хотелось даже входить в ту аудиторию, где чернявая тетка показывала слайды с камнями, поросшими мохом и травой, — это предмет «история искусства». Шесть двоек нахватала, хлебной карточкой лишилась и чуть не сдохла с голоду. Принудили пересдать, выдали карточку, и жизнь потекла дальше.

Мы считали, что и война нашим мечтам не помеха, а она и после того, как кончилась, прихватила сильно. «Владимир Ильич с кусочком сухаря пил чай, а пост свой не оставил!» — писала мама, когда я позволила пожаловаться в письме на невыносимую жизнь.

По сценическому движению «норму перевыполняла», и однажды преподаватель Иван Иванович сказал: «Переходи к нам в физкультурный, из тебя получится хорошая спортсменка». Куда там! Моя душа уже принадлежала Катюше Масловой, Катерине в «Грозе», Берте Кузьминичне из спектакля Михаила Светлова «Двадцать лет спустя»...

В общежитии — минус три, есть хотелось беспрестанно. А шуры-муры все равно крутили. Я рано вышла замуж. Дали нам комнату — шесть квадратных метров в институтском общежитии в Лосинке. Стал расти у меня живот, муж недоволен, на курсе смятение. Начали подсчитывать: разрожусь ли к защите диплома? Женька Ташков принес книгу, где сказано: месяцы берутся во внимание не обычные, а «лунные», то есть 24 дня.

Но роль в пьесе Гейерманса «Гибель надежды» репетирую и езжу в Лосинку в общежитие. Раньше автобус не ходил, и сорок минут надо было топтать до электрички. Муж оставался в институте, играл в шахматы. Иногда и ночевал там.

Родился ребенок точь-в-точь, как Женька посчитал: еще полтора месяца оставалось до защиты диплома.

Сыночек в медпункте лежал. Нянчили кто придется. Пеленок за весь день накапливалось много. Вечером темень непроглядная, плетусь, держу дорогого и любимого мальчика и узел с пеленками. Войду в наш чуланчик, истоплю печку, постираю пеленочки. Тепло станет, ребенок загукает, завизжит. Толстенький. Неизвестно, откуда молоко у меня набиралось. Правда, хлеб и сахар с чаем тогда уже были доступны.

Попали мы с сыночком как-то в больницу. У него диспепсия, то есть летний понос. Меня с ним тоже положили как кормящую мать. Дети умирали, потому что единственный способ спасения — это кормить ребенка грудным молоком. А где его взять? Мамы голодные и худые. А я, поди ж ты, молочной оказалась. Вызвала меня главврач и беседу провела, чтоб я излишки молока отцеживала или кормила чужого ребенка. Ну, я стала сцеживать. Больше полстакана набиралось после кормления.

И однажды парень приходит незнакомый и преподносит мне отрез на платье. Я не взяла. А банку меда взяла. Муж пару раз приходил, и, помню, выставлю в окошко повыше личико сына: смотри, мол, какой букетик. А сынок в поддержку мамы улыбнется. Отец таял... Думала, после больницы

станет хвалить меня, больше любить... Но нет. Сухарь сухарем, молчун молчуном.

Опять иду ночью со станции по колдобинам. Угодила обеими ногами в яму, выкопанную для столба, провалилась. Извернулась — кулек с ребенком держу на вытянутой руке выше ямы. Положила я его на край, вылезла вся испачканная. Ничего не поделаешь: надо идти дальше. Однако впервые за долгое время заплакала, горько-горько... К приходу мужа слезы высохли, а иначе и быть не могло. Есть такие слова, которые не забываются: «Родила на свою, а не на мою голову — поняла?» Потом, правда, полюбил сыночка. Играл с ним. Сын смеялся громко и радостно, тянул ручки к нему. Отец носил его по комнате, и на лице его появлялась сдержанная улыбка...

Стали актеры потихонечку ездить от общества «Знание» с творческими вечерами. Ну и я тоже. Сестре велела вести подробный дневник о каждом мгновении жизни сына...

Потом дали нам комнату в коммуналке. Внимания ко мне у мужа от этого не прибавилось. Но куда денешься, раньше ведь считали: ребенок — это связь навек.

Как-то разболелась я, крутилась на тахте, стонала в подушку. Муж с моей подругой играл в шахматы. Я старалась давить в себе боль, видя его назидательную спину. Он никогда не верил, что у меня что-то болит; смотрел всегда с иронией: дескать, тебя и дрыном не добьешь.

— А что, если стонать, легче становится? — не повернув лица, спросил он.

— Зойка! — закричала я не в силах терпеть. — Скорей «Скорую»! Вызывай «Скорую»!

Подруга кинулась к телефону, а муж смотрел на меня с раздражением... Я поняла, что так и должно быть, — не любил он меня никогда. И все же, как в палату поместили, думала, что он тут где-то, в больнице, переживает, бедный. Куда там! Не было его. Один раз только и пришел, но я не обижалась — привыкла...

К выписке из больницы передала мужу листок — список, что надо принести из одежды: ведь увезли меня на «Скорой» в одной ночной рубашке. Больные всегда глазуют: кто приехал забирать, в чем одета «на гражданке». Приехал он за мной на такси, но одежду не привез. Снял с себя болоньевый плащ и надел на меня. Зато алюминиевый двухлитровый бидон не забыл, чтоб на обратном пути колхозного молока купить на базаре, — он без него жить не мог. Сам остался сидеть в такси, а мне протянул бидон — как само собой разумеющееся. Утренняя прохлада прошла по моему животу и голым ногам. К вечеру у меня поднялась температура — 39,5. Я испугалась, позвонила в больницу. Я всех там знала и полюбила. Мы там дружили — и врачи, и нянечки, и медсестры.

Не скоро взяли трубку.

— Саша, ты? Позови дежурного врача. Кто сегодня?

— Дорофеева. Здравствуй, ты чего?..

— Ниночка Иосифовна! — подавилась я слезами. — У меня температура высокая!

— Сейчас Галка подъедет. Не плачь...

Завидую тем женщинам, которые умеют напугать так, что все близкие сокрушаются из-за любого твоего недомогания, даже самого незначительного. Я же проморгалась, выпрямилась — и вперед!

Никогда ни от кого не ждала помощи ни в чем. Всегда досадовала на любопытство людей. Они не понимали, изумлялись, как это я живу без мужика и без «мерседеса». Никогда не придавала значения отсутствию чьей-нибудь заботы обо мне...

Муж мой за время нашей совместной жизни ни разу не ездил на подработки — считал, что это принижает духовное начало актера. Но потом для другой женщины и для другой семьи стал-таки ездить, и очень ретиво.

Помню, поехала я в Прибалтику с творческими вечерами от общества «Знание». Нарва. Шесть утра. Выхожу на перрон — никто мной не интересуется. Значит, не встречают. Выплывает макушка оранжевого солнышка — наладилось выглянуть из-за горизонта: как мы тут и можно ли к нам?.. Прохладно, пар идет изо рта, но стелющийся туман предвещает теплый и ясный день. Ничего, пойду и найду местное общество «Знание»... Господи! Свят, свят! — со свистом и скрежетом тормозит легковушка с широкой полосой на капоте. Из машины выходит здоровенный бугай и смеется. Красивый такой, синяя рубашка, синие джинсы и плетеный ремень на тонкой талии. Лет ему не больше тридцати. Приветливый, но улыбается как-то не по-нашему — половину приветливости оставляет у себя.

— Испугались? — спросил, целуя мне руку.

— Да нет. Нашла бы как-нибудь ваше общество «Знание».

— Но оно в Таллинне... Впереди хотите сесть или сзади? — Он подцепил мои вещи — и в багажник.

Тембр голоса не дается мужику просто так. Тембр характеризует мужское начало. А если еще и говорит с легким акцентом — просто праздник души.

Я так думаю: очень мужественны американские пастухи — ковбои и северные богатыри — скандинавы, прибалты, этакие супермены. Недаром же, когда в фильме нужен образ мужчины «мужчинистого», то приглашают актера оттуда, из Прибалтики.

— Поехали, красавица? — заигрывая, обратился он ко мне.

— Поехали...

Бывают мужчины настолько обаятельные, обходительные, что женщина воспринимает знаки внимания с их стороны как оказанные исключительно ей одной. Я уже знала таких и любезность встречающего отнесла на счет хорошего воспитания. Смотрю — на окне сзади лежат соломенная шляпа, теннисная ракетка и красные яблоки.

С места в карьер — скорость сразу сто. Тут дороги, как в Германии, — гладкие, просторные, с яблонями по сторонам. Яблони обсыпаны яблоками. Они вроде бы ничьи, но думаю, и здесь, как в Германии, закон: «Яблоки могут рвать без разрешения только солдаты и беременные женщины».

Когда в лифте застревают два незнакомых человека, между ними возникает контакт, одинаковые мысли: «Где застряли?» «Почему погас свет?» «Не вижу вас, не интересуюсь»... Появляется принудительное общение — оба объединены одним и тем же происшествием. Стук, возгласы о помощи, страх и в конце концов доброжелательный финал. Если потерпевшие мужчина и женщина примерно одного возраста, на них печать нового знакомства. Слушалась «лифтовая», «аварийная» близость...

В машине тоже принудительное уединение.

— Не холодно, красавица? — И прибавил скорость.

Стрелка спидометра задрожала между ста тридцатью и ста сорока.

— Ой, не надо, не надо! — взмолилась я.

Упрямая широкая спина не отреагировала. Я положила голову на спинку его сиденья. Сердце рвалось из ушей, душила обида. Слышу — тормозит. Я вышла наружу и направилась в обратную сторону, чтоб не показать слез. Он подошел сзади, положил руки мне на плечи. Я молча вернулась к машине. Усевшись на сиденье, в сердцах хлопнула дверцей и едва не отрубил мизинец. Заойкала, заплакала, замахала окровавленной рукой и дала волю слезам. Сквозь слезы вижу бинт, йод и его необычайной красоты кисти рук. Забинтовал мой мизинец.

— Перелома нет.

— Ой! Жжет!

— Ничего. Скоро пройдет.

Дал выпить валерьянки, чмокнул в щеку и сел за руль. Постояли немного, и машина поплыла на скорости семьдесят — восемьдесят километров. Долго ехали молча. Потом он откупорил минералку и протянул мне.

С удовольствием выпила полбутылки. Остальное вернула. Видать, вале-

рианка подействовала — я подобрела: я обычно быстро перехожу от слез к веселью, и наоборот.

— Успокоились?

Я взглянула на его улыбающееся лицо, а «досматривала», глядя вперед, на дорогу.

— Что у вас за полоска на капоте?

— Участник ралли... Это спортивные соревнования на автомобилях.

— Представляю себе...

Смотрю, останавливается.

— Выходи, красавица, обедать будем.

В дремучем лесу стоит маленькая закусовая — всего четыре столика. Брынза, миноги, зелень и вино; потом взбитые сливки и кофе. Всего понемногу и очень вкусно. Почему он перешел на «ты»?

— Садись со мной... — ласково говорит он.

Я, как под гипнозом, повинуюсь и сажусь. Теперь уже вижу подробнее синюю парусиновую рубашку только что из-под утюга. Вижу кулак, регулирующей скорость, и слышу запах не то хорошего мыла, не то еще чего-то... Хотя и рядом едем, но я уже завоевала право быть спокойной и независимой. Подумаешь — красавец! Что ж теперь, не жить на свете, что ли?.. Ничего — прорвемся.

Опять тормозит возле какого-то теремка. Там я увидела бусы, кофейные чашечки, косынки с эстонской эмблемой. Он купил косынку, и мы пошли к машине.

— Надень, — попросил, включая газ.

Я накинула косынку на голову, концы подвязала под подбородком. Так идет мне. Взглянул оценивающе, провел пальцем по щеке, убирая прядь волос, и нажал на скорость.

— Это по протоколу?

Не обратил внимания, а на спидометр показал взглядом.

— Семьдесят — видишь?

— Вижу...

Вот и пионерский лагерь. Сегодня праздничный костер. Маршрут моих выступлений начинался с хуторов, районов и заканчивался Таллинном. Визг детей, букеты полевых цветов, приветствия на русском и эстонском языках. Меня облепили дети, цитируют фразы из фильмов. А моего «водителя» схватили в объятия хорошенькие пионервожатые. Хлопали его по плечам, тараторили. Он возвышался над этой группкой довольный, но со всеми одинаково любезный, значит, ничей.

В лесу — раковина для выступлений артистов, лекторов и кого надо. Все подтянулись к сцене. Смотрю — в белых халатах нянечки, поварихи, официантки. В это мгновение мы с ним увидели друг друга. Мне показалось — невидимая нить между нами натянулась... А может быть, я ошиблась.

Мне от мамы достался талант рассказчицы — кого хочешь увлеку выступлением, любую аудиторию. Распалилась, вдохновилась. Аплодисментов, смеха от всей души и понимания долго ждать не пришлось. «Синяя рубашка» расположилась «на галерке»: сел на землю, сложил ноги по-турецки и слушал меня с любопытством, изумлением и настороженностью, смотрел, как смотрят на циркачку, идущую по проволоке. Потом посыпались вопросы. И тут я не ударила лицом в грязь. Девушки-пионервожатые кинулись обнимать меня, когда я спрыгнула со сцены на траву. Загалдели довольные. Зацепила-таки... И сама никак не отдышусь, и они заряжены моим нервом... Дальше по плану был костер, но еще не село солнце, и мы направились ужинать.

«Синяя рубашка» села на другом конце стола, но я ее видела боковым зрением. Взяла гитару и вдохновенно спела «Сронила колечко». Попросили еще, но я чувство меры имела всегда — передала гитару другим.

— Ионас! Ионас! — зааплодировали девушки.

Он руками изобразил крест, это значит — отбой, петь не будет.

Просьбы усилились. Но он поднялся и ушел. Как только его могучая фигура скрылась из виду, заговорили по-русски:

— Нонна, что это такое?! Оставьте ночевать. Всегда лекторы ночуют у нас...

— Мне все равно, девочки, решайте.

— Тебе на шефский, это в совхозе, недалеко от его родителей... Но ехать три часа. Утром бы и поехали...

— Ну, что ж, раз Ионас решил, поедem сегодня, — без сожаления ответила я.

Мы сели в машину и поехали.

— Значит, вас Ионасом зовут?

Он улыбнулся в ответ.

— У меня есть друг, оператор Ионас Грицус, он снимал на «Ленфильме» «Чужую родню» с моим участием. Литовец.

— Мой папа тоже литовец, а мама — эстонка. Я видел этот фильм в Доме кино в Ленинграде.

— Он потом снял «Гамлета» и получил Ленинскую премию, — добавила я.

— Да, я знаю. Я с ним знаком. И с тобой тоже...

— Как?

— Ты же была на премьере тогда... Мне та девушка понравилась, которую ты играла. А когда вы все потом вышли на сцену, я влюбился в тебя... Все актрисы помнят о своих глазках и бедрах, сначала преподносят эти достоинства, а потом уж играют. А ты не заботилась о своей внешности и не подозревала, как была хороша!

В лесочке останавливает машину, жестом приглашает выйти.

— Погуляй немного, яблок нарви.

— А можно?

— Конечно, можно. Я кое-что приготовлю для дальней дороги.

Я пошла к яблоням. Давненько это было, наверное, три или четыре года прошло, как были мы с фильмом в Ленинграде. А он помнит...

Быстро опрокинулись сумерки. Темнота закрыла лес и дорогу. Яблок нарвала, а идти к машине не решилась. Не зовет — значит, подожду. Блаженство... Хорошо пахнет, и попутчик прекрасен. Слышу сигнал, поднимаюсь с пенечка и не спеша иду.

Господи! Я обмерла. Спинка сиденья опущена назад, получилась кровать... Клетчатый комплект постельного белья, красный плед с длинным ворсом.

— Прошу!

— Я еще не хочу спать. Я еще бы посидела.

— Мало ли что «ты бы...». Располагайся! Сейчас поедem, дорогая...

— Ой, Боже!.. Какой грозный! Ноги у меня все в пыли.

— Сударыня, я полью тебе из термоса.

Большой-пребольшой термос поставил на траву, дал кусок мыла.

— Пойдем к пенечку.

Льет из термоса на мои ноги. Вода теплая. Стараюсь, мою, угождаю... Ионас бросил на пенек сиреневое махровое полотенце, я тщательно вытерла ноги и полотенце положила на пенек.

Улеглась и ощутила, что под простыней нежный пухлый матрац.

Какое горькое наслаждение испытала я, когда красавец наклонился, чтобы подоткнуть плед мне под ноги. Так же деловито отошел, помыл яблоки и поставил их возле меня в соломенной шляпе.

— Поехали, красавица?

«Самое мертвое слово — красавица», — подумала я.

— Поехали. Я еще не хочу спать.

— Не спи. Поговорим.

Я не знала, как лучше лечь: на спине не люблю, отвернуться от него — вроде бы невежливо... Легла на левый бок и, чуть усилив голос, спросила:

— Ты работаешь в обществе «Знание»?

— Нет. Я окончил Институт культуры в Москве и преподаю живопись в художественном училище.

— Значит, ты художник.

— Я тебя познакомлю с настоящим художником. Он выставляется. Мой близкий друг.

— Художник? Только чтоб не зарисовал...

Впервые он захохотал в голос.

— Если не захочешь, никто тебя рисовать не будет, — давясь от смеха, ответил он. — Чудачка! Ему позировать — это большая честь.

— Ой, ой, ой! Не надо! Я это прошла... Со мной уже было такое. Женька Расторгуев — сейчас известный художник. Привязался, проходу не давал — для защиты диплома просил меня позировать. И жена его Тамара просила. Я согласилась. Вид у него был оригинальный: рваный деревенский полушубок, подвязанный веревкой, и валенки в заплатках. Живописно, в общем. Из деревни приехал, окончил Суриковское. И все в полушубке и валенках. Тамара тоже художник, мультипликатор. Она-то и уговорила. Какая это мука для непоседливого человека! Многое из его баек об их профессии узнала. И про лессировку и грунт, и биографии всяких художников. А кстати, и про вашего одного упоминал.

— Про кого?

— Когда он о жанрах стал говорить. Графика, например. Красаускас — знаешь?

— Еще бы!

— Говорил: прибалты — это сказка. Обнаженные мускулистые торсы крупных мужчин. Топоры в руках. Ветры, навек построенные хутора... Могучие и прочные люди, и устои их непоколебимые.

— Молодец твой Женька Расторгуев!

— Несколько месяцев преследовал. Я все же не выдержала. Хватит, думаю. Убежала. У меня этот портрет дома висит.

— Хорошо получился?

— По-моему, темновато... А Женька потом объездил много стран и в Италии получил приз за картину. Может, потому, что на медной табличке было выгравировано: «Лауреат Сталинской премии». Вместо буквы «е» выгравировали «э». Кто ни посмотрит, спрашивает: а почему «премии»?

— Лауреат Сталинской премии, — без интонации сказал Ионас.

— Там еще ошибка есть. Руки не мои, а Тamarкины, и ногти, и пальцы... Вообще жены художников иногда суетятся возле меня. Жена Пименова недавно подстерегла...

— Зачем?

— Чтоб я согласилась позировать ее мужу.

— Отказалась?

— Конечно. Я ж говорю: Женька навсегда отбил охоту. Сколько можно терпеть! Ему-то хорошо — сиди себе! Рисуй!

Ионас склонил голову к рулю, посигналил в пустоту и рассмеялся от души. Я замолкла: может, хватит тарыхтеть?

Долгонько ехали молча. Уж и не смотрю на спидометр — машина, кажется, летит, не касаясь земли. Ионас время от времени подается вперед, руки где-то внизу, будто руль без управления. Любоваться можно и природой, и человеком. Я радовалась, что еще целых пять дней быть с Иоанасом «взаперти».

Наконец приехали. Залаяли собаки, подбежали к машине. Ионас вышел, овчарки ластились к нему. Из калитки показались девочка, мужчина, похожий на Ионаса, очевидно, брат, и молодая женщина — наверное, жена брата. Поздоровались, познакомились. Подошли к огромным воротам — кажется, до неба. Братья отвели могучие двери по сторонам, и открылся хутор, освещенный луной. Он был похож на декорацию из сказки.

Мужчины перебросились парой фраз между собой на эстонском языке.

Легко вкатили руками машину. «Ветер... Ветер, топоры, сильные спины мужчин, рубивших добротные хутора...» Так говорил Женька Расторгуев.

— Ну, что, ветерок не сшибает с ног?

— Нет. Хорошо. Ветер теплый и добрый. Красаускас, одним словом...

— Красаускас и Женька Расторгуев, — положив ладонь мне на плечо, мягко сказал Ионас.

Познакомились с пожилой хозяйкой дома. Она старалась говорить только по-русски. Тут я впервые услышала слово «сауна». Не только услышала, но и сразу очутилась в ней. Я раньше знала, что это баня. Но баня необычная.

Молодая женщина по имени Ада и девочка приветливо объяснили, как действовать, и я села сперва на нижнюю полку. Обдало жарком с запахом укропа и сосны. Само собой как-то замолкли. Первое ощущение — объятие доброй теплоты. Шевелиться не хочется. Хорошо!

— Папа, вы здесь? — спросила девочка.

— Здесь, — послышалось рядом, так близко, что, казалось, дыхание доходило.

Оказывается, мы парились все вместе, перегороженные чугунной решеткой в мелкую клеточку.

...Что за чудо — сауна! Правду говорят — будто заново на свет родился. Я стала легкой, как пушок, и радостной, как в детстве возле мамы. Ада, пошелестев целлофаном, принесла из предбанника махровые халаты и, когда мы вытерлись хорошенько, приказала запахнуть халат и накрутить на голову полотенце; поставила возле моих ног полусапожки на плоской подошве. Вошли в дом. Гостиная с камином. Дрова горят. Вокруг кресла поставлены.

— Садись, — пригласила Ада.

Огонь, поленья трещат... Утонула в пахучем халате и соглашаюсь со всем, что происходит. Братья подкатывают к огню стол, похожий на журнальный. Но большой. Как они оба красивы! Уставили стол разными яствами, и, как завершающий аккорд, мать внесла две бутылки вина; протерла их и поставила в центре стола. Ионас усадил ее в кресло и что-то буркнул по-эстонски. Выпили вина. А хлеб какой! Темный, круглый, кисло-сладкий...

Голова моя стала клониться вбок — захотелось спать.

— Теперь по протоколу, как ты говоришь, надо спать, — улыбнулся Ионас.

Старший брат подводит меня к высокому шалашу. Шалаш не простой, из тюля.

— Не верится, — пролепетала я.

— Это все ребята придумывают — руки у них золотые, — пояснила Ада.

— И я с вами, — попросилась девочка.

— Конечно, конечно! — сказал Ионас и принес раскладушку.

Вошли в шалаш, уселись на кровати и — на тебе! Шалаш поехал тихим ходом и остановился в центре пруда.

— Ничего себе! Да еще по рельсам идет!..

— Не бойтесь, — успокоила девочка. — Никакой комар не укусит...

Вскоре я, накрывшись пуховым одеялом, утонула в мягкой постели.

— Платок надень, — подала мне Ада теплую шаль.

«Неужели это я?» — подумалось. Сон улетучился, вспомнила свою житуху в Москве, и стало так жаль себя. Эх, казанская сирота! Что ж я так мотыляюсь, никому не нужная? Хоть и знала, что нет виновных, но душу жгла обида на мужа. Всех нянчить, за всех душой болеть, а стакан чаю еще никто не поднес. Никто и никогда...

Утром проснулась счастливая. Вкусно позавтракали. Хозяева ко мне со всей душою — я это чувствую сразу.

— Когда поедем?

— Скоро. Тут недалеко. Будешь «шефака давить»! — засмеялся Ионас.

Вижу, и девочка, и мать собираются ехать с нами. Выяснилось, что он нас завезет на кладбище, а сам поедет в совхоз, чтоб проверить, все ли готово к моей встрече.

— Подышишь воздухом. Тут хорошо. Я приеду часа через полтора.

Вскоре мы оказались у кладбища. Плиты лежат на земле. Небольшие, почти одинаковые по размеру. Тут все равны. Разве что семейственность соблюдается.

— Ну вот и карашо, вот мы к вам и пришли... Вот мой папа лежит, вот брат, здесь сестра... А вот мое место... Ну и карашо, все карашо. Давайте молочка прохладного поьем, — сказала мать.

Она опустила на землю. Разлила молоко и приготовила хлеб.

— Все карашо. Садитесь на траву, земля теплая.

Попили молока, посидели, потом она встала и начала убирать могилы. Протерла надгробия влажной тряпкой. Высветлились все фамилии.

— Вот и карашо... все карашо... Вот тут мое место... — Вытерла потное лицо и предложила: — Ноня, наливай молока и себе, и нам. Поьем еще.

Послышался шум машины. Полчаса всего прошло... Ионас идет к нам.

— Я вернулся с полпути. Собирайтесь, поедем вместе.

Душа моя почувствовала: приревновал меня к природе, к чему-то происходящему без него. Это предчувствие любви и есть счастье...

Уселись в машину. Тронулись.

— Ионас! — чуть не крикнула я. — Кони!

— Да. Здесь совхоз коневодческий. Уже подъезжаем. Наши две лошади пасутся тоже здесь. Летом.

— А седла? Седла есть?

— Все есть, — улыбнулся Ионас. — Хочешь покататься?

— Еще как!

— Не упадешь?

— Прошу не оскорблять! Во-первых, на лошадях не катаются, а ездят, во-вторых, у меня диплом об окончании школы верховой езды при ЦСКА.

Давным-давно прошли кинопробы к фильму «Комиссар». Я получила тогда диплом по верховой езде.

— Вот не знал. Сейчас разберемся.

Сердце забилось. У меня манера — немедленно добиваться желаемого.

Вижу: Ионаса облепили люди. Ни слова по-русски, но ясно, что планируется что-то. Потом Ионас подходит к какой-то женщине, та удаляется, и через некоторое время всякие ремешки и железки кучей падают к ногам Ионаса. Это все нужно, чтобы запрячь верховую лошадь. Ионас посмотрел на меня, и я подошла. Подвели коня. «Смирный», — сообщил Ионас. Я взяла седло и накинула на круп коня. Мы вместе с дяденькой затащили все подпруги, чересседельник. Я защелкнула уздечку и направилась в сарай. Там меня поджидала молодая женщина с синими брюками. Сапоги великоваты. Это надо обязательно учесть — скорректировать ступни ног в стремянах. Поводок, правда, один. А я училась с двумя: второй для мизинцев. Это не беда. Справлюсь. Хорошо, что команды для оседланных лошадей повсюду одинаковые. Подошла к своему незнакомцу со стороны морды, ласково приговаривая, дала хлеба, сахару. Он нежно снял еду губами с моей ладони.

— Подстрахуй, Ионас! Подведем его вон к тому заборчику. Круп выскок.

Послушный конь! Дала ему команду на школьный шаг, и мы прошли круг на глазах у всех. Тут я приказала — в галоп, и он взял. Галоп — самая хорошая позиция и для лошади, и для седока. Мы будто сливаемся и легко летим. Тут я, распалившись, решила покинуть подворье и умчаться за ограду. Простор, ветерок... Галоп — это что надо! Вообще лошади, как люди: загораются, жаждут пошалить, прибавить скорость. Молодец я — не осрамилась...

Подскочили к озерцу, я ослабила повод и тихо посвистела, приглашая коня попить. Мне бы за этот свист тренер дал жару — команды разрешены

только руками, ногами. Конь замотал головой, не захотел пить. Вижу: за ушами пена выступила. Поехали обратно рысцой. Тут я вспомнила: разве можно предлагать лошадям пить в разгоряченном виде? Сначала лошадь должна успокоиться, отдышаться. Я виновато потрепала коня за холку, как бы извиняясь.

Прибыли к ожидающим нас обычным беговым шагом. Ионас взял коня под уздцы и повел к заборчику. А хозяйка синих брюк повела меня в душ. Стою под струей и хвалю себя: «Молодец! Ай да я! Справилась, не забыла...» Причесалась, заколола сзади «конский хвост», подчипурилась немного и с горячими щеками вышла из сарая.

Необъятный круглый стол накрыт. Он ниже обычного, к нему подставлены небольшие кресла. Запах цветов, еды...

В центре сидит кудрявый симпатичный мужчина. Видно, местный начальник. Меня сажают рядом с ним.

— Первое отделение вы с честью выполнили, — говорит он. — Переходим ко второму.

— С вами легко, — отзываюсь я.

Беседа прошла как никогда. Все у меня вышло пылко, художественно. Рассмешила всех и развлекла. Остались довольны.

— Вот мы в Латвии снимали фильм «Председатель», воспользовались пустующим павильоном, — сказала я. — И вообще по всей Прибалтике наши кинематографисты бывают. Любуются вашей жизнью, культурой. В любое время у вас можно найти место, где перекусить. Везде чисто, вкусно, уютно.

— Когда из Москвы пришел указ об уничтожении личного хозяйства, наши республики наполовину не послушались. Понятно? — спросил мой сосед.

— Понятно.

Бурные аплодисменты, смех...

Включили радиолу. Пустились плясать национальный танец, ритмичный, незамысловатый. Ионас ушел куда-то, стало как бы пусто, а вернувшись, я не глядя почувствовала его присутствие.

Распрощались дружески, договорились встретиться в Таллинне, в погребке. Сердце сжалось — не хотелось думать о конце путешествия...

Смешливый парень открыл заднюю дверцу машины. Я села. Он спереди.

Парень одет просто, но со вкусом. Усики у него, узкие черные брови. Похож на культуриста. Статный, хотя и роста невеликого. Наверное, занимается спортом.

Наконец Ионас садится за руль, и мы едем по гладкой дороге. Перед нами уходящее темечко солнца. Оно, будто спокойно за жизнь обитателей, прощается до завтра...

— Отто, только не зарисовывай! — погрозил над головой указательным пальцем Ионас.

— Ни в коем случае! — засмеялся наш спутник.

Это, наверное, тот художник, о котором почтительно рассказывал Ионас. Он был очень кстати: наши «добрососедские» отношения были уже на пределе. Наедине стали помалкивать — говорить не хотелось.

— Значит, вас зовут Отто?

— Та...

— Не жил ли ты на Дону или на Кубани?

— Не только жил, но и родился там. Папа мой, проклятый оккупант, полюбил казачку. Немец, а поди ж ты... Сейчас, как приедем, покажу фотографию — как две капли воды на тебя похожа... Упрямая попалась казачка. Сильно любили друг друга, а мама не посмотрела ни на что: родился мальчик Отто. Отто Карлович. Сам Карл погиб в Берлине. Мама ни на кого и не взглянула. Одна живет. Сохранилось единственное письмо от отца, написанное под диктовку на русском языке. У матери оно.

— Хороший сын получился...

Ионас остановил машину и по-эстонски обратился к Отто. Перевода не

требовалось. Отто сел за руль, и Ионас — на заднее сиденье ко мне. Как отъехали, подложил мне руку под голову и наклонил к себе на плечо.

Они стали громко говорить по-эстонски, спросив у меня разрешения. А мне бы только не шелохнуться, чтоб, не дай Бог, показать, как нравится лежать на плече Ионаса. Так и доехали до какого-то продолговатого одноэтажного дома с темными окнами. Я подняла голову: где мы? Ионас ответил спокойно:

— Я согласился переночевать у него за то, что посмотрим его домашнюю картинную галерею.

— Видала? — хохотнул Отто. — Накорми его, спать уложи да еще картины покажи!

Свет засветился во всех окнах одновременно. Меня усадили в кресло, укрыли пледом и включили телевизор.

Мужчины удалились на кухню. Звякала посуда, накрывали на стол. Что-то зашкворчало, поплыл запах еды. «Только что ели... Пусть — им виднее...»

Прежде чем сесть за стол, прошли по галерее. Что-то я смотрела вежливо, что-то — с интересом.

Остановилась перед небольшой картиной.

— Ведь это Ионас!

— Такой здоровенный, а картинка такая маленькая! — захохотал Отто.

Сели за стол. Ой, и вкуснота! Я пила грузинское вино. Разговор зашел о «наивном искусстве».

— Я все вспоминаю одну бабу, — говорю, — выставляется она по всем странам. Вот картина: в ночи лицо женщины между кустами, освещенное одним источником света — сбоку. Но какое лицо и как выписано! Сын у бабки моряк. Так она сделала тарелку, а по ней плывет на плотике морячок, управляя веслом...

— Ну и что?

— А вот что — тарелочку она сделала овальной, наподобие лодки... А один умелец все коней вырезает. В воскресенье надевает лаковые туфли, пиджак и несет их на базар. «Сколько стоит?» — спрашивают. «Нисколько, — отвечает. — Это я к тому, чтоб люди не забывали, какие они, кони...» Я видела этих коней и создателя их в документальном фильме Вячеслава Орехова. Да что говорить! Мне кажется, обучение в творческих вузах надо начинать с так называемого «наивного искусства». Орехов где только не лазит: и по бурьянам, и по крышам, и по деревьям... Ищет, снимает. Драгоценно все, что он фиксирует на пленке. Не называйте это искусство наивным.

Отто стал совсем другим — сосредоточенным, вдумчивым.

— Вы правы, Нонна. Я собираю такие картины и не замечаю, где наивные, а где мастеровые.

Я и не заметила, как он, держа в руке всякие карандаши, шуршал ими по толстой белой бумаге.

Запели с Отто в два голоса казацкую песню. Ионас слушал очень внимательно, не шевелясь, глядя на нас исподлобья.

Я стала рассказывать что-то, чудить. Аж жарко стало — такая расталантивая я была в этот вечер, а вернее — в ночь.

Утро. Ионас подчеркнуто берет меня под руку и ведет к двери ванной.

— Прими душик, Викторовна, а мы пока соберемся.

Боже мой! Зеленая керамическая ванна, сиреневый кафель, по стенам распростерлось какое-то синтетическое растение. А душ брызнул из букета искусственных ромашек. Немного подкрасилась, надела что посимпатичнее и спустилась вниз.

Горячий кофе с кекером. Позавтракав, уселись в машину. Когда тронулись, Ионас поставил на мои колени картину, понравившуюся мне.

...Вот и Дом культуры. Входим в кабинет директора, а Отто поехал домой, взять жену на мою встречу. Смотрю, суетится девушка, похожая на

мальчика. Поздоровавшись, она повесила мое платье, туфли поставила, постелила цветную салфетку на стол и водрузила овальное зеркало.

Узенькая, как рыбка из аквариума, небольшого роста, с «зековской» прической.

Ноготками кто-то поскреб по двери. Она высунулась. Это Ионас позвал ее. Они больше не вернулись. «Какой понятливый! Знает, что птичка может быстро надоесть...» — подумала я.

Услышала его голос, объявляющий мое выступление. Пошел фрагмент из фильма «Молодая гвардия». Стою за кулисами в темноте и вижу, как Иоанс открыл дверь кабинета и ищет меня возле экрана. «А, вот ты где... Всего хорошего!» — выдохнул он и чмокнул меня в ухо. Чего там говорить — душа полетела к Богу в рай.

Я сразу взяла зал в руки. После третьего фрагмента возликовала. Аплодисменты зала не давали договорить фразу.

Встреча прошла на ура. Букеты не объять, не донести. Ионас забирает их у меня, я иду раскланиваться, вижу бегущих за кулисы, чтоб взять у меня автограф. Призадержалась, дала автографы и с облегчением направилась к директорскому кабинету. Запахло едой, зеленью, розами. Директор — русский, с боевыми колодочками на пиджаке. Появилась немолодая женщина.

— Супруга моя. Садись, Катюша, вот сюда.

Ионас вскочил и вскоре привел Отто с женой.

— Знакомьтесь, это Вера, — сказал Отто. — Моя мама нашла ее на грудочке...

— Правда, правда, — подтвердила его молоденькая жена. — Тетя Наташа заметила меня, когда я в десятый класс пошла. И в поле на работе она гостинцы мне разные давала...

— Это мама моя, — загремел Отто. — Слушаем, рассказывай дальше!

Она продолжала:

— «Вот приедет мой сын в отпуск, сразу возьмем тебя замуж!» Ну, и пошло. Отто и раньше приезжал, но я с ним не знакомилась. А тут он приехал на попутке ночью. Тетя Наташа взяла его за руку — и к нам. Разбудила всех, велела, чтоб на стол готовили. Сели мы с Отто рядом, познакомились, понравились друг другу — и наутро в сельсовет, зарегистрироваться... Вот третий год пошел...

Да, казачки такие!

Вдруг вбегает небезызвестная девушка-мальчик и садится к Ионасу на колени.

— Пленка в машине, банку для цветов водой наполнила, все о'кей! — отчиталась она.

Ионас был невозмутим, как будто к нему на колени уселся кот. Другие не обратили внимания, а я чуть сознание не потеряла. У них тут своя жизнь. Они помоложе меня, и национальность другая. Она хорошенькая...

Как могла, взяла себя в руки, но чаю выпить не смогла — перехватило горло. Вспомнила давнее-давнее мамино рассуждение: крупные мужики всегда тянутся к маленьким женщинам; вспомнила Сакуна — главного редактора нашей газеты «Горячий ключ» и его жену. Высокий он был, красивый, а жена — маленькая блондинка. Мама любила все красивое, восхитилась им и выразила свое восхищение статейкой о колхозных достижениях. Послала меня к ним домой, чтоб я отдала записку Сакуну лично в руки. Я разинула рот. «Откуда он взялся, такой большой и красивый?» — удивилась, хоть мне было всего девять лет.

На что я претендую? У меня семья, а эта маленькая женщина подходит ему как раз по закону природы... Ионас встал и вышел. А на пороге появляется мальчик с букетом цветов, за ним его мама. Я обрадовалась: Маргарита! У нас с нею была «закулисная дружба». Мы часто ездили вместе выступать.

— Вот тебе твоя Мордюкова! — воскликнула она.

Все засмеялись.

— Представляете, такой националист, — это Маргарита о своем сыне, —

смотрит только американские фильмы и эстонские, но если Мордюкова — бросает все!

Я взяла букет, поцеловала мальчика.

— Здравствуй, Скайдрида, — поприветствовала моя подружка «помощницу» Иоанаса, — как живешь?.. Слушай, поедем ко мне, — обратилась она ко мне. — Поболтаем, коньячку выпьем.

— Ты как с неба свалилась. Благодарю Бога! — обрадовалась я.

Входит Ионас с разными бумагами.

— О, мадам! Сколько лет, сколько зим!

— Ионас, дорогой, завези нас с Нонной на ночевку к моей маме!

Он поднял бровь: дескать, вмешиваетесь в программу, — но сдержался. Расстегнул пуговицу пиджака и не дрогнув застыл: внезапно Скайдрида прыгнула на его спину, обняла за шею. Он сказал сухо: «Осторожнее — пиджак помнешь». И вышел, неся на спине свое сокровище.

— У нее латышское имя? — спросила я у Маргариты. А, впрочем, какая разница?

— Тут, Нонночка, как и у вас, неразбериха: и женятся, и работают, и дружат скопом латыши, русские, эстонцы.

Вернулась Скайдрида. Покосившись на выпивку, предложила:

— Давайте выпьем. За тебя, Нонна, ты женщина у-ух! Ты такая...

Одним словом, русская женщина.

— «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»? Некрасова знаешь? — спрашиваю.

— Не знаю, но сказано точно. Давайте выпьем за русскую женщину!

Но меня уже понесло.

— Знаешь русских?.. И то, что русские — оккупанты, тоже хорошо знаешь?

— А это — прежде всего! — полоснула она наотмашь.

Боковым зрением я увидела входящего Иоанаса.

— Запомни: пацаны наши не хотели умирать на чужбине. К маме им хотелось, домой хотелось, на родину рвались... Но пуля сразила русского парня здесь, не объяснив, почему здесь и за что! Ты не хотела бы умереть в России, а он не хотел в Эстонии...

— Я латышка, — растерянно пролепетала она.

— Не важно! Принесла ли ты хоть раз цветок на могилу русского парня? Забудете, затопчете, предадите забвению могилы тех, кто вас от фашистов спас, — Бог вас накажет...

Я опустила лицо, чтоб не видели слез...

Попрошались с Отто и его женой Верой. Договорились встретиться в Таллинне. Мальчик сел рядом с Иоанасом, а мы с Маргаритой — сзади.

Вот и остановка — небольшой дом с крыльцом. Мы с подружкой и ее сыном вышли. Ионас нажал на газ.

Мама Маргариты приняла меня очень хорошо.

— Она гостям рада и любит русское кино. Проходи, будь как дома.

Мне ответили отдельную комнату, я наконец легла, и тут же нахлынули мысли об Иоанасе. Ни к чему это... Распустилась. Увлелась... Поставила себе на грудь командировочный приемничек «Селга», тихо плачу, прощаюсь. Больно. Очень больно...

«Ноктюрн», — объявляет голос. Красиво играет квартет. Сердце забило, да так сильно, что я села. Пошарила глазами по неосвещенной комнате, по кольшущимся веткам за окном и пошла к окну... Ты здесь!.. Под окном «наша» машина. Вгляделась, увидела: дверцы распахнуты, кое-где белеют кусочки простыни, свесился плед... Спишь, рыцарь мой? А я лью теплые слезы... Как я люблю тебя!.. И тебя, твою силу и красоту, и Прибалтику... Тихо, сладко, хорошо — пусть хоть на миг.

Легла в постель, но уснула лишь под утро. Как только услышала стук в дверь, сразу догадалась, что это он, Ионас.

— Викторовна! Кофе на столе...

— Сейчас, сейчас! — Я схватила косметичку, одежду и, пряча лицо, рванула в ванную... Облилась хорошенько, навела легкий марафет и вышла. Маргарита подмигнула мне и фальшиво удивилась:

— Представляешь? Ночевал под окнами!

— Знаю! — ответила я и слегка прикоснулась губами к его щеке, как будто впереди были не сутки, а вечность.

Мы с Ионасом словно переболели каким-то недугом, тяжело молчали, не разговаривали. Поблагодарили за угощение, попрощались, Ионас пошел к машине. Ах, дорога, ах, лето, ах, несчастье! Мы как бы уговорились, не уговариваясь. Все ясно.

Большую часть пути ехали молча, иногда говорили о незначительном. Маргарита рассказала мне о трагедии в личной жизни Ионаса. Полюбил молоденькую еврейку, родился сын. Жили счастливо. Захотелось ей в Америку — он ни в какую! Хуторские не уезжают. Страдал. Потом пришел в себя...

Вот и Таллинн...

Председатель общества «Знание» и Скайдрида в синих джинсах и желтой водолазке поджидают нас у гостиницы «Таллинн». Свободных мест в ней никогда нет и не будет. Тут же отправились во Дворец культуры.

Все пошло по накату: в актерской комнате чай, кофе, сладости, цветы. Я стала листать увесистый альбом с фотографиями гостей города, знаменитых артистов, и автографами на память. Кого там только не было!.. Сколько знакомых, родных лиц из разных республик...

Вышла на сцену. Зал битком. Актеры любят выступать на этой сцене — всегда аншлаги. Я вдохновилась... Овация. Повалили желающие получить автограф. Ионас сдерживал напор. Похвалы, цветы, рассуждения о кино... Как обычно.

Потом Ионас и Скайдрида повезли меня в гостиницу. Ионас внес в номер все мои вещи, вплоть до коробки с пленкой. Прежде она у него была постоянно в багажнике. Сердце забило так сильно, что я услышала его.

— Я вернусь через семь минут, — сказал он и поспешил догнать свою подружку.

Значит, он придет ко мне?.. На ночь... Как это?.. Останется у меня... Ополоснулась под душем так, чтоб не капнуть на лицо, — пусть буду в легком гриме. Надела крепдешинное платье в цветочек и лаковые туфли. Не успела закончить сборы, как в белой, как снег, рубашке и с влажными волосами встал в дверях «мой» красавец.

— Мы едем на корабль, — сообщил он.

И машина, смотрю, блестит, как мои туфли.

Приезжаем на берег. У причала стоит небольшой корабль с ярко освещенными иллюминаторами. Гремит музыка. Ионас берет меня под руку, и мы входим в уютный зал. За столиками молодежь. Некоторые сидят на коленях друг у друга. Курят, смеются...

Ионас усадил меня за двухместный столик, а сам направился к буфету. Заставил стол и сел. Разлил по фужерам грузинское вино и, не глядя на меня, сказал:

— У тебя увлажнились глаза, и ты стала еще красивее.

Я едва сдержала слезы.

— Когда я жила на Кубани, — сказала я, — на танцы к нам приходили морячки. Меня никогда не приглашали: в ходу были пухленькие с кудряшками девочки. А вот когда мы вечерами крали яблоки в чужих садах или рассказывали что-нибудь, шутили, тут уж я занимала первое место — мальчики все были мои.

— Там был и я. Просто ты меня не заметила...

Мы чокнулись, выпили прекрасного вина «Хванчкара».

Вдруг сзади к Ионасу подошла Скайдрида и прикрыла ему ладонями глаза.

— Вот вы, оказывается, где! — торжествующе сказала она.

Ионас встал, усадил ее на свой стул и пошел за другим. Принес стул для себя, присел. Они заговорили вполголоса по-эстонски. Потом поднялись и быстро пошли к выходу. Внезапно Ионас вернулся и приказал мне:

— Не шевелись! Я отвезу ее, она живет в глухом переулке. Не шевелись! Я мигом туда и обратно.

Ей хорошо — она такая маленькая, беззащитная. Таких всегда спешат полобить, спасти, сберечь... А я как на броневике. В меня кидают букетами цветов, аплодируют, порою обожают... Пора! Пора бежать от этих красавцев, от этих прибалтов с невестами!..

Позвала официанта, расплатилась, схватила такси — и была такова. В номере, не зажигая света, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Я увидела Москву, дом и алюминиевый двухлитровый бидон... «Ионас, Ионас, я никогда не забуду тебя, всегда буду любить тебя, мужчина мой...» Вдруг опомнилась, поняв, что больше видеть его нельзя, — выяснения и упреки не пристали незабываемой сказке. Зажгла свет. О ужас! Лицо красное, буграми. Верхняя губа раздулась, ноздри тоже... Подставила лицо под холодную струю. Посмотрелась в зеркало — никакого воздействия... Надо бежать отсюда. Не хватало еще ему застать меня в таком виде! Быстрее на улицу, смешаться с толпой!

Распахнула дверь и увидела немигающие глаза Ионаса, застывшего напротив, на краешке кресла...

БАСМАЧ

Абхазия. Сажу на балконе актерского Дома творчества «Пицунда» и волнуясь. Откуда-то нахлынул дождь. Загрозил, засверкал молнией. Белые высокие волны угрожающе вздымались к потемневшему небу.

— Хорошая примета, — тихо сказала соседка по балкону.

Трахнула гроза, не веля рассуждать по поводу ее действий. Сердце колотится... А почему? По дурости. Придет ли машина, обещанная директрисой, чтоб побыстрее добраться до аэропорта? Вовремя ли будет взлет, да как дальше, что там в Москве?... Дурной характер — все не верится в благополучный исход...

Любая услуга мне в тягость. Помню, когда еще в баню ходила, бывало, от всей души старательно терла мочалкой чью-нибудь спину, а как мне начинают тереть — вся «скукожусь»: стыжусь траты на меня сил чужого человека. «Спасибо, спасибо!» — говорю и отбираю мочалку. «Давайте, еще бочок!» — «Нет, нет... пойду попарюсь...»

Когда сын был маленький, няньку нанимали, так я кидалась выполнять за нее все дела. Как это — человек на тебя работает?! «Потому у тебя и няньки не уживаются. С ними надо построже, с ними уметь надо», — учила меня одна дама.

А я не умела.

К примеру, жила у нас, нянчила сына Нина. Первым делом — дружить. Как же иначе? В выходной день она «чистила перышки» и шла на свидание с таксистом. Однажды жду ее с нетерпением: скажет ли она ему так, как мы сговорились? История банальная: забеременела Нина от своего ухажера. Мы с нею решили, что в 28 лет пора рожать. Будем растить ребенка вместе с моим сыном.

Приходит Нина заплаканная, вешает беретик и плащ.

«Подкупил» он ее весной вполне мужским и красивым поступком. Подрулил на незнакомой улице к большому кусту сирени и стал ломать ветку за веткой.

— Не надо, что ты делаешь?! — испугалась Нина.

В окне первого этажа, подперев рукой лицо, улыбалась старушка.

— Пускай ломает — это его куст.

— Правда, правда, я его сажал, и я ухаживаю.

Краткой была пора сирени. Осень пришла...

Нина протирает мокрое от слез лицо платочком. Чистенькая она была, аккуратная. Я суечусь как ненормальная, тарахчу участливо: «Ну а ты ему, а он тебе?»

На мои сто слов она одно. А я уж и сыну готова была сообщить радостную весть о появлении ребеночка. Долго не могла уснуть от сознания дружбы с Ниной и предстоящего объяснения со своим неразговорчивым мужем.

Утром вхожу на кухню, чтобы сказать, что ей делать, пока я буду на репетиции.

— Нинок, вот двадцать пять рублей. Это все до зарплаты. Сходи разменяй, мне тоже деньги нужны.

Она молча заминает луночки на беретике, соседка косится на нас, помещивая что-то в кастрюле.

— Нин, чего молчишь? Поняла, о чем прошу?

— Разменяю — так разменяю, а не разменяю — так не разменяю.

Соседка пошла в свою комнату, вернулась с кошельком.

— Я разменяю, — сказала она.

— Спасибо. Вот, Нина, тебе двадцать, а мне пять.

Она молча взяла деньги, и дверь за нею захлопнулась.

— Чего ты с нею нянчишься? — буркнула соседка.

— Магазин только что открылся. Может и не разменять, — виновато ответила я.

Душа человека неисповедима: «подруга» моя заявила об уходе, отработав положенные две недели. Нечего советовать, нечего быть умнее всех! Поделом мне. Мое внимание и ласка казались Нине унижением.

К слову сказать, какие типажки являлись вереницей по объявлению! Одна приходит — поднятая бровь, лет сорок пять на вид. В шапке-ушанке, морском бушлате. Садится на табуретку, шлепает ладонью по клеенке на столе.

— Так. Я сектантка. Выходной — понедельник. В воскресенье — чет-вертинка, премия за хорошую работу.

Соглашаюсь: заступайте. Через неделю со слезами признаюсь, что она не подходит. Привычная к отказам, она торжественно собирает пожитки и перед дверью бросает:

— Не держи деньги на виду! — Уходит.

Следующая — деревенская, ничего вроде. Но сын стал ночью вскакивать и кричать: «Не стреляй! Не стреляй!» Оказывается, у нее в кармане фартука был детский пистолет с пистонами. Если сын не хотел есть, она медленно наводила на него пистолет.

— Будешь есть?

— Буду, буду! — Он склонял голову к тарелке и съедал все до конца.

Удивительно — там, где строго, богато, домработницы живут вечно, лишаются личной жизни, полностью принадлежат хозяевам. Где бедно, где с ними, как с подругами, они не приживаются, хоть и оплата та же самая. Уж по найму, так по найму: ты хозяин, а я тебе угождаю за определенную плату. Свойскую да простенькую хозяйку домашние работницы не уважают.

Стали приезжать с Кубани сестры. А их аж три! Приезжали по очереди: то одна, то другая. Тут уж мы управлялись — и песенки пели, и готовились к поступлению в институт.

Прошли годы. Сидим как-то в гостях у режиссера, обсуждаем будущую картину, мою роль. Вдруг входит моя постаревшая Нина с румяными пирожками на блюде и улыбается.

— Нина?

— Ниночка наша, — поясняет жена режиссера. — Уж лет пятнадцать у нас.

...Опять трахнуло в небе, мазнула молния, вновь посыпался на деревья дождь.

— Это к счастливому пути, — ворчит соседка.

Словно бы я виновата — все мое пребывание здесь было ясное небо, теплое море, и вдруг за пятнадцать минут белый свет опрокинулся. Наколдывала я будто. Глядь — высветился белый цветок магнолии, крепко запахло морем, цветами, травой. Слышу — внизу пунктиром сигналит автомобиль.

— Асхан — машину рукой.

Асхан — водитель машины дома отдыха. Ворота сами расходятся, машина въезжает, он хлопает дверцей и пальцем показывает на циферблат часов: дескать, точно, как в аптеке на весах. Скрылся в здании, через минуту стук в дверь.

Спускаемся. Внизу отдыхающие вышли проститься со мной. Обменялись любезностями, я захлопнула дверцу машины, мы помчались.

Повезло: накрыло дождем — и тут же солнце. Это подарок Бога — все горит и сияет искрами бывшего дождя. Ветер крутится по салону машины. Для того и родился человек, чтоб видеть эту красоту, слушать Асханчика, как он простодушно рассказывает о своей молодой жизни.

Чувствую: что-то не договаривает.

— Можно, закурю?

— Ах, ах, нельзя!

Он смеется, сует сигарету в рот. Закурил, постучал ладонью по сигналу — курица с дороги вон.

В тех краях уже витала угроза нарушения гармонии жизни. Человек так устроен, что не замечает плохого, не верит в него. Опрокинутые киоски и сожженные доски объявлений привычны по этой дороге — было и прошло, больше не будет. Все это воспринималось как элементы движения жизни: гроза, ссоры и тишина навек.

Видя, что я еще напряжена, Асхан успокаивает:

— Зря волновались. Я ведь не опоздал? Не опоздал. Заправился? Заправился.

— Дурные мы, советские люди, Асхан. Все плохого ждем. Справку какую-нибудь подаешь в окошко, чтоб печать поставили, и то сердце в пятках: ждешь — швырнут обратно, что-то не так, еще раз приходи. Я, когда курортную карту оформляла, сижу, маюсь у кабинета врача. Рядом пожилой тощий человек. Губы сухие, кадык на шее то вверх, то вниз — пить хочет. А ему, видно, рентген желудка назначили — сутки не ел. Неоднократно выходила сестра, он звал ее, но она и внимания не обращала. Наконец подошла к нему, взяла направление. Держа вверх тормашками, оглядела и звонко посоветовала прийти завтра. «Как «завтра»?» — перепугался мужчина. «Вы что — неграмотный?» «Ах ты, бикса чертова!» — вскочила я. «Не хулиганьте, товарищ Мордюкова!» «А ну-ка, веди его на рентген! Человек сутки не ел, не пил!» Я взяла его под локоть, а он ни с места. Окаменел весь. Сестра скрылась за дверью рентгеновского кабинета. Вышел врач, почесал затылок. «Вы Сенчаков?» «Я». — Мужчина встал. «Заходите».

Асхан от души расхохотался.

— Ну, дали вы ей, Нонна Викторовна! Гадюка она!

— Да, я терплю, терплю, а потом как включусь... И родилась такой, и не меняюсь с годами.

— Не меняйтесь. Вас люди такой и любят.

— Ты молодой. Тебе море по колено. Слушай. Пригласило нас американское правительство с фильмом «Комиссар»...

Асханчик вежливо слушает.

— Обслуга — люке! Сам помощник Рейгана принимал. Идем, значит, мы вечером на показ фильма. Вернее, едем, правда, до машины несколько метров, а на улице дождь.

— Дождь? Не везет вам. И там дождь?

— Не говори! Вижу, переводчик подошел к портье, дежурному по ключам, значит. «Зонтик просит», — подумала я. Поговорили они, и переводчик вернулся ко мне. «Не дали?» «Что?» «Зонтик?» «Да вот он, на столике у выхода лежит!» — засмеялся он. Смотрю — зеленый, в тон моему платью,

даже расцветку специально подобрали. Вот это да! А мы живем — только и готовимся от ворот поворот получить.

— И вы тоже?

— Конечно.

— Вы же казачка, правильно? Казаки — это будь здоров! А по национальности кто?

— Русская.

Асхан смеется.

— Разве на Кубани бывают русские? У вас там сбор блатных и шайка нищих. Русская! Посмотрите на себя в зеркало! Отдыхающие с севера — розовые, белые, глаза голубые... А вы?

— Это правда, на Кубани и осетины, и чеченцы, и айсоры. Моя близкая подруга Райка Микропуло — турчанка. Кавказ весь такой. Ты чеченец?

— И чеченец, и абхазец, а по матери — айсор. Вон сколько таскаю!

— Какой ты хорошенький!

— Что я, девчонка, что ли? Я джигит! «Хорошенькая» у меня девушка. Знаете, как ее зовут? Ма-жи-на — улавливаете?

— Мажина?

— Догадайтесь, какой национальности? Грузинка. Чистокровная!

Он засиял.

— Красть придется.

— Почему?

— Отец ее ни в какую! Мать ничего, а он... Подсовываю ему нарды — счастья до неба! А я не люблю нарды. Нудно. Играю из подхалимажа.

— И Мажина рада?

— Ну, что вы! Она станет над нами, брови сдвинет и наблюдает, как учительница в школе.

— Любишь, значит?

— А как же? Жениться собрался. Беда, по-грузински разговаривать никак не научусь. Опять же отец ее требует, а мать помалкивает. Ну, Мажина как заведет: грузины — самая главная нация.

— А ты соглашайся. Они и вправду красивые, гордые, с древней культурой.

— Я соглашаюсь, но ей мало. Расплатится и твердит: грузины — из всех людей люди. Дядю ее айсор зарезал в драке. Националистка страшная. А в меня втрескалась. Требует — кради меня скорей, кради!

Смеемся.

— Я говорю: подожди, слушай, куда красть? Мой флигель опять курортникам сдали. Как я ненавижу курортников, клянусь мамой! Сколько помню себя, кто под столом спит, кто на крыльце.

— Это все от бедности: и вы бедны, и те курортники бедны, если могут оплатить только лежанку.

Он зевнул и похлопал себя ладонью по губам.

— Я сегодня ни минуточки не спал... Не бойтесь, я молодой, выносливый. Ох, что я перенес этой ночью!

— Ну, ну?

— Брат уехал в рейс и поручил мне смотаться в аэропорт, встретить его драгоценную женушку с сыночком. Сыночек не его, но это не важно. А знаете, где он ее выбрал? В городе Горьком. Поехал новую машину получать. Все на заводе оформили, собрался отчаливать. Тут маленький пацан с криком «Папочка!» ухватил его за колени. «Игорек! — окликнула его мама и не спеша подплывает к брату. — Извините, у него был папа, похож на вас». «Давайте я понесу его». «Спасибо». Она пошла впереди, он за нею следом, держа на руках пацана. Ну, и все. Разглядел — клевая женщина. И я так считаю. Высокая, стройная. Русская красавица, одним словом. Уже четыре года живут. Родила ему мальчика. В детсад ходит. Молчаливая, хозяйственная. Любят друг друга без памяти. А меня считают баламутом, уверены, что я не только работаю в доме отдыха, но и пользуюсь машиной для гульбы с

девочками. Слушайте дальше. Припарковался я — и бегом в зал, к назначенному рейсу. Туда, сюда смотрю — нету ее! Рейс тот, в телеграмме указан. Опустел зал, трап отъехал. Нет человека. Что делать? Домой нельзя! Скажут, опоздал из-за гулянок своих. А брат убьет, и машины мне больше не видать, и на работу заявит, чтоб перевели на другое место куда-нибудь. Верите, чуть не заплакал! Решил ждать следующего рейса, а он через четыре часа. Стал как вкопанный у входа и смотрел на небо. Чем больше стоял, тем обиднее было. Накурился до тошноты. Слава Богу, подруливает горьковский. Впиваюсь глазами в высадившихся пассажиров. Моих нет. Схватился за голову, сел в машину. Эх, будь что будет! Поехал на малой скорости домой. Остановил машину за углом, а сам пополз, как змея, к окнам. Окно высоковато, подтянулся на руках, вижу: родители спят. Еще не совсем рассвело. Абрек собрался гавкнуть, я его шепотом остановил. Заглядываю в другое окно — спит наша красавица, на сундуке сынок старший, в кроватке младший. Я чуть не закричал. Как же так получилось?! Одумался, взял себя в руки. Главное — вернулись целые, невредимые. Зачем их будить, пусть спят.

— Дорогой Асхан, ты настоящий мужчина. И вправду, зачем выяснять ночью? Разбуркал бы их, нарушил сон, утолил свое любопытство, как басмач...

— Побойтесь Бога, Нонна Викторовна!

— Значит, не басмач?

— Ни в коем случае!

— А Махмуда Эсамбаева знаешь? И он не басмач?

— Басмач — это бандит!

— Верю, верю, Асханчик.

Он закурил, и дальше мы поехали молчком...

Да, Махмуд Эсамбаев — это явление. Бывало, сидим в президиуме, вижу его под каракулевой шапкой, с прямой спиной — не шевелится. У горцев высокая каракулевая шапка — образ гордости, бесстрашия, амбиций. А ведь под этой шапкой не гордость и не чеченец сидит. Под шапкой сатана сидит, думу думает: «Скорей бы все это кончилось...» Пишу ему записку: «Махмуда, чего сидишь как каменный? Боишься, шапка с головы упадет?» Бедняга рядом с водителями в первом ряду, смех распирает, а смеяться никак нельзя. Я-то подальше от начальства, могу и носовым платком смех прикрыть.

А раз пригласил он меня в гости. Адрес: Москва, гостиница «Россия», этаж такой-то, номер такой-то. Вхожу в номер — в углу барашек стоит и глазками моргает. Сноп всевозможных трав, дыни, пирамидой арбузы, фрукты, вина. Кавказские джигиты без пиджаков, в носках, пластично вершат подготовку пира. Пиры Махмуд закатывает, будто на вечную память. Да еще в углу шкурки норок в мешке — для подарков женщинам. А мужчинам — национальные ножи в чехлах. «Отдыхайте, наслаждайтесь, гости дорогие, — начинает хозяин. — Я не ворую, чтоб я так жил! Деньги мне дают мой талант и родовая плантация цитрусов. Самое большое богатство — это видеть друг друга. Правильно? Давайте выпьем!»

До чего насыщенный человек! Сколько доброты, юмора, ежеминутных выходов: крутит, заводит, смешит. Поездили мы с ним немало по Союзу. То декады, то открытия важных строек, то концерты... В гостиничном номере у него всегда завал всяких яств. При нем повар, костюмер, официант. Его близкие горцы служат ему верой и правдой. Люкс не закрывается на ключ никогда, и каждый страждущий поправить здоровье — заходи! Бывает, он еще и не сказал ничего, а уж смешно. Да еще как смешно! Забавляется сам и забавляет гостей. «Махмуд, расскажи о Париже!» «Я никогда не вру. Чтоб я так жил! — Это его всегдашняя присказка. — Как они мне осточертели с этим Лувром! Я неграмотный, я из аула! Посылают с разными делегациями. Первое — это Лувр. Ну что ты там набегаешь за час? Только наши каблуканы стучат, потому что бегут все время. «Ах, Лувр, ах, Лувр, я был там!» А что ты там видел? Мне же от коллектива откальваться нельзя. Ну, и хожу то с Большим театром, то с «Березкой». Я Лувр знаю наизусть. Не по содержа-

нию, а по количеству залов. Сощурюсь так, голову набок, отойду от картины, «оцениваю». В последнем зале сяду на стул и сижу. Слава тебе, Господи, — Лувр проскочили. Вот однажды сижу, как обычно, на этом стуле, жду наших. Подходит ко мне благообразный старичок в пенсне и заговорщически говорит: «Давно за вами наблюдаю. Я из России, но живу в Париже сорок лет. Вы очень интересуетесь живописью». «Да, да...» «Как я вам Лувр покажу, вам его не покажет никто!» «Спасибо, спасибо. Очень рад! В следующий раз». Старик протягивает мне визитную карточку. Слышу, наши бегут к выходу. Попрошался я с ним и первый сел в автобус. Фу-у! Пронесло! Следующего раза не будет. Не будет, и все! И вот приезжаю с концертами в Ленинград. Отработал, усталый еду в гостиницу, принимаю душ. Ребята чаек заваривают. Стук в дверь. Выходит согнутый старик, двойник того, что в Лувре подходил. И лицо такое же, и пенсне. Только этот постарше. Смотрю, что-то держит в руках, прикрытое мешковиной. Фанера или картина. Откидывает тряпку и поясняет: «Мальчик у пруда». Омовение Осетии, третий век до нашей эры. Брат позвонил из Парижа. Попросил меня этот шедевр предложить вам». «Сколько вы хотите за него?» «Это оценщик назначит». «К оценщику — нет! Говорите цену!» «Я думаю — тысячи полторы». «Прекрасно! — Вынул кошелек — не хватает. — Хлопцы! А ну-ка быстрее, выкладывайте!» Набрали полторы тысячи, отсчитали. Старик взял деньги, но от картины едва оторвали его. Приезжаю к себе в Грозный с шедевром. Подняли меня на смех. Жена пристроила картину на кухне. Тогда я решил купить картину посolidнее и купил. Дорогая, сволочь, но зато видная; лежит голая женщина, а вокруг нее яблоки и груши. Опять не попал в точку, больше живописью насиловать себя не буду».

Помню, Махмуд возвратился из какой-то поездки и взвыл, как волчонок: «Ох, Нонночка, дорогая, как борщику хочется! Я вечно голодный! Вечно! И все из-за фигуры, из-за талии. Я танцор. Я ж не виноват, что на конкурсе за лучшее исполнение испанского танца испанец получает серебряную медаль, а я — золотую. Руки мои сравняются с руками Майи Плисецкой. В Америке мне преподнесли презент — путевку в кругосветное путешествие. Я отказался в пользу оплаты багажа, который в десять раз превышал положенный вес. Чтоб я так жил — не вру!» «А как там, в Париже?» Показывает большой палец: «Я теперь хожу, куда хочу. Сейчас же свобода, ты знаешь?» «Пока нет, мой дорогой!»

Конечно, талантливых людей немало, но столь расточительных, щедрых для друзей, для всех встретишь редко. Махмуд Эсамбаев — это не только гений в танце, но еще и лекарь. После общения с ним хорошо живется.

Однажды мы собрались у кого-то дома. Приехали Махмуд с друзьями, чтоб угощение наладить. Всех, а женщин особенно, поразил один красавец из его свиты. Он в носках стоял на кухне, вежливо всем кланялся. Я тоже пару раз заглянула на кухню, спросила о какой-то чепухе. Он не отреагировал.

Пригласили к столу.

— Идемте, — обратилась к красавцу шустрая балеринка.

Тот слегка поклонился, приложив руку к груди, что означает отказ.

Я не выдержала и шепчу Махмуду:

— Чего парень-то ваш на кухне стоит?

— А где же ему быть?

— С нами.

— Он не войдет сюда, пока я здесь. Не лезь в наши обычаи! Если аксакал находится в главной комнате, он не войдет.

— До утра?

— Может, и до утра. Вот когда я встану, пойду на кухню, приглашу его, он появится, но не сразу, а так через часок... Дружим с тобой, а обычаев наших не знаешь.

— Я много знаю, я ведь выросла на Кубани, среди разных народов. Там и чеченцы были...

— Если скажешь чеченцу, что ты его знаешь, он рассердится. Чеченец не любит, чтоб его знали, — это как раздеть догола при всех.

— Прикажи лучше тост поднять.

— Вот это другое дело!

Тут он снимает свою шапку Мономаха и как ни в чем не бывало обнажает лысину во всю голову. Она так сияет, будто и не росли на ней волосы никогда...

Сейчас на дворе горе лютое — Чечня!

На Кубани много народностей, но чеченцы всегда особенные. Помню, принесла передачу в родильный дом для мамы, сидят на кроватях молоденькие мамыши, кормят своих детей грудью, улыбаются.

— Нонк! Слышишь, как орет? Чеченец родился.

Крик его можно услышать за тридевять земель. Он будто и рождается с кинжальчиком, громко сообщает о своем первенстве. Он горец, он крепкий и мудрый. Как правило, мудрость свою и силу чеченцы проявляют только на родной земле. Они не мыслят властвовать в России. Их душу и глаз ласкают только горы, они верны обычаям предков.

А уж если унизишь горца хоть словом, хоть взглядом — держись! Свою воинственность они придерживают до поры до времени, но всегда готовы к бою. И не только к бою — какими только уловками они не пользуются, чтобы достичь цели.

Горы и скалы формировали этот народ. Он молчалив и непобедим. Нарушишь его статус — изошренно отобьется, беспощадно расправится. Бывало, чеченец поделится с тобой последним куском хлеба, отдаст последнюю рубашку, защитит, не разбираясь, русский ты или еще кто. Но это до тех пор, пока не унизишь его, не встанешь поперек пути.

В прошлом веке «нарвались». Что из этого получилось? Не один год кровь лилась.

Пока есть земля, ни одна национальность не изменится. По задиристости и амбициозности всегда на первом месте будет чеченец. Однако с чеченцем всегда и договориться можно, обходной маневр, так сказать, найти. Но это получится только в одном случае — если ты досконально знаешь, глубоко изучил нравы, обычай этого народа.

Главный «командир» над всеми нами — солнце. Мы поднимаем головы, ищем НЛО... А солнце ходит над нами, и рождаются под ним разные человеческие особи. Где солнце припекает шибче — люди со смуглой кожей, черными губами, карими очами, темпераментные, вспыльчивые... У помора своя стать — он не сразу решает, не сразу дает отпор, но если решится, то вряд ли уступит горцам.

Как же так — не знать, с кем живешь? Да что там, мы и партий не знаем, которые сейчас пышным букетом расцвели. Десятки лет нас учили истории КПСС, лишали стипендии, гнали из института за то, что не сдал за семестр эту дисциплину. Метода преподавания не разработана — учить историю партии было тяжело и уныло. Материал сухой, неувлекательный. Трешь, трешь, бывало, в потной ладони заготовленную тобою же шпаргалку и ни черта не понимаешь. Но находились такие верткие, что поняли: не ухватишься за эту цацку — тут тебе и конец. Помчались за красными корочками достойные и недостойные, карьеристы. Для них партбилет был как воплощение святого единения, призыв к честности и труду. Другие считали красную книжку пропуском на все времена.

Помню очередные сокращения в нашем театре. Коммунистов не трогать! Сколько там засело бездарей! Из-за них и театр лопнул. Я, как поняла, что они партбилетами спасаются от увольнения, так и не вступила в партию. Мама и брат шепотом спрашивали, изумляясь: «Ты не в партии?..» — прямо враг народа. Помню, вызвал меня в кабинет секретарь райкома партии, я молча сидела и наблюдала, как за окном желтые листья клена медленно падают вниз. Секретарь призывал вступить в партию, потому что я уже себе

не принадлежу, а являюсь достоянием народа. Так и не проронив ни слова, я пожала ему руку, как полагается, и закрыла за собою дверь. Ах, КПСС — разлюли малина для тех, кто вверх хотел! Вверх и только вверх! Они рьяно учили наизусть каждую строчку и Ленина, и Сталина, и всех, кого надо.

Помню прохладные, никем ни разу не открытые экземпляры работ Владимира Ильича. По соседству с нами жила большая еврейская семья. Как-то я позвонила им в дверь, чтоб узнать, нет ли у них сочинений Ленина: надо было выловить парочку цитат — приближался зачет.

— Ну, какая же приличная семья не держит у себя Ленина?! — удивилась пожилая хозяйка. Пошла в глубь квартиры с громким вопросом: — Какой тебе том?

— Любой, — говорю.

— Их много! Очень много!..

Вынесла первый, и я пошла «работать». Не мытьем, так катаньем и нерадивым что-то влетало в голову. «От каждого по способности, каждому по потребности» — это же лафа! — думали люди.

И сейчас лафа — не надо мучиться, изучать программу той или иной партии: за что радесть и ночь не спать, чтоб с чувством глубокого удовлетворения опустить в урну бюллетени.

Партий никто не знает, а выходки думцев — на уровне плохого цирка. Как важен магнит телевизионных передач, и как обидно, что понятие «гласность» путают порой с преднамеренным крушением наших идеалов...

Да, надо знать обычаи, нравы тех, среди кого живешь. На факультете журналистики этому не учат. Ползут по-пластунски с кинокамерой только что испеченные журналисты: рискуют жизнью, гибнут на войне, а снимают очень часто брак. Разве можно растерзанного человека снимать? Издавна люди торопятся прикрыть погибшего. Справедливо упрекнул Буш журналистов, впившихся в его лицо, когда ему стало плохо. «Это невежливо», — сказал он.

Помню, в детстве, когда мы самодельные пистолеты наставляли на кого-нибудь, нам говорили: «В человека целиться нельзя». Давно это было... Сейчас же дуло оружия направляют с экрана телевизора прямо на сидящих перед ним. С легкой руки комиссара журналистики из Питера, как стали кишки перебирать и в мозгах копаться, так и докатились до самого «выразительного» метода показа трагедии. С понятием «гласность» нужно уметь обращаться. На телевизионном экране идет преднамеренное перенасыщение патологией. Секс ли это или расчлененное тело человека, выловленное из колодца. Закордонные сюжеты так же подобраны: авиационные катастрофы, пожары, стрельба, изувеченные трупы. Слишком ударились в анатомию. Воистину воспитывают непредсказуемый тип человека. Экран приучает «к натуре» гибели человека. Приучают детей и подростков с легкостью лишать жизни себе подобных.

Не согласитесь ли вы, что нельзя распоротое тело погибшего выставлять напоказ? «Без его разрешения...» А может быть, и мама его, и отец не согласились бы свое дитя показывать в таком виде? Вот сейчас в Чечне и соединились незнание чеченцев и вольный стиль снимать, показывать мясорубку.

...Я очнулась от воспоминаний и раздумий. Мы с Асханом подъезжали к аэропорту.

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Однажды сидим в кустах, ждем какого-то неведомого дядьку. Кругом немцы, оккупация, голод проклятый замучил. Мама наказывает съездить к сестре, тете Паше, и выпросить «кабак» (тыкву) и кукурузу.

— Ближе к ночи он подъедет, — напутствует мама семилетнюю

сестру. — Мотоцикла не бойся. Сядешь сзади верхом и ухватишься за его одежду... А там семь километров — и все. Тут тебе и Широчанка.

Я подростком была, хотела ехать вместо маленькой сестры, но мама — ни Боже мой! Наконец видим, мужик переступает ногами, а между ними мотоцикл. Подрулил, занес правую ногу назад и прислоняет мотоцикл к стене. Поворковали с мамой, чиркнул спичкой, закурил; потом снова занес ногу за мотоцикл и пригласил сестру сесть сзади. Мама трепетно помогла ей устроиться.

— Держись за мои карманы, — посоветовал мужчина.

Сестра села, и он опять пошел ногами по траве. Прошел метров сто, мотор крикнул, затарахтел, и маленькая фигурка сестры растаяла в темноте вместе с брезентовой спиной седока.

— Уехали, — вздохнула мама.

Главное — до Широчанки. А утром тетя Паша посадит на товарняк — я встречу. Грузить на старшую было обычным делом. Основным подручным была я. Кряхтела, пробиралась, доставала, таскала. Как немцы ушли — легче не стало.

— Бери что попало. Тут разберемся. Прячься, чтоб не поймали...

Законы были безбожные: оставшееся зерно после убранного урожая брать нельзя. Пусть лучше на поле померзнет и сгниет. Немцы так не требовали, а наши... Многодетные семьи не выдерживали — есть хотелось с утра и до ночи, поэтому посылали детей красть рассыпанное в поле добро. Обьездики, как и все люди, получившие власть, вскакивали на коней — и «Аля-улю! Бей, кроши...». Неудержимой была страсть гонять, отбирать оклунки с зерном и напоследок хлестануть батоном поперек спины. Выпивший и стрелять мог. И стреляли. Убили школьника, вся станица хоронила, и вся станица плакала. Мама была молодым коммунистом, и не дай Бог, чтоб поймали ее детей. Могли исключить из партии. Эти слова «исключили из партии» до сих пор помню, как что-то самое страшное в жизни человека...

Сидим с подружкой в лесополосе, трусим, ждем, когда объездчик минует нас. Ей-то хорошо — у нее родители не коммунисты... Зато отмучаемся, принесем каждый в свою семью подкрепление. Вечером пируем: олады, мамины рассказы всякие. Наедемся, и на утро останется. Утром мама уже в поле, а мы глаза продерем, и кто первый — одним прыжком к комоду. Там в верхнем ящике олады. Расхватываем, и опять думать надо, как еду доставать. Не помнили, когда последний раз выдавали что-нибудь на трудовни... Однажды народная почта сообщила нам, что за рекой Уруп учительница по литературе приберегла яблоки. Отправилась, яблоки взяла, несу за спиной, боюсь: что несешь да куда?.. Откуда ни возьмись «рама» пожаловала. Низко надо мной сделала круг, немецкие летчики рукой помахали... Стоило им стрельнуть — и капец.

Добралась до дому — герой! Радость принесла. Накинулись все. Горят огнем яблоки красные, желтые. Всю хату украсили. А запах! Запах обнадеживал на лучшую жизнь, но она все никак не улучшалась.

...По окончании института жили сперва в бараче, потом комнату дали в коммуналке — в четырехкомнатную квартиру вселились четыре счастливые семьи. Радовались и мы, хоть нам и досталась проходная комната. Десять лет через нас ходила чужая чемья. По условиям пожарных перегородку ставить было нельзя. Висел на шпагате фанерный лист. Четыре семьи, четыре метра кухня, и четыре конфорки на газовой плите. Не дотянуться бывало хозяйке ложкой до своей кастрюли. Маленький сын из-под фанеры выглядывает и зовет: «Ма-а-ма!» Сладкий был этот голосок, самый главный и самый дорогой. «Иду, иду!» — отвечаю.

Материально было тяжело. Крутились. Перед получкой аж пот пробежит от, бедотни по этажке с надеждой занять денег. Бывало, заплачу и взмолюсь молодому неприспособленному мужу: ну сделай хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь меры прими! Но он не знал, что делать. Все укорял: родила без моего согласия, теперь вертись. Однажды в отчаянии сунула руку в карман

его пиджака, а там в паспорте десятка притаилась. Не посочувствовал моим слезам...

Подросток сын, стал во двор выбегать с ключечкой. Двор хороший, безопасный. Убираюсь, вожусь. Слышу голос с заднего двора:

— Ма-а-ам!

Высовываюсь в форточку: стоит моя радость, улыбается, ямочка на щеке. Сбавив громкость, спрашивает:

— Ты меня любишь?

— А как же, сынок? — счастливая, отвечаю. Он, довольный, уходит.

Конечно, счастливая. Любимее нет никого на свете. Теплый бальзам грел душу: ел ли сыночек, рассказывал ли что-нибудь. Бывало, обидится на кого-то, заплачет, еще слезы висят на щеках, а он торопится поделиться. Всклипывая, переходит на радостный лад:

— Мама! У нас в школе медицинский осмотр был. У одной девочки швы в голове нашли.

— Швы?

— Да. Ее маму вызвали, чтоб вывели ей.

— А... так это вши...

— Нет, мама, швы.

— Ничего, это просто вывести.

Отец хоть и стал любить его, но он все льнул ко мне. Мой сын. Как расхохочемся с ним за столом или перед сном — удержу нету!

— Замолчите!

Куда там! С полувзгляда, с полуслова понимали друг друга, на одной волне были, как говорится. У нас были наши «коды», жесты, мимика. Помню, пришла в гости к соседям маленькая девочка Лиза. Ничего особенного. Толстая, кокетливая. Вбегает мой сын, рывком берет мою ладонь и тащит на кухню.

— Мама! Не говори, что мне восемь лет... Я ей сказал, что мне девять.

— Почему?

Он шепчет в ухо:

— Потому что ей девять.

— Ладно. Если спросят...

Он успокоился и пошел к соседям. Все хорошо, все хорошо... Уютно, приятно — ребенок рядом, на репетициях в театре хвалят.

Вдруг влетает мое дите и радостно сообщает:

— Мама! Буду деньги тебе зарабатывать! После уроков почту разносить по квартирам. Весь класс будет конверты разносить.

В меня будто выстрелили... Смотрю на него, дух перевести не могу. Небо пересохло, коленки ослабли... Мы впились глазами друг в друга, как током пронзенные. Вижу, как его радость сменилась испугом, изумлением. Мне слышалось не «почта и конверты», а сообщение о сожжении всех мальчиков на костре...

— Почту? Какую почту? Ни в коем случае! — Села на стул и закрыла лицо руками.

— Ладно, ладно! Не буду, не буду...

Как я тогда посмела не воспринять, не поддержать его! Я, такая артистическая, работающая, вдруг испугалась, воспротивилась, запретила. Невпопад запретила. Пресекла то, что надо было поощрить. Не сосредоточилась, не потрудились разобраться. Перед сном гладила его спину — слава Богу, не дала, не пустила: «Спи, детка, проживем и без почты...»

Потекла жизнь дальше. Моя опека крепчала: сынок сыт, обут, одет. Остальное ясно, как день, — приучайся к труду. «Ты моя, я твой» — излюбленный девиз сына. С детства и навсегда.

С годами и «тыльную» часть жизни каждого знали. Моя битва за жизнь, за искусство, его две женитьбы и пробы стать актером не лишили нас нерушимого сосуществования.

Теперь вот непрестанно является личико второклассника, все слышу его

известие о почте. Как укор, как удар в сердце. Как показатель невнимания матери.

Сижу как-то у телевизора и смотрю рассказ-интервью матери Василия Шукшина. Крепкое русское лицо пожилой женщины безучастно. Монотонно, едва шевеля губами, она вспоминает лютое горе и тяжелую жизнь, разговор с Васей, еще мальчиком. «Нарядили его водовозом. Хлеб не на что было покупать. Вся семья надрывалась от зари до зари, но денег не хватало... Трусится, но не возражает. «Бочка высоко, сынок...» «Мам, как дырку достать?» «На колесо, Васенька, станешь... Ох, ведро тяжелое!» «Ничего, мам, я буду набирать по полведерка». «Правильно, сынок... Жаль было его. Худой, маленький, десятый годок пошел... Не на смерть же, думаю...»

Она разрешила, а я нет. Пока ребенок дышит кожей матери, можно направить его, куда твоей душеньке угодно. Я это не принимала во внимание. Меня же никто не направлял! Это не совсем так. В селе упрощенная схема жизни: не работать — срам. Вот дом твой, вот работающие с детства люди, игры на поляне, тут тебе песни, сказки, привозное кино и парное молоко на ночь. Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Мама не ленилась проследить, с кем я пришла после танцев и во сколько. Могла и опозорить. «Ах ты, чертова сволочь — по химии двойка, а ты тут с морячками хаханьки справляешь!» Только стук начищенных ботинок по камням мостовой остается от новоявленного кавалера... А жернова большого города сильнее человека. По Москве и ходить нужно по-другому. Тут сам по себе не заладится человек.

Помню, горели леса Подмосковья. Долго горели. «Это туман или дым?» — с испугом выходили москвичи на балконы. «Дым, дым!» Какие только сообщения не витали по радио и в устных рассказах. Тушили пожар все, кто мог. Торф предательски тлел под толщей земли. Однажды полный солдат грузовик заехал на поляну и тут же, окруженный дымом и огнем, стал оседать в тартарары. Крики солдат, взмахи рук! Тщетно... Грузовик все погружается в кромешный жар. Спасатели, пожарные мечутся. Солдатики кто окаменел, кто волосы на себе рвет, по земле катается. Кричат в агонии, помощи просят, спасатели им в глаза смотрят... А помочь не могут. Ни достать, ни кинуть что-нибудь. Ничего сделать нельзя... Я осталась на твердой почве. Не катаюсь по земле...

Я крепко ухватилась за кровать, на которой лежит мой сын. Он скрипит зубами, стонет, мучается. «Чем тебе помочь, детка моя?» Хочется приглубить его, взять на руки, походить по комнате, как тогда, когда он маленьким болел. Теперь на руки не возьмешь. Большой — на всю длину кровати. Хочется погладить, приласкать, но взрослого сына погладить и приласкать непросто. Помощи не просит...

— Мам, похорони меня в Павловском Посаде.

— Ой, что ты!.. Что ты говоришь?

— Потерпи.

Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько завывла.

— Потерплю, потерплю, потерпим... Бывают же промежутки.

— Больше не будет, мама. Выхода нет... Ты моя, я твой...

К рассвету он примолок.

Я на раскладушке неподалеку, смотрю: подымается одеяло от его дыхания или нет? Решила не жить. Как и зачем жить без него? Потом заорала на всю ивановскую, вызывая «скорую». Быстро приехали по знакомому уже адресу. Вставили ему в рот трубочку, она ритмично свистела. Дышит. Теплый. Живой... Мчимся по Москве.

Когда вносили в реанимацию, я в последний раз увидела его ступни, узнала бы из тысячи... Помню, грудью кормлю его, держу его ножку и думаю: запомню — поперек ладони в аккурат вмещалась его ступня — от пальчика до пяточки... В коридоре холодно, лампочка висит где-то высоко. Темно, неудобно. У входа в реанимацию, откуда доносится свист, его свист, стоит лавка. Я иссякла. Прилегла и подложила ладонь под щеку. «Зачем мы здесь, сыночек?..» Маленьким был, соску не взял, выплюнул. Я сокруша-

лась, видя, что с соской дети спокойнее. Тогда выплюнул, а сейчас вставили насильно. И я, не дыша, молю Бога, чтоб этот свист не смолк.

...Позвали меня давно-давно в съемочную группу фильма «Комиссар» на собеседование. По пути домой я вспоминала встречу, сценарий и изумилась фамилии режиссера — Аскольдов, забавно... «Аскольдова могила». Может, это рок? Может быть, на съемках боев меня конь забудет...

Оставила своего красивого душевного мальчика-подростка на чужую тетку, обеспечила разными «пряниками» — и на четыре месяца в киноэкспедицию под Херсон. С картиной не ладилось: режиссеру преднамеренно не создавали условий для съемки, мучили, издевались. Приезжал директор студии, съемку приостанавливали. Режиссер, человек интеллигентный, внимательный, предлагал мне не раз:

— Может быть, съездите домой, пока есть пауза?..

— Нет, нет, что вы!

Я скрытно жалела его и картину.

Потом его судили. Уволили из штата студии. Дело-то какое вытащили! Лошадей много снимали. Конюшня была за двадцать километров от нашего пристанища. Два конюха-алкоголика не подковывали коней. Их было много, а значит, и на пропой хватало с лихвой. Стертые копыта от непрерывных скачек приводили в конце концов к выбраковыванию. Убыток колоссальный. Свалили эту беду на режиссера. Владимир Басов, Ролан Быков и я аккуратно ездили на суд... Додумались все же адвокаты до того, что коней подковывать режиссер не должен был. Картину, еще не озвученную, положили на двадцать лет на полку. И в картине боль, и сына вспоминать было тяжело. Не ехала я к нему. Ну что стоило вырваться на два дня... Старалась не вспоминать его, ни лица, ни пальцев, ни голоса. Бывало, едва сдерживалась, чтоб не бросить все и съездить. Как-нибудь доведу съемки до конца, а там и радость моя — сын...

Вот как раз в эти четыре месяца его и «схватили». Вернулась — он в больнице... Помчалась туда. Он был веселый и виноватый. Признался в том, что Сашка Берлога принес пиво и «колеса» (таблетки). Пылко заверил меня, что это больше не повторится. Я поверила. Хотела поверить и поверила. Волнение не покидало меня и дома. Я незаметно смотрела на него и недоумевала, как он произнес «пиво и колеса», такие чуждые слова, с пониманием дела...

Долго потом он не виделся с теми дружками. Призвали в армию. Появилась надежда: время, режим службы, он окончательно забудет о прошлом. Вернулся из армии, и, не объяснившись с ним, я поняла — он прячет от меня вторую жизнь... «Хоть бы нечасто, хоть бы как раньше», — молила судьбу. Ходил на студию, ездил с театром по городам... Еще не дошло до окончательной апатии. Спустя какое-то время я молила о другом: «На этот раз пауза длиннее, теперь уже, наверное, навсегда. Хоть бы навсегда...»

— Да, мама, все! Сам себе противен...

Снова надежда — отдых душе. Жены пугались его «странных» дней и уходили. Тем более ни «мерседеса», ни «видюшника», ни светской жизни...

— Здравствуй! — эхом под сводами старинного коридора прозвучал знакомый голос.

— Здравствуй. — Привстав, взглянула на поздоровавшегося.

Это отец его пришел. Я закрыла лицо руками и разрыдалась. Плакать на его плече не пристало: мы уже давным-давно не жили вместе. Как оказалось, ни на его плече, ни на своей подушке не выплачешься за всю оставшуюся жизнь...

САША

Когда в теплую городскую квартиру втаскивают срубленную елку, в дом входят лес, небо, морозный воздух. Человек рад встретить Новый год возле

наряженного чуда. Елочка смиренно служит хозяевам. Ей, может быть, не нравится прикасаться к тюлевым занавескам и к полированной мебели, но она помалкивает. Вошедшая в дом зеленая красавица явилась от земли, дороги — оттуда, где начинается все и вся.

Вот так же откуда-то «оттуда», где лес, дорога, песни, колоски хлеба, явилась Саша Порогова и предстала перед экзаменационной комиссией актерского факультета Института кинематографии. «Не звали? А я тут», — словно хотела сказать. Дыхание не унять, волнение тоже. Будто от самого села Шураново бегом бежала.

С улыбкой, готовая выполнить любое задание, Саша никак не могла справиться с волнением.

— Что вы будете читать, девушка?

— Читать? — изумленно спросила она. — Ничего!

— Как? Вы не подготовились?

— Ну...

— Приехали издалека...

— Да вы не переживайте!

— Вы хотите поступать на актерский факультет?

Глаза Саши загорелись, она ждала подсказки...

— Давайте я лучше спою вам!

— Спойте, — согласилась комиссия, стараясь не спугнуть присевшую перед ними редкую птицу.

Саша обрадовалась, улыбнулась, обнажив белые ровные зубы, приподняла брови. Потом приложила ладонь к правой щеке и, чуть склонив голову, запела... Поначалу деликатно, зная, что ее голос тут не поместится, а потом — была ни была! «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...» Низкий тембр ее голоса всех заворожил. На второй песне неожиданно голос взмыл, она запела колоратурным сопрано.

Саша поправляла платье, чтоб вырез был в середине. Платье из темно-зеленого трикотажа, явно с чужого плеча. Поясочек «не отсюда», спереди завязан на бантик, подчеркивая тонкую талию, высокую грудь. Русые косы, соболи брови, дымчатые глаза. Красавица без косметики. Лицо подкрашено природой и молодостью. «Вы слышали?» «Видели?» «Уму непостижимо!» — понеслось по институту.

«Может быть, пойдешь учиться петь?» «Нет. Я сперва буду играть, а потом петь...» Горячо и старательно принялась учиться Саша по всем предметам, особенно по мастерству актера.

На актерском факультете есть любимые амплуа и нелюбимые. Саша скисала, когда нужно было надевать кринолины и в угоду программе быть светской дамой, да еще страдать, кричать и думать на «ихнем» языке. Отделавшись, она ныряла к своим героям. Бить кулаком по подошве ботинка, возмущаться тем, что простому человеку можно и ненастоящую кожу поставить, шепелявить и не выговаривать букву «эр». На очередном экзамене комиссия валялась от смеха. Иногда вырывались краткие аплодисменты, что не разрешалось. А как в спектакле «20 лет спустя» Михаила Светлова исполнила Тоську! Сцена с типографским наборщиком. Первый комсомольский журнал. Это очень красиво: «Ю-ный про-ле-та-рий», — поясняла она нарасспев. Точным жестом показывала, каким должен быть заголовок.

Саша училась с душой, с полной отдачей. Равовалась, что не только в селе Шураново, но и в «Поднятой целине» и в «Молодой гвардии» — все люди, люди — настоящие! Они могут и последним куском поделиться, и помочь, если надо, и спеть песню навзрыд.

«Саша, Саша! Потихе, уймись!» — учили ее педагоги. А Саша уж если захохочет, то слышно далеко. «Ну и что? Дите с голосом родилось», — говорил преподаватель физкультуры. Она приложит ладонь ко рту и начинает смеяться тихо. А то, бывало, как прыснет, скривит лицо, так засмеются и те, которые даже не знали, в чем дело. Много ли надо тому, кто смешлив, и тому, кто хочет отвлечься от занятий! «Цытьте! — грозила пальцем Саша. —

Ростя идет» (Ростислав Васильевич). По всем предметам у нее пятерки. Все прочитано, усвоено, но посмеяться — хлебом не корми! Мы просили пересказать тот или иной обязательный по общеобразовательной программе роман. Она садилась и рассказывала. Шли и сдавали экзамены, кто на тройку, а кто и на четверку. Сильный голос не соответствовал ее лирической внешности, шаловливости. Мы беспрестанно заводили ее в свободную аудиторию, просили спеть. Она не отказывала — пела и пела. Меня Саша полюбила, урывками заглядывала в нашу аудиторию и, подморгнув, вызывала в коридор на перерыв.

Никто из нас не был еще влюблен: так, поцеловывались с мальчишками по темным углам — и все. Ребята с вечера дружбу предлагали, к утру мы им готовили ответы. Через сутки без обид и выяснений альянсы рушились. До серьезного дело не доходило — зачем? И так хорошо. Главное — блеснуть по основному предмету — мастерству актера. И педагог похлопает по плечу, и мальчик какой-нибудь в столовую пригласит или место займет в просмотрном зале, где фильмы показывали по программе.

Саша как-то надела ветхое тряпье старухи и так произнесла монолог на экзамене, что до слез всех довела. Спектакль этот пошел в защиту диплома. Саша утвердилась в амплуа драматической актрисы. Ей нравился также спектакль «Гибель надежды» Гейерманса. Играла рыбачку, которая вечно ждет своего мужа, братьев, отца.

- Вот тебе и иностранная пьеса.
- Ну и что?
- Ты ведь шарахаешься от всего иностранного.
- Это не иностранная. Это наша!

По предмету «художественное слово» педагог поручил ей парный отрывок из чеховской классики.

- Пускай другие про Лужки орут! «Воловы лужки наши, Воловы лужки наши!» — завизжала Саша с гримасой избалованной невесты.
- Вон! — гаркнул педагог.
- Слава тебе, Господи!.. — Она послала воздушный поцелуй сидящим, а в коридоре заорала: — Шумел камыш, деревья гнулись...

Коса на камень...

Не простила Саша преподавателю по художественному слову, когда он предложил ей кусок из «Плача Ярославны».

- Нудно, мне не нравится.
- Поезжай в колхоз. Из тебя получится хороший бригадир.
- До хорошего бригадира надо еще покорячиться как следует... Поняли?

Потом с удовольствием надела дерюгу рыбачки и стала метаться по воображаемому берегу моря...

— Пороговой надо прочистить мозги! — заявил заведующий кафедрой. — Надо проработать ее на общефакультетском собрании.

Так и сделали.

Весь факультет явился на суд Пороговой.

— Видите ли, все ей дозволено!

Она оправдывала свою двойку по марксизму-ленинизму: не люблю, мол, Карла Маркса.

— Сначала надо знать его, а потом любить или не любить! — кричала ассистент преподавателя.

Саша перепугалась. Опустила голову, слушает внимательно. Вынесли строгий выговор. Но прошло немного времени, и она уселась внизу в киоске сигареты продавать, газировку. Торговала в очередь со старым дедом Ваней. Тот отпускал ее на важные, по ее разумению, предметы.

- Что ты здесь делаешь, Саша? — изумился как-то педагог.
- Богатею, милые мои, кушать-то надо...

По двум спектаклям мы получили высокие оценки и были приняты в Театр киноактера. В театр-то нас взяли, а ролей — никаких, началась полоса

застоя в нашей жизни. Саша, как штык, была с утра на репетиции, хоть и не занята в выпускаемых спектаклях: «Молодая гвардия», «Три солдата», «Машенька»... Решила самостоятельно приготовить роль Любки Шевцовой. Я мизансцены показываю, за всех персонажей подыгрываю. Ее работа понравилась, но... Ведь фильм уже был. Зритель, конечно, покупал билеты на нас — тех исполнителей, которых он знал по кино. Спектакль продолжал жизнь фильма «Молодая гвардия» при полных аншлагах. Новую Любу Шевцову зритель не очень-то жаловал.

И вот появляется в нашем театре знаменитый талантливый режиссер Алексей Денисович Дикий, чтоб поставить спектакль по пьесе А. Островского «Бедность не порок». Вывесили список назначенных на те или иные роли, и Саша, не увидев своей фамилии, выскочила вон, чтоб не показать своих слез. С издевкой над собой и судьбой она подала заявку на эпизодическую роль придурковатой старухи. Таким образом она нашла способ, чтоб внимать Островскому и Дикому. Репетиции для всех были чудом. Смотрели все — и не занятые в спектакле: «Островского хотя бы послушать, и то — радость». Саша зажглась спектаклем, влюбилась в Алексея Денисовича, а уж своей старухой уложила всех наповал. Придумала говорить низким голосом, сначала завывая, с протяжкой: «А-а-а», «а-га-а-а», — потом отмахивать рукой несуществующего проказника, который якобы норовил ухватить ее сзади или из-за пазухи что-то вытащить...

Островский не нарушался, а зал хохотал. «А-а-э-кхэ, кхэ», — и погрозит пальцем зрителям, когда те гудят от смеха. Постоит, посмотрит, подождет, пока утихнут... Иногда этот номер не проходил — гудели долго. Тогда она садилась за стол. Сидит, степенно чай из блюдечка пьет, пока другие актеры «берут зал на себя», но перед своей репликой заговаривает «вступительную» краску: как прыснет, заквакает, изображая смех, аж чертям тошно. Однажды вдруг замерла и стала глядеть, не моргая, на исполнителя главной роли. Актер растерялся, подумал, что реплику забыл... Тогда она внезапно схватила его за ботинок и, разогнувшись, снова смотрит на него. Зал реагировал бурно, актер ушел в глубь сцены, чтобы скрыть давящий его смех. Саша с удивлением и назиданием посмотрела на зал: дескать, в чем дело?

Боже сохрани, чтоб она помешала другим исполнителям или вышла за рамки спектакля. Режиссер одобрял эксперимент, и она резвилась, как хотела. А чего? У автора написано: придурковатая старушонка. Мы были приятной массовочкой — пели и танцевали в русских сарафанах вокруг невесты. Освободившись, поджидали Сашины проделки. Видавший виды Алексей Денисович Дикий смотрел на Сашу с изумлением. На ее выходки он не хохотал, как все, а, опустив глаза, размышлял. Наверное, о ее таланте. Но вот настал момент усомниться в отсутствии нечистой силы и проделок дьявола. Известный кинорежиссер, как это иногда делалось, прочитал сценарий будущего фильма. Режиссер — не Бог: сначала и растерян бывает, не знает, с чего начать. А наши «гуси-лебеди» нагогочут, налопочут — рождается атмосфера, жанр. Голодные к работе актеры и выслушают, и посоветуют, а то и предложат свою кандидатуру, хотя бы на эпизод. Наши режиссеры, правда, охотнее приглашали на новый фильм уже известных.

Начинались кинопробы. Ох, кинопробы! Это особ статья. Разрепетируешься, зажжешься, понапридумываешь, снимешься на пленку, а играть будет кто-то другой... По четвергам — худсовет. Смотрят, дымят, обсуждают и утверждают кого-то на роль. Помню, мне дали в этом фильме роль трактористки в эпизоде. Тут же с Кубани полетела режиссура от мамы: «Доченька! Ты как к трактору подойдешь, губы не кусай. Перебирай себе запчасти с деловым видом, чтоб было видно, что ты знаешь трактор, как свои пять пальцев...» И вот четверг. Пробы смотрят творцы с «Мосфильма». Саша беды не чуяла, была убеждена в том, что только она знает, какой должна быть Настя.

...И мы, и преподаватели вздохнули с облегчением, восхитившись точностью ее игры. Ассистент режиссера, искренне сожалея, как могла, подобрала слова и сообщила Саше об утверждении известной актрисы Стрелковой на

роль Насти. Оказывается, за два дня до злополучного четверга та изъявила желание попробоваться на эту роль. Мы сидели недалеко от театра и от дома режиссера в квартире учительницы по танцу. Саша накинула пальто, вступила ногами в мужские ботинки и в мороз с непокрытой головой побежала к дому режиссера. Взбежала на четвертый этаж и позвонила в дверь. Открыла жена режиссера. Саша повисла на ней, потом сползла на пол, крикнула:

— Вера Николаевна! Меня не утвердили! Пропала моя Настя! Загубили-или, загубили Настю мою дорогую! — завывала она.

Конечно, по законам нашей студии на эту роль могла подать заявку любая киноактриса. А уж утвердят, не утвердят — зависит от чувства и мастерства, знания сельского человека. Сыграть Настю плохо Саша не могла. Я не простила Стрелкову. Зачем влезла? Ни себе, ни людям. Фильм получился прескверный. И особенно дурно Настя. Сугубо городская «кисейная барышня» перешла дорогу той, от которой расцвели бы и другие образы в фильме...

Переболела Саша не сразу. И в Дом кино мы не пошли на премьеру. Пусто было в зале. Смотрели позже в кинотеатре. Немного полегчало оттого, что фильм не получился.

— Она ровно девятилетнюю играет, — глядя перед собой, сказала равнодушно Саша. — А ей, поди, девятнадцать, а не девять.

— Бикса! — выругалась я.

— Тих, тих!

Саша не любила бранных слов и всегда стеснялась всяких вольностей. Один раз еще в институте, на занятиях по акробатике, педагог простодушно сделал замечание:

— Ты почему лифчик не носишь? Пора...

Саша обхватила грудь крест-накрест обеими руками, села на корточки и просидела весь урок с красными ушами.

Идет жизнь дальше. Приглашают к нам в театр режиссера на постановку комедии из сельской жизни. Пьеса о том, как колхозники готовятся к олимпиаде и как побеждают на ней. Масса песен, музыки и танцев, а также любовных историй. Саше поручили роль героини. Благодаря голосу она без труда опередила двух актрис, назначенных на эту же роль, и радостно вступила в бой за будущий спектакль. Роль — мечта! Режиссер первое время разевал рот и цепенел от неслыханного Сашиного голоса.

— Сашка, — шепчу ей, — опять эти пришли, в зале уселись.

«Эти» — специалисты, желающие пригласить Сашу на прослушивание в Большой театр.

— Бог с ними! Пусть сидят.

— Будете напевать, а не петь, — подбадривала она свои соперниц, — речитативчиком. Главное — сюжет, правильно?

Радостно улыбаясь, она предчувствовала жизнь на сцене своей полюбившейся героини. Девчонки втягивали головы в плечи, сомневаясь в себе, млели от Сашиного голоса и танцев, от всего, что она творила на сцене.

Порою, когда режиссер давал поблажку трепетно наблюдавшим девушкам, позволив им порепетировать на сцене, получалось очень неплохо. Они приятно напевали, хорошо двигались и танцевали. Обстановка была теплая и озорная. И вдруг в пустом зале появляется Стрелкова — актриса, которая сыграла вместо Саши Настю. Села в кресло, не знаем, кем приглашенная, и стала наблюдать за репетицией. У Саши подкосились ноги.

— И голоса нет, и слон на ухо наступил, — безучастно выдохнула она.

Дома расплакалась: кто угодно, только не она! Конечно, у нас театр-студия. Актеры имеют право подавать заявки, тем более Стрелкова — актриса с положением. Подходя к театру, Саша, задыхаясь, слышала упорные звуки рояля и «речитативчик» репетирующей соперницы. Режиссер знал, конечно, кто поддерживает и рекомендует эту актрису «с положением». Она, напевая и пританцовывая, сделала роль неплохо. Неплохо! А Саша — гениально! Пошли репетиции в очередь. Кто будет играть премьеру? Узел туго

стянулся в сердце Саши и в душах доброжелателей. Режиссер растерялся: руководство посоветовало считаться с заслугами Стрелковой. Сорвавшимся голосом он сообщил о возможности жребия. Наступила гробовая тишина. Скрутили трубочкой бумажки со словами «да» и «нет» и опустили в игровую шляпку. Саша вытащила «нет»... Шесть спектаклей должна сыграть Стрелкова, потом, как обычно, в очередь...

Ах, студенческое общежитие — душа моя! Какую интересною жизнью живет оно, не меняя сложившихся устоев и правил! Правила эти простые: где спит студент, где он греется, общается, дружит, туда и идет на ночлег. Очаг! Гурт!

Освобождается от него общежитие не сразу. Уж и диплом, бывает, получит, а ноги сами идут к нагретому месту. Его никто и не прогоняет — он свой, привычный. Разберись, у кого диплом, а у кого еще нету. Тем более идти некуда и незачем. Койку заняли — не беда! Свободная всегда найдется. Стоит шесть кроватей, шесть тумбочек. У каждого свой мирок. Помню, Маша Колчина с художественного факультета на последние копейки купит сто граммов хлеба, кусок сахара, беломорину и... ромашку. Утром гимнастика, обливание холодной водой, чай с хлебом, беломорина и ромашка в стакане на тумбочке.

Открывается дверь без стука.

— Залепухина Милка еще не пришла?

— Пришла. На кухне она. Садись. Ты откуда?

— С Рыбного!

Вот и все. Познакомились.

Сновали и знакомые, и незнакомые. Бывало, уж и семья сложится, а завалиться в общежитие — святое дело. Благостно на душе.

А как никого не останется из своих, то пора и честь знать. Перестает тянуть в общежитие, да и становится неприлично светиться там с незнакомыми.

Саша позже нас была лишена удовольствия появляться в общежитии. Ее учеба в музыкальном училище давала право на койку у девчат в комнате. Как-то звонит она мне по телефону и сообщает:

— Нонк, я в Большом театре...

— А что ты там делаешь?

— Распеваться сейчас буду. Может, подрулишь?

Раньше я не красилась. Как говорится, подпоясался — и вперед! Язык до Киева довел, отыскала концертный зал Большого театра и ахнула. Зал торжественный, любой голос примет... «Вы оперу любите?» «Не знаю...»

Я впервые слушала неподвижно стоящего человека, из которого шел голос, исполняющий классическую партию. Мне казалось, что голос тут же сорвался бы, если б человек шевельнулся. Все подчинено голосу, его посылает неведомая сила. Подходят к роялю и будто помещают себя в кокон. Лицо захвачено звуком и смыслом пения.

Вот и Саша. Я такой ее никогда не видела. Это как бы ее другая жизнь, которую мы не знали. Она подошла к роялю, положила на него правую руку и с выражением «не обессудьте» сдвинула брови домиком, опустила очи и после паузы вывела первую музыкальную фразу: «А-а-ве Мари-и-я...» Шуберт. Хочется плакать...

Слышал этот зал за долгие годы многих. И вот Саша. Акустика стала партнером красивого голоса. Певцам здесь привольно. Голос становится плотным и обворожительным. Сидящие вытянули шеи и стали внимать Сашину голосу. Да, исполнила она что надо! По окончании выдержала паузу, потом ослабила позвоночник и сняла руку с рояля. Поклон был почти незаметен. Аплодировать нельзя, но по спинам было видно, с какой силой сразила слушателей Саша.

Она прошла первым номером, но не в Большой театр, а в поездку в Лондон с группой молодых музыкантов и певцов. Внизу, у выхода, мы группой остановились, чтоб перевернуть случившееся.

— Пойдемте в общежитие! — предложила Саша.

— Пойдемте, — поддержала я, хоть и знала, что дома на плите обед разогревается — сын и муж ждут. Ну да ладно!..

Уехала она в Лондон. Мы уже и позабыли, вдруг слышим — возвращается. Поехали встречать. Поезд подошел, молодежь загалдела: встречи, рукоплескания, радостные возгласы. Смотрю, Саша выставляет заморский чемодан из вагона и с озабоченным лицом ищет нас. Шепчет:

— Берите чемодан. Я приеду попозже.

— Попозже? Почему?

— Извините! — Симпатичный парень галантно взял Сашу под локоток, и они смешались с суетой перрона.

Вот это номер! Сели в метро, инородным блеском светился огромный чемодан из натуральной кожи. Приз, наверное, там. Мы знали, что Саша получила Гран-при. Разъехались по домам. Сколько ни созванивались, новостей никаких. Пришла Саша поздно, а утром тихо сказала девчонкам:

— Не знаю, где мне пожить, допросы только начинаются.

— Не выдумывай, здесь живи!

Потом мы узнали, что в Лондоне Сашу настоятельно приглашали в Королевскую оперу. Угрозы со стороны наших и посулы любых условий со стороны Лондона замучили ее. Кто-то из музыкантов советовал согласиться попеть вдоволь, заработать, кто-то отмалчивался, а кто и понимал, что дома неминуемо возмездие.

Мы до сих пор не знаем, что же тогда произошло. Сашу в Лондоне превратили в дорогой товар и стали драться за него. Она была в смятении. Кончилось дело тем, что за кулисами ее ждал «человек из наших». Саше купили билет на самолет, как и всей группе, но нашлись люди, которые спрятали Сашу, чтоб не дать ей улететь, остаться в Лондоне. Сейчас это уже отработано и не удивляет никого. Но в те времена — Боже, сохрани! Подумать о таком шаге не приходило в голову. Сообщали о Барышникове, Нуриеве как о выпавших в Бермудский треугольник. Хана!

Саша похудела, побледнела. Машинально захаживала в театр, ненадолго — и в общежитие. Напористость допросов была по причине незнания, дала Саша согласие Лондону или нет. Мы недоумевали: разве можно так долго мытарить человека? Стала она безвылазно лежать на кровати в общежитии. Машина приезжает, увозит ее — и к вечеру обратно.

Вдруг ранним утром звонок:

— Нонка, скорее! Саша умерла...

Оказывается, она ночью выпила полную бутылку уксусной эссенции, стала метаться, стонать. Девчонки включили свет, напугались, бросились помочь ей. Вдруг она, громко застонав, вскочила, подбежала к окну и выпрыгнула. Пятый этаж не убил ее. Бедняжка была еще жива несколько минут и успела с виноватой улыбкой произнести: «Скажите всем, что я согласилась в Лондоне попеть». Попросила простить ее и семье передать, написать на родину. Подъехала «скорая». Медбрат похлопал Сашу по щекам, пощупал пульс...

— Конец, — сказал он. — На носилки, в машину!

Дверцу закрыли, уехали — и все...

Замученная кровать, разобранная постель, тетради, книги, окно открытое... Она вылетела из него, как птица, оставив за собой след энергии жизни. Девушки онемели от ужаса, от незнания причины происшедшего. Испугались милицейского мундира, но одна из них, рыдая, осмелилась объяснить, как было дело...

Я поплелась к троллейбусной остановке. Сашки нету. Но осталась сердцевина ее — голос, талант, душа...

Суетится Москва и не знает, что на узкой улице Саша лежала еще теплая, унося с собой неоценимое богатство — дар показывать людей и воспевать их.

Истинно народный талант угас.

...За прошедшие годы я беспрестанно думала о талантах. На Тверском бульваре в Москве соорудили памятник прекрасному мальчику с чубом — Сергею Есенину. До чего он обласкан рукою скульптора, как свободно выставлено перед всем честным народом произведение искусства!

Появляется талант, и бросаются на него мечущиеся люди, облепляют своим вниманием и любопытством; крутятся, крутятся в его ауре, успокаиваются лишь тогда, когда найдут способ осадить, притушить вырвавшуюся личность молвой или действием.

Почему открытое полезное ископаемое ценят, радуются прибыли от него, а родившемуся таланту человека не радуются? Попользуйтесь! Испейте, обогатитесь! В развитых странах считают престижным признать талант — это как бы приобщиться к нему. Есть и искренние поклонники, знают, что появившийся источник полезен для здоровья души. У нас и для здоровья не берут.

Когда-то я, еще начинающая актриса, снималась на Алма-Атинской студии в фильме «Шторм». Снимал его Владимир Борисович Фейнберг, худенький прокуренный старик. Жил он на студии в отведенной ему комнате. В ней — тахта и гора книг. Был он одинок, много курил. А мы липли к нему, будто он медом был обмазан: не успев умыться и поесть после съемки, мчались к Владимиру Борисовичу. Это было интереснейшее времяпрепровождение: он рассказывал нам о прежней жизни, о своих давних друзьях. К примеру, о Сергее Есенине.

Наш режиссер был когда-то в «свите» известного поэта и находился возле него до последнего вечера, вернее, ночи. Гибель Есенина, говорил Владимир Борисович, ясно и логично свершилась по закону жизни. Он попал в капкан под названием «алкоголь вульгарис». Тут слились гениальность и доступность. Каждый, кому не лень, протягивал пальцы к золотым кудрям, бил свойски по плечу. В последнее время Есенин беспрестанно кричал свои стихи; роняя голову на стол, вздремнув, снова орал во всю мощь. Стали избегать его, не садиться за один с ним стол. Человек пошел в расход.

У Ильи Эренбурга в книге «Люди, годы, жизнь» рассказывается, как перед гибелью Есенин лихорадочно метался меж Ленинградом и Москвой и как они ночью сидели в сквере на лавочке, а Есенин сказал: «Какое прекрасное слово «покойник»! Покой... Как это хорошо — покой, покойник...»

Типичное разрушение нервной системы от роковой болезни. Да и не поклонники ли считали своим долгом угощать, подливать, услаждать своего кумира?

В мое время Сергей Гурзо, исполнивший роль Сергея Тюленина в фильме «Молодая гвардия», быстро стал всенародным любимцем. Когда он снимался в фильмах и жил по гостиницам разных городов, ему приходилось есть в буфетах, ресторанах. Неистовые поклонники протягивали и протягивали рюмочки, он морщился, надеялся, что завтра заживет по-другому. Но завтра вновь прибывшие почитатели восхищались им и подносили рюмку.

В конце своей короткой жизни Гурзо ходил между ресторанными столиками и ждал угощения...

А уж о Есенине и говорить нечего. Он втянул в себя всех и вся. Тут тебе и кагэбэшники, и завистливые литераторы.

Владимир Борисович был рядом с ним в последние дни: «Он должен был с собой что-то сделать... Он был уже невыносим ни для себя, ни для окружающих». В горячке повесился, прекратив свои мучения. Поэт был слаб физически. Веревка оборвалась, упал виском к батарее... Накройте простыней, исполните христианский долг: помолитесь, поплачьте о потере Гения для России. Нет! Копошня, «изыскания»...

До сих пор пытит на экране телевидения бригада по дознанию причин гибели Есенина. В который раз с придыханием что-то меряют сантиметром, смотрят на потолок, и, как обычно, передача заканчивается посмертной фотографией лежащего на кровати Есенина с вмятиной на лбу. Они, изыскатели, сопят, возятся — и который год ни с места!..

Сергей Есенин заболел неизлечимой болезнью и от нее умер. Рассмотрите его новый памятник, перечитайте его стихи, возгордитесь отечественным Гением...

А тот писатель, который сообщил нам, что в составе советской делегации направляется в ЮНЕСКО, чтобы в конце концов отменить всякие сомнения по поводу того, кто истинный автор «Тихого Дона»? Помните, как вы вернулись и мы окружили вас, чтоб рассмотреть чудо-документ? Заключение ЮНЕСКО: считать Михаила Шолохова автором «Тихого Дона», автором шедевра. Да, шедевр неоспорим, как небо, солнце и земля.

Чего ж вы, дорогой писатель, все молчком да молчком? Показали бы документ по первой программе телевидения, опубликовали бы его в газетах. Наверное, в Союзе писателей «обмолвились», но писатели «порадовались» молча, без понту и шумихи...

Сейчас живет и здравствует идол, чудо, гений — Майкл Джексон. Короли мира ежегодно вручают почетный приз, считая его актером Эры. Бедный мальчик, сколько он претерпел, чтоб воздействие своего таланта распространить на всю Землю!

Завистливые пустозвоны знай себе твердят: пластические операции, высветление кожи, пересадка носа...

Посетил долгожданный гость поклонников нашей страны — пошло, поехало: «Шея накрашена губной помадой, лицо закрывает, старый мальчик...» Он всегда шел к вам, дарил себя вам, оттого и терпел всевозможные манипуляции над собой, чтоб стать международным образом. Измеримы ли его труд, поиски, отдача? Он живет, сгорая. А «изыскатели» не дремлют — им подавай клюковки. Мучаются, сучат ножками, облачаются в одежды знатоков... Лишь бы хоть как-то быть с ним. Но с ним не будешь — гений недоступен, и по плечу ему только души людей. Никогда он не будет близок к поднаторевшим в бульварном стиле, к пошлой суете.

Вдохновение не поддается описанию, да и не надо...



От кризиса к стабилизации: дальнейшая судьба реформ в России

Преобразования, происходящие в России на протяжении последних четырех лет, дают уникальный материал для исследования и обобщения процессов реформирования тоталитарного общества. В каком направлении, каким образом и как скоро можно реформировать это общество, где лишь ничтожная часть людей имеет ясное представление о возможной альтернативе? На какую социально-экономическую модель и в какой мере можно ориентироваться России? Какими методами осуществлять реформы? Как, наконец, выйти из состояния перманентного реформирования и начать нормальную жизнь?

В каждой стране складывается определенная система взаимоотношений государства и индивидуума, законодательно закреплённая в разделении роли и функций государственных и общественных институтов. Наиболее выраженными являются тоталитарная, патерналистская и либерально-консервативная модели. В основе каждой из этих моделей лежит свое представление о благе человека, народа, основанное на общественно признанном понимании идеи справедливости.

При тоталитарной модели государство осуществляет полный (тотальный) контроль за всеми сферами экономики и самой жизнью каждого человека. Справедливость здесь означает принудительное равенство людей с заведомо неравными способностями посредством низведения уровня жизни подавляющего большинства членов общества до минимального. Это достигается посредством монополии государства на рынке социальных услуг.

Патернализм основан на определенных обязательствах перед гражданами, взятых на себя государством в результате общественного договора с гражданами и представляющими их общественными институтами. В экономике государство регулирует и финансирует наиболее общественно значимые секторы, преимущественно в социальной сфере. Принцип справедливости при такой системе основан на обеспечении достойного существования каждого члена общества.

Либерализм в чистом виде предполагает ответственность индивидуума лишь перед законом. Контроль государства над экономикой ограничен до минимального общественно необходимого уровня.

В чистом виде первая модель существует (помимо романа Оруэлла), пожалуй, лишь в Северной Корее и на Кубе, вторая — в Швеции и ФРГ, третья — в США. Однако в большинстве национальных систем, как правило, присутствуют элементы различных моделей, опосредованные уровнем экономического развития страны, политической зрелостью и индивидуальными склонностями населения. Поэтому говорят о существовании «японской» или «азиатской», «латиноамериканской», «китайской», «африканской» и других моделей развития, составленных, по сути, из «кирпичиков» первых трех названных. Страны, в которых преобладают черты патерналистской и либеральной моделей, принято называть демократическими.

Цивилизованная смена общественной системы — болезненный и длительный реформаторский процесс, в ряде случаев сопровождающийся революциями и гражданскими войнами. «Плавность» его проведения зависит от готовности общества к реформам, решимости и последовательности реформаторов, продуманности шагов реформы, благоприятного внешнего окружения, а еще лучше — поддержки реформ извне.

Как показал послевоенный мировой опыт, этап успешного реформирования тоталитарных систем проходили практически все страны, потерпевшие военные поражения (ФРГ, Италия, Япония), пережившие гражданские войны или глубокие внутренние кризисы (Испания, Южная Корея, Чили). Реформы в этих странах, проводимые при поддержке ведущих демократических держав мира, позволили не только избежать рецидивов тоталитаризма и провести необходимые преобразования для последующего вхождения национальных экономик в мировое хозяйство, но и укрепить демократические институты в обществе, создать правовое государство. К нашему сожалению, для воссоздания нормального стабильного демократического общества этим странам понадобилось от 15 до 30 лет.

Среди бывших социалистических стран Польша и Венгрия уже подходят к первому из этих временных рубежей, однако социально-экономическая стабилизация в них пока не наступила, сохраняется опасность возврата к тоталитарным (пусть и не в самом жестоким виде) формам правления. Что же говорить о России, где, учитывая ее исторический опыт и недавнее прошлое, все приходится реформировать буквально «на ощупь»!

Реформы в России, даже проводившиеся «во благо» народа (например, отмена крепостного права), всегда насаждались властью, принуждавшей не только народ, но и чиновничий аппарат к их проведению. И чем глубже и масштабнее были реформы «сверху», тем к более противоречивым результатам они в конечном счете приводили.

Современные реформы не стали исключением. По глубине преобразований общества и методам осуществления их можно сравнить разве что лишь с реформами Петра I и послереволюционными переменами в России.

Реформы Петра I, проведенные в начале XVIII века, неоднозначно оцениваются как его современниками, так и потомками. Во-первых, они проводились спонтанно, хаотично, бессистемно, часто не доводились до конца. Так, ни одна из трех попыток реформы местного самоуправления не была реализована. Во-вторых, несмотря на безусловную результативность реформ Петра в беспрецедентно быстром превращении России из рядовой страны, находившейся на задворках Европы, в одну из мировых держав, отмечается обнищание населения. К концу царствования каждый крестьянин и горожанин платили в казну в три раза больше, чем в начале.

В результате, по данным П. Н. Милюкова, с 1680-го по 1710 год население России в тех же границах уменьшилось на 20%. Множество людей бежало в леса, на Дон, за Волгу, скрываясь от властей. Помимо известного Стрелецкого бунта 1698 года, в течение всего периода царствования Петра в стране неоднократно вспыхивали восстания. Хотя Петр дал России толчок к развитию, импульс которого угас лишь спустя примерно 150 лет, абсолютистский характер его реформ привел к углублению пропасти между государством и народом, преодоление которой демократическим путем стало невозможно и привело к социальным потрясениям нашего века.

Идеологизированное реформирование коммунистами всех сторон жизни общества после 1917 года привело к созданию неестественной по экономическим отношениям, воспроизводственной структуре территориальной организации экономики, требовавшей для поступательного развития постоянного контроля со стороны все разбухавшего государственного бюрократического аппарата. Любые изменения в такой системе могли осуществляться только путем все тех же принудительных реформ «сверху». Более того, каждый новый коммунистический лидер страны, приходя к власти, считал своим долгом провозгласить свою реформаторскую политику «новой метлы».

С точки зрения объективных возможностей в наиболее «благоприятном» положении был Сталин при проведении коллективизации и индустриализации. В его распоряжении были все четыре основных фактора, позволявших проводить перманентную реформаторскую деятельность: тотальная система репрессий и контроля, огромные и еще не истощенные запасы природных ресурсов, относительно нетребовательная дешевая рабочая сила, иностранная помощь, которые позволяли не взирать на внутреннее сопротивление общества и неестественность предпринимаемых экономических мер. В этот период «каток» коммунистического реформаторства прошелся не только по экономике, но и по всему государственному устройству, по каждой нации и по каждой семье.

В дальнейшем возможности для осуществления реформаторских изменений общества у каждого последующего лидера все больше сужались. После нескольких «операций» по привлечению иностранной помощи и последующем ее присвоении (экспроприация иностранной собственности после революции, разрыв концессионных договоров в тридцатых годах, невыплата долгов по ленд-лизу) действие этого фактора надолго прекратилось.

Хрущевская «оттепель» подорвала репрессивный фактор реформаторства, а данное ему в этот период название «волюнтаризм», пожалуй, наиболее точно отражает сущность феномена реформаторства «сверху».

Пожалуй, единственная со времен нэпа попытка придать реформаторству экономическое обоснование и мотивацию, совпавшая, по-видимому, с готовностью общества к реформам, была предпринята в середине 60-х годов. Начиная с середины 70-х годов реформы были свернуты и началось нарастание неустойчивости экономики за счет сверхэксплуатации природных ресурсов (нефть, газ, золото). Что касается реформаторства политической системы и государственного строя в этот период, то оно носило декоративный характер. Настоящие реформы отторгались статичной системой, а для насильственного реформаторства уже не было необходимого потенциала.

Последняя попытка повышения эффективности социалистической экономики в традиционном русле насильственного реформаторства «сверху» просматривалась в действиях Ю. Андропова.

На этапе перестройки был окончательно разрушен механизм реформаторства по сталинскому образцу. Политика гласности и демократизации открыла людям глаза на существующую систему сверхэксплуатации рабочей силы. Реформирование партии в погоне за популярностью ослабило влияние КПСС в обществе как основного проводника экономической реформаторской политики. После того как был упущен благоприятный момент готовности общества для реформ (1986—1989 годы), наступил период сокращения добычи истощающихся природных ресурсов. Была разбазарена и вновь появившаяся западная помощь.

В сложившихся после распада СССР условиях проведение реформаторской политики по традиционному сценарию «сверху» окончательно стало бесперспективным вследствие отсутствия обеспечивавших ее факторов. Это наглядно показал опыт российских реформ 1992—1995 годов.

Нет смысла приводить многочисленные примеры, иллюстрирующие социально-экономическую ситуацию, которая наступила в России после пореформенного четырехлетия. Суммарный спад промышленного производства в 1991—1995 годах оказался глубже, чем в 1940—1942 годы. Сельское хозяйство натурализуется, не выдерживая конкуренции с импортом низкокачественного продовольствия.

В ряде регионов России экономический спад приобрел обвальный характер. Например, на Урале еще в конце 80-х годов спад промышленного производства достигал 15—20% от максимального уровня, а в последние годы этот процесс усилился. Большинство наиболее промышленно развитых уральских регионов, по результатам за 1991—1995 годы, отличались наибольшим уровнем спада и усилением его темпов в 1994—1995 годах. «Депрессивная волна» в 1994 году достигла машиностроения и легкой промышленности региона: величина падения физического объема производства в машиностроении и металлообработке составила от 36% (в Тюменской области) до 59% (в Удмуртской Республике), а в легкой промышленности — от 31% (в Свердловской области) до 69% (в Оренбургской области). В 1995 году — глубокий кризис сельского хозяйства и пищевой промышленности, признаки которого наметились ранее. А ведь еще в начале 1993 года глава администрации Свердловской области Э. Россель с надеждой говорил о прекращении спада и начале стабилизации в промышленности области.

Продолжается стремительное падение реальных доходов населения России. Хотя объем промышленного производства за девять месяцев 1995 года по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился всего на 3%, реальные доходы населения вновь, как и в прошлые годы, сократились еще на 12%. Во многих регионах люди не получают зарплату по три-четыре месяца. Так называемая «ваучерная приватизация» и акционирование не привели ни к увеличению производства, ни к сокращению безработицы, ни к крупным инвестициям, ни к появлению новых источников дохода у широких слоев россиян.

Российский экспорт в этом году вырос более чем на треть, в основном за счет увеличения поставок нефти и газа. В то время как в некоторых районах Ростовской, Волгоградской, Саратовской и других областей давление газа в коммунальных сетях упало настолько, что люди уже не в состоянии готовить себе пищу, европейские страны, в течение десятилетий получая российский неочищенный газ, использовали его в качестве сырья для химической промышленности и получали прибыль, в несколько раз превышающую затраты на покупку и транспортировку газа.

Ежегодный объем иностранных инвестиций в российскую экономику не превышает 1 млрд. долларов, в то время как от 10 до 30 млрд. долларов, принадлежащих

российским компаниям и частным лицам, остаются в зарубежных банках. Общая же сумма российской валюты, находящейся в зарубежных банках, составляет, по различным оценкам, от 100 до 200 млрд. долларов при том, что сумма внешнего государственного долга приближается к 130 млрд.

В итоге по объему валового внутреннего продукта (ВВП) Россия оказалась на десятом месте в мире после Бразилии, а достичь душевых показателей производства ВВП ведущих стран мира можно будет только упорным трудом нескольких поколений россиян. И тут уже не до «мытья сапог» в Индийском океане...

Попытка же консолидировать общество и отвлечь народ от насущных жизненных проблем традиционным путем поиска (вернее, создания) «врага внутреннего» в Чечне лишь показала экономическую и военную слабость государства и политическую самонадеянность тех, кто стоит у его руля.

Выдающийся мыслитель русского зарубежья И. Ильин писал в конце 40-х годов, предрекая скорый крах большевизма, о том, что Россия после большевиков возродится как демократическое государство и еще более окрепнет экономически буквально в считанные годы. Но вот большевизм начал десять лет назад расшатываться, разваливаться и наконец рухнул, приведя к результатам, пока прямо противоположным предсказаниям И. Ильина.

Кажущаяся простота и ожидаемая легкость реформ «сверху» обернулись необходимостью проведения глубоких государственных и экономических преобразований общества. Еще в начале реформ правительству пеняли лишь на неправильную очередность мероприятий сначала разгосударствление и приватизация, а затем уж либерализация цен. Теперь же стало ясно, что практически заново нужно создавать Российское государство.

В экономике речь уже не идет о превращении негибкой и неустойчивой государственной экономики в рыночную — динамичную, способную к саморазвитию и самонадаптации. Задача гораздо скромней и трагичней — сохранить на восстанавливаемом уровне материальную и технологическую основу экономики. Необходимо обеспечить людей работой, своевременно выплачивать зарплату, предотвратить обнищание основной массы населения.

Почему же И. Ильин, обычно точный в своих оценках и суждениях, ошибся и вопреки его ожиданиям кризис, переживаемый сейчас Россией, оказался глубже и продолжительнее? Ведь те же самые процессы реформирования в большинстве восточноевропейских стран да и в странах Балтии уже начали приносить реальные результаты, выражающиеся в росте производства и постепенном повышении жизненного уровня населения? В чем же причина неудачи. Только ли в реформаторах, а может быть, и в некоторой степени в самих реформируемых?

Сразу же напрашивается ответ, что дело тут в степени деформированности производственных отношений. Дескать, в Польше, например, оставалась частная собственность на землю, в ГДР и Венгрии были частная торговля и домовладения и так далее. И это верно, но лишь отчасти. Однако если, как говорится, копнуть поглубже, то за быстрой результативностью реформ там стоит также и высокая степень психологической готовности населения к преобразованиям.

Авторы последней попытки реформаторства «сверху» объясняли успешность действий желанием использовать сложившуюся после путча благоприятную политическую ситуацию. Но они неожиданно натолкнулись на принципиальную неготовность большинства населения к реформам либерального толка. В чем причина такой неготовности? Ведь большинство народа хотело перемен, поддерживало реформаторов!

При реализации так называемой либеральной концепции преобразований, включающей той или иной степени тяжести «шоковую терапию», человек становится подобен брошенному в воду и не умеющему плавать. Но мало просто бросить человека в воду, чтобы он сам научился плавать. Большинству же надо показать правильные движения и ближайшую «землю», цель, куда плыть. Этого реформаторы не учили.

Кроме того, психологическая готовность населения к рыночным реформам, к возврату к «нормальной жизни» в странах с нарушением «естественного хода истории» происходит тем легче, чем меньше был период «ненормального» развития и чем больше доля людей, обладающих хоть в небольшой мере «старыми» культурными навыками.

Каждой социально-экономической системе присущи свои культурные отличия в жизненных принципах, привычках в быту, общении людей, отношении их к труду, профессиональных навыках, в правилах поведения в обществе и трудовом коллективе и т. п. Эти черты формируются в людях тем сильнее, чем дольше они находятся в

данной среде, и частично передаются следующему поколению в процессе его воспитания. Именно эти устойчивые черты и являются в значительной степени основой так называемого «консерватизма».

В каждый момент времени такими навыками (или их отголосками) владеют как минимум два поколения: те, кто сам жил при «нормальной жизни», и уже в значительно меньшей степени их дети, воспитанные родителями на собственном опыте. Уже для третьего поколения все эти рассказы о жизни «при Николае» (Бенеше, Пилсудском, Ульманисе и др.) становятся лишь историческими легендами.

По нашим подсчетам, к началу 50-х годов в России после 30 лет господства социализма еще около половины составляло население, практически не нуждавшееся в психологической адаптации к рыночной экономике, в восточноевропейских странах конца 80-х — начала 90-х годов после 45—50 лет «народной демократии» — более трети, а в России 1992 года после 75 лет его практически не осталось. Включая самих реформаторов. В такой ситуации и нельзя было ожидать постоянного, поступательного хода реформ. Откаты, возвраты, переделки уже сделанного и изменение курса реформ, по-видимому, неизбежны. Так и получилось.

Российскую политическую жизнь последнего пятилетия можно разделить на три основных этапа, в зависимости от смены доминанты общественных настроений и поведения правящей элиты.

Победы на президентских выборах 1990 года, а затем в ходе августовского путча были одержаны Б. Н. Ельциным под флагом демократических перемен в обществе, необходимости его реформирования. Эти же настроения преобладали и в основной массе населения, что обеспечило молчаливую поддержку президенту в развале СССР и на первых этапах экономической реформы.

К парламентским выборам 1993 года произошла смена общественного настроения, на первый план выдвинулся вопрос государственности России, который не решался вследствие слабости и некомпетентности государственной власти. В наибольшей степени эти настроения удалось выразить В. Жириновскому, что и обеспечило его партии относительную победу на выборах в Госдуму. Однако былую экономическую и военную мощь Россия восстановить не смогла, что показала война в Чечне. Претензии же ее на роль мировой державы были перечеркнуты независимыми действиями ООН и НАТО во время боснийского кризиса. Тем не менее за двухлетний период угроза распада России по образцу СССР была значительно смягчена.

Наиболее популярным лозунгом, начертанным на знаменах практически всех избирательных объединений и партий на парламентских выборах 1995 года, стала стабильность. При всех различиях в ее понимании разными политическими течениями однозначно можно утверждать о начале «консервативного поворота» в умах людей, на который откликнулись политики. Произошла вторая смена доминанты общественного развития России, суть которой заключается в необходимости обращения основных усилий государства и общества на решение внутренних, повседневных социально-экономических и политических проблем.

Судя по всему, наиболее разрушительный период крупномасштабных реформ завершился. Переживаемый сейчас Россией момент можно назвать очередной сменой стратегии преобразования тоталитарного общества в демократическое. И эта смена обусловлена не столько экономическими, сколько социально-политическими причинами.

Обещавшаяся сначала реформаторами, а теперь и провозглашенная правительством Черномырдина стабилизация представляет на деле не что иное, как остановку в нижней точке кризиса. Надолго ли? Похоже, что ниже уже России не упасть, но есть ли силы и, главное, умение подняться? На что может рассчитывать Россия? В каком направлении реформировать общество дальше и какими методами? Какой путь с большей вероятностью приведет к долгожданной стабилизации и подъему? Эти вопросы вновь, как и четыре года назад, выдвинулись на первый план.

В каждой стране в конце концов складывается определенная система взаимоотношений государства и индивидуума, законодательно закрепленная в разделении роли и функций государственных и общественных институтов. Смысл любой реформы государства, общества и экономики как раз и заключается в нахождении достаточно устойчивой системы для данного государства и данного времени.

Нам кажется, что в нынешней ситуации дискуссия о путях дальнейшего развития и реформирования России может вестись вокруг четырех основных моделей общества: державной (или державно-монархической), тоталитарно-коммунистической, либерально-демократической, социал-демократической. Кроме того, традиционно упоминается также некий «свой путь». Соответственно политические силы, высту-

пающие приверженцами различных моделей, имеют свои стратегии дальнейшего формирования.

Возрождение прошлого, похожего на дореволюционное, общества с великорусской державной государственностью, царствующей династией Романовых, сословной иерархией, доминирующей ролью православной церкви в духовной жизни в нынешних условиях нереальна не только из-за отсутствия «исторической памяти». Из дореволюционных государственных, общественных и политических институтов более-менее сохранилась лишь церковь. Все остальные институты, носящие дореволюционные имена (Дума, губернаторство, дворянство, земство, казачество), — это, как говорят в архитектуре, «новоделы», т. е. копии, сделанные из новых материалов и по новой технологии и не имеющие ничего общего с оригиналом, кроме внешнего вида. Типичный пример такого «новодела» — строящийся Храм Христа Спасителя. Тем не менее прошедшие выборы в Государственную Думу показали сохранение определенного уровня популярности у национал-патриотического «новодела» — ЛДПР. Модель реформирования «по Жириновскому» хорошо всем известна: ликвидация национальных республик, контроль государства над экономикой, введение распределительного механизма в сфере потребления, агрессивная внешняя политика. И все это предусматривается проводить чисто силовыми методами.

В основе консервативной стратегии лежит полный или частичный возврат в милые сердцу значительного числа россиян коммунистические 70-е годы. Милые, потому что людям свойственно помнить хорошее и забывать плохое, а именно — отсутствие гласности, права выбора и других гражданских свобод. Мы уже забыли, что в тоталитарном государстве, каким был СССР, существовал полный (тотальный) контроль за всеми сферами экономики и самой жизнью каждого человека, «равенство в нищете». Наиболее привлекательная черта этой модели — наличие минимальных бесплатных социальных гарантий для каждого человека со стороны государства, а также отсутствие открытых межнациональных конфликтов. И большинство отдавших свои голоса за коммунистов на выборах 1995 года надеялись именно на возвращение таких гарантий. Стабилизация по-коммунистически предполагает «правильное» распределение всего и вся, но отнюдь не поиск путей увеличения объема распределяемого «пирига». При этом за бесплатные и низкокачественные услуги приходится платить отсутствием демократии, личных свобод и крайне неэффективной экономикой. В конечном итоге опять тупик.

Бесперспективность такого подхода понимают лидеры коммунистических партий во многих постсоциалистических странах, и их партии эволюционируют в сторону либерал- или социал-демократии. Тем не менее, по данным ВЦИОМ, «возрождение социализма» поддерживает 30% населения России (МК от 21 декабря 1995 г.).

В качестве ориентиров подражательной реформаторской стратегии наиболее привлекательными являются демократические страны с социально-ориентированной рыночной и либеральной экономикой.

В России пока мало кто понимает, что это такое — социально-ориентированная рыночная модель, поскольку ничего подобного у нас никогда не было. Да, по правде говоря, нет и предпосылок для обеспечения людям «равенства в достатке» — нет для этого экономических возможностей и опять-таки не создана соответствующая законодательная база. Слабость социал-демократических партий и блоков, ни один из которых не преодолел пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, наглядно это иллюстрирует.

Главная черта «демократических» моделей — наличие развитой экономики и правового государства, определяющего рамки реформирования. Поэтому попытки прямого копирования этих моделей в России вряд ли окажутся удачными. Так случилось и с либеральной моделью.

Либерализм, свобода, воля — это очень понятно российскому человеку, это значит делай, что хочешь. Но в условиях отсутствия правового государства либеральные реформы выродились в беззаконие. Это уже «либерально-криминальная» модель, близкая к латиноамериканской, которая и продолжает пускать корни в российский обществе.

Неужели существующее положение дел в России и является пресловутым «собственным путем»?

Каким же образом можно обезопасить общество от реставрации тоталитаризма, выйти из его нынешнего «либерально-криминального» состояния и перейти на путь действительно демократического развития общества и создания рыночной экономики? Какова должна быть при этом роль государства? И что вообще подразумевать под стабилизацией и стабилизационной политикой?

В принципе все возможные состояния экономики и общества можно свести к.

четырем известным: кризис, стагнация, стабилизация и прогрессивное (поступательное) развитие. И корректно говорить о том, какое именно состояние переживают экономика и общество данного государства или региона, нужно, только имея на руках беспристрастные оценки основных социально-экономических параметров: темпы роста (падения) объема производства, уровень безработицы (либо темпы ее роста), темпы инфляции, соотношение темпов роста доходов населения и индекса потребительских цен (реальных доходов населения).

Описывается каждое из этих состояний заранее подобранной системой индикативных показателей, имеющих «точки перелома», — перехода системы по данному параметру из одного состояния в другое. Так, например, специалистами признается критическим среднемесячный уровень инфляции более 10—12% («гиперинфляция»); от 7—8% до 10—12% — очень высоким; от 3—5% до 7—8% — опасным и ниже 3—5% — это «нормальный», или «естественный», уровень. Критическим считается также, например, среднегодовое падение уровня реальных доходов населения (соотношение совокупных денежных доходов и индекса потребительских цен) более чем на 30%, падение объемов промышленного производства более чем на 20%, и т. д.

Проведенный мною анализ предложенных параметров показал, что в целом развитие России в 1992-м и 1994 годах было кризисным по всем параметрам, в 1993-м и 1995-м наблюдалась стагнация, но ни один показатель в целом не достиг уровня стабилизации. Лишь в последние два-три месяца 1995 года, по словам правительства, уровень инфляции снизился до «естественного» фона (менее 3% в месяц).

В регионах картина более противоречива. Если в 1992—1993 годах экономика большинства регионов находилась в состоянии перехода от стагнации к кризису, то в 1994—1995 годах доля «стагнирующих» регионов существенно выросла и даже выделялась группа регионов, экономика которых находится в состоянии перехода к стабилизации. Но все-таки в большинстве регионов России продолжается спад производства, устойчиво растут уровень безработицы и темпы инфляции, темпы роста цен на потребительские товары и услуги опережают темпы роста доходов населения.

Правительство пока только объявило курс на стабилизацию, но процесс этот еще не начался, нет даже четкой и эффективной программы стабилизации (а процесс это сложный и длительный).

Не надеется же правительство обеспечить стабилизацию с помощью проводимого им налогового выжимания соков из производителей! Ведь дело дошло до того, что при рассмотрении проекта бюджета на 1996 год в согласительной комиссии высказывались предложения о лишении малых предприятий налоговых льгот, что может привести не только к дальнейшей криминализации малого бизнеса, но и к исчезновению его как экономического института, развитию которого во всем «нормальном» мире придается первостепенное значение. Это естественно. Как и вообще создание благоприятного предпринимательского климата — основа стабилизации.

Неудачи последних лет показали, что по единому сценарию без учета местных условий и особенностей регионов реформировать Россию невозможно.

Очевидно, что процесс стабилизации тоже надо начинать с регионального уровня.

В каждом регионе реформаторская экономическая политика имеет разное содержание, в зависимости от местных особенностей. Еще с самого начала реформ опасность возникновения массовых протестов населения объективно вынудила региональные и муниципальные власти уделять первостепенное внимание сглаживанию негативных тенденций в социальной сфере. Это проявлялось в сдерживании роста цен на потребительские товары, услуги транспорта за счет дотаций из местных бюджетов, более высокого роста заработной платы работникам бюджетных организаций, активизации создания различного рода социально-ориентированных местных внебюджетных фондов. Помимо этого, для предотвращения безработицы региональными властями предпринимались различные меры против остановки производства.

Таким образом, если на макроуровне действовала либеральная модель реформирования, то на региональном уровне ей противостояла, ее компенсировала, демпфировала практически другая модель, более адекватно учитывавшая реалии и медленно эволюционировавшая от тоталитарного к патерналистскому типу.

На региональном уровне более или менее успешное противостояние кризису обеспечивалось как минимум четырьмя различными стратегиями:

— консервативной, характерной для аграрных регионов с прокоммунистическим руководством, когда рыночные отношения вводятся очень дозированно и осторожно, с постоянными откатами («шаг вперед, два шага назад»). Основные элементы этой стратегии: сдерживание внутренних потребительских цен (особенно на товары, которыми регион самообеспечен) и ограничение темпов роста заработной платы, сохранение в той или иной форме коллективной собственности в аграрном секторе и государ-

ственной — в промышленности. Характерные примеры: Ульяновская, Кировская область, области ЦЧЭР;

— радикально-сепаратистской, характерной для Татарстана, Башкортостана, Якутии и других республик и части русских регионов, разыгрывающих или пытающихся разыграть национальную или сепаратистскую «карту». Главные составляющие такой стратегии: особые отношения с федеральным бюджетом, перераспределение в пользу регионов налогов, прав собственности на природные ресурсы, на управление крупными акционированными предприятиями, а также самостоятельность в сфере исполнительной власти;

— лоббистско-патерналистской, характерной в первую очередь для топливно-сырьевых (Коми, Кемеровская, Тюменская области и др.) и части стратегически значимых (Сахалинская область, Приморский край и др.) регионов. Сюда примыкает также и часть регионов оборонной промышленности. В сущности, это разновидность радикально-сепаратистской стратегии, но более «экономически обоснованная», подкрепляемая как министрами-лоббистами, так и угрозой забастовочного движения в самих регионах. В основном борьба здесь идет за инвестиции, субвенции, перераспределение средств в приоритетные для этих регионов отрасли сразу на федеральном уровне, экспортные квоты. Если в предыдущей группе регионов местные лидеры для поддержки своего авторитета вынуждены считаться с населением и предпринимать определенные меры по его социальной защите, то большинство руководителей регионов данной группы являются просто достаточно значимыми звеньями региональных и общегосударственных «технологических» и «финансовых» цепочек;

— либерально-рыночной, характерной для отдельных регионов с наиболее демократически ориентированным руководством (Нижегородская, Калининградская, Челябинская, Самарская области, Алтайский, Краснодарский край, Санкт-Петербург и др.). Здесь действительно пытаются «честно адаптироваться» к социально-экономической ситуации, но не хватает стратегического видения на региональном уровне и отсутствия целых звеньев долгосрочной государственной политики (оборонной, структурной, финансовой и др.).

Кроме того, ряд региональных лидеров с тем или иным успехом пытается сочетать перечисленные стратегии. Характерный пример — Москва.

Все эти особенности и социально-экономический опыт регионов необходимо учесть при составлении общей программы стабилизации. Хотя каждый регион или группа соседствующих регионов обладают уникальной совокупностью факторов производства, могущих стать предпосылками выхода из кризиса, стабилизации экономики, все же можно найти общие ключевые звенья таких программ.

Естественно, что не все регионы смогут сразу и самостоятельно выйти из кризиса — это следствие неизбежной неравномерности регионального развития. Поэтому при выборе ключевых регионов для реализации региональных стабилизационных программ можно предложить два основных подхода, которые условно можно назвать: «опорные точки» и «макрорегионы». Что имеется в виду?

В результате реформы еще более усилилась дифференциация социально-экономического положения регионов, выделились свои лидеры и аутсайдеры, наметились регионы — «полюсы роста»: Москва и Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и др. Именно в них и для них необходима первоочередная разработка таких программ.

Второй подход основан на согласованности реформ в территориально смежных регионах — «протоземлях» России. В его основу может быть положена тенденция межрегиональной экономической интеграции. Большинство региональных ассоциаций экономического взаимодействия становятся существенным фактором экономической и политической жизни государства, с которыми начали считаться и органы федеральной власти.

Основное содержание стабилизационной программы на региональном уровне должно состоять прежде всего в создании устойчивой экономической базы, построенной на самостоятельности форм собственности, опоре на местные ресурсы, разнообразии видов деятельности, создании дополнительных льгот для малого предпринимательства, и т. д.

В данной статье автор лишь попытался показать опасность игнорирования политики целенаправленной стабилизации, а также опасность и трудности, подстерегающие нас на пути к возрождению. Ведь и новый состав Федерального собрания, новый президент и правительство, региональные лидеры никуда не уйдут от решения задачи выработки и проведения стабилизационной политики. Но, видимо, начинать ее надо именно с местного и регионального уровней, с нужд и чаяний людей. Только тогда реформы в России будут проводиться не как обычно, над народом, а для народа.

«Это светлое имя — Пушкин»

Геннадий РОССОШ

Пушкин и свобода: превратности и откровения

Люди, знавшие Пушкина, в том числе близкие друзья, утверждали, что поэт до конца жизни верил в предсказание, услышанное еще в юности от заезжей гадалки Кирхгоф. Она напроорочила ему гибель от белого коня или белокурого человека. Предсказание это звучит банально, слишком уж напоминая фразу из новозаветного откровения: «...се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть». Но факт остается фактом: хотя Пушкин нередко подшучивал над своим суеверием, он не прочь был поостеречься всех белокурых. Как известно, он вообще очень чутко реагировал на всевозможные приметы, предчувствия, сновидения, прорицания, верил в магическую силу вещей, в «магнетизм», с усиленным вниманием относился ко всему загадочно-таинственному, и все же белокурые оказались у него как бы на особом счету. Он и чурался их, и — как бабочка на огонь — подчас устремлялся к ним, подобно тому, как «вещий Олег» сперва велел увести с глаз долой своего коня, а потом сам же к нему пришел — на погибель. Кстати говоря, не исключено, что «Песнь о вещем Олеге» была навеяна именно предсказанием Кирхгоф. В 1827 году Пушкин опубликовал задиристую эпиграмму на А. Н. Муравьева («Лук звенит, стрела трепещет») и в разговоре с М. П. Погодиным высказался примерно так: «Он может вызвать меня на дуэль, мне тогда несдобровать, ведь он не только белый человек, но и лошадь». А в 1830 году поэт вдруг изъявил желание отправиться в Польшу и принять там участие в военных действиях, причем одним из «заманчивых» обстоятельств было то, что в неприятельском лагере числился некто Вайскопф («белая голова»). Пушкин сказал тогда другу своему С. А. Соболевскому: «Посмотри, сбудется слово немки, он непременно убьет меня». И наконец Данте! Он тоже белокур. Выходит, поэта толкнула к нему, помимо всего прочего, и магия давнего пророчества?

Попутно заметим: в *чёрном человеке*, вестнике смерти Моцарта, Пушкин изобразил — посредством «фотонегатива» — именно *белого человека*, который преследовал его воображение и сулил роковую развязку.

1

Есть у Пушкина произведение, где «белый человек» предстает прямо-таки в ослепительно белоснежном оперении, но в то же время загримированный так искусно, что, насколько мне известно, никому еще не удалось его опознать.

«Сказка о Золотом петушке». До сих пор остается она не совсем понятной. Несколькими лет назад появилось блестящее исследование этого самородка*, но и здесь сердцевина «Петушка», на мой взгляд, не постигнута. «Образ космоса» выявлен, странное многозвучие сказки расписано по нотам, тема «антисемьи», братоубийства поставлена на свое, центральное, место, персонажи — порознь и во взаимной связи —

* См. вторую часть обширной работы о сказках Пушкина, вошедшей в книгу В. Непомнящего «Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина», изд. второе. М., 1987, сс. 218—260.

истолкованы на разные лады, символика очень интересно и перспективно прослежена во всех направлениях, сюжет и общий смысл подвергнуты ювелирному анализу... и все-таки: суть ускользает, корни остаются под спудом.

«Скучно, мой ангел. И стихи в голову нейдут... все об вас думаю», — писал Пушкин жене из Болдина в сентябре 1834 года. Стихи все же пошли. Но почему именно «Петушок»? Почему только «Петушок» и ничего другого? Почему поэту так неуютно в болдинском доме, где четыре года назад он познал небывалый взлет вдохновения? Да и в прошлом году он творил здесь легко и мощно (хотя и в ту осень не миновали его ужасные надрывные ноты: «Не дай мне Бог сойти с ума...»). Почему так неотступны теперь мысли о жене, о детях? А что если «Петушок» как-то связан с этой обостренной тоской, с этими переживаниями, быть может, чрезвычайными?! Может, странность, загадочность сказки — как раз оттого, что сюда вошло много личного, сокровенно-интимного, о чем поэт не мог сказать открыто, но и молчать об этом не мог?

Ключевыми для понимания глубинного смысла сказки я считаю вот эти три строки:

В сорочинской шапке белой,
Весь как лебедь поседель,
Старый друг его, скопец...

Вроде бы нелепый образ. Если звездочет в шапке, откуда ж видеть, что он поседель? Авторская небрежность? На Пушкина не похоже. Давайте вчитаемся. Звездочет не просто поседель, он *весь* поседель. То есть: «седина» дана не в собственном смысле слова — не о волосах речь; «седина» означает здесь *белизну*: человек этот *весь белый!* Пушкин делает тройной нажим именно на белизну: шапка белая, плюс «седина» и плюс еще «как лебедь». У лебеда как раз не только голова белая — он *весь белый!* Итак — белый человек. Ну и что? Ну, вспомнил Пушкин лишний раз про гадание. Что из этого следует? Ведь «белокурый» чуть не всю жизнь при нем состоял. Вроде тени...

Многие отмечали, да и сам Пушкин знал свою способность — в минуты резкого душевного подъема или, напротив, спада — проникать сквозь завесу грядущего: «Промчится год — и с вами снова я» (о возвращении из михайловской ссылки), «И, мнится, очередь за мной» (после смерти Дельвига). В январе 1834 года, то есть примерно за восемь месяцев до создания «Петушка», Пушкин сделал в дневнике запись: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Из калейдоскопа подробностей светской и придворной жизни выхвачена новость примечательная, но в общем-то неблизкая обычным заметкам поэта. Может, явилось нерядовое, окольное побуждение запечатлеть молодого француза, недавно прибывшего в Россию? Нет ли тут искры провидческого озарения — задолго до того, как прелесть Натальи Николаевны сделалась объектом вожделений юного шуана? Не совместились ли в этом озарении два образа: один — конкретно-предметный, барон Дантес, без пяти минут корнет Кавалергардского полка; и другой — давнишний белокурый призрак, несущий поэту гибель?

Суть не в том, что предсказанная гадалкой беда была в глазах Пушкина неотвратима; суть, я думаю, в той исключительной интуиции, которой поэт обладал. Вспомним, кстати, известные его слова из критических заметок: «...провидение не алгебра. Ум человеческий не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения». Пушкин — несравненный «угадчик», разве не мог он очень скоро «вычислить» Дантеса и — шестым ли, девятым ли чувством — предугадать дальнейший ход вещей, тем более что лучезарная (по выражению В. А. Соллогуба) красота Натальи Николаевны «всем кружила головы... не было почти ни одного юноши, который бы втайне не вздыхал» по ней? Тогда, вероятно, и началось: «Везувий зев открыл», — проснулась в сердце Пушкина «болезнь», которую он много раньше с таким блеском описал в одной из строф «Онегина», не вошедшей, правда, в основной текст романа.

Да, да, ведь ревности припадки —
Болезнь, так точно как чума,
Как черный сплин, как лихорадки,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!

Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

До поры до времени ему удастся скрывать от посторонних глаз (да и от себя тоже) синдром этой «чумы», но где-то в тайнике души он, возможно, уже тогда уяснил: она будет стоять ему жизни. И нет ничего сверхъестественного в том, что, находясь в болдинской глуши, вдали от жены, оставшейся под одним небом с белокурым корнетом, поэт волей-неволей сближал в своих «злых снах» две эти юности, две красоты, оттененные его «старостью», «неблагообразием»... и вдруг взял да и произвел на свет «Петушка» — едва ли не самое кровопролитное свое творение. Здесь даже трава-мурава пропитана кровью. Между прочим, упомянутый набросок об извержении Везувия относится тоже к 1834 году; хотя сюжетом ему послужила картина Брюллова, это не исключает и побуждений сугубо личного плана.

Но не слишком ли голословны, безосновательны подобные версии?

Один аргумент я уже привел: акцентированная «белизна» звездочета. Второй довод, на мой взгляд, тоже достаточно весом: поэт «оскопил» своего белесого ненавистника. Третий штрих — сей «скопец» упрямо и во что бы то ни стало, даже рискуя жизнью, хочет заполучить себе солнцеподобную шамаханскую царицу. В свете предлагаемой гипотезы по-новому рисуется смысл вопроса, который задает звездочету царь Дадон: «Полно, знаешь ли, кто я?» Тут нам дана еще одна наводящая нить: царь Дадон — возможно, и не царь. Кто же он? Уж не сам ли поэт? Ведь были у Пушкина когда-то такие строчки:

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем,
В венце сияющем, царем я зрел себя.

(«Сновидение», 1817)

Или знаменитая его метафора, обращенная к поэту: «Ты царь...» И где же, как не в сказке, сбываются сновидения и разворачиваются метафоры?

Пусть царь Дадон смешон, жалок, низок и нет в нем ни грана сходства ни с поэтом, ни с царем — так оно и задумано: почему бы не пустить незадачливую публику по ложному следу? Пусть поввыскивает она «сатиру» на всамделишного царя — хотя бы насчет его «неисполненных обещаний»! А в конце еще одна затравка:

Сказка ложь, да в ней намек!
Добрый молодцам урок.

Что за намек? Кому урок? Кто такие «добры молодцы»? Конечно же, на царя намек, царю урок! Эдак публике приятней, проще и удобней. Вот уж полтора века идем мы по этому следу, не в силах оторвать от него свой притупленный взгляд. А ведь немудрено догадаться: Пушкин не мог делать такого рода топорные, «лобовые» намеки и уроки царю. Я полагаю: просто-напросто поэт отвел душу (хотя бы в фантазии своей) — «хватил жезлом» белого звездочета, вот тебе и намек, и урок! Ради вышей справедливости не пощадил и себя — в царственном «двойнике» своем.

Есть у царя Дадона черта, не чуждая Пушкину: простосердечие, доверчивость. Так или иначе, но в этом царе (как и в негре с чумной телеги, и в «рыцаре бедном», и в Сильвио, и в Татьяне Лариной, и во многих других образах, крупноплановых или мимолетных) проглядывают пушкинские приметы. Пусть ироничные, шаржированные, в неожиданной, неузнаваемой маске — не беда: Пушкин вообще ведь очень изящно и неназойливо оперировал намеком, пародией, аналогией и тому подобными приемами. В черновых строфах «Домика в Коломне» он остроумно говорит об этом:

Когда б никто меня под легкой маской
(По крайней мере долго) не узнал!..
Уж то-то б неожиданной развязкой
Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник?..
Нас мало. Не укроется проказник!..

Такая вот авторско-личная подоплека видится мне в «Сказке о Золотом петушке». Побудительные мотивы были у Пушкина так сильны и настолько сокровенны, что ему пришлось сделать все возможное, дабы «спрятать концы в воду», закодировать их, и только «добрым молодцам» бросить «намек»-предостережение в

слабой надежде, что это дойдет до них, будет ими понято. В первую очередь адресатом был «белокурый», но имелись в виду и все прочие, кто вздумает посягнуть на дарованную поэту Красоте, на весь его мир «покоя и воли». Шифровка этой сказки в сочетании с неизмеримо страстным, если не лихорадочным, характером импровизации, да к тому же еще метаморфоза замысла (выросшего из «Легенды об арабском звездочете» В. Ирвинга) — вот и возник феномен поразительного художественного эффекта: многослойная, перекрестно-многозначная семантика, лабиринт идей, условных знаков. Сюрреалистические красочные слои пронизывают, просвечивают друг друга, многое здесь выглядит алогично, поливариантно, кое-что можно воспринять как притчу, иносказание, но все же основное здесь — непроизвольное сплетение ассоциаций, образных эмоций, что и создает всю эту живую, неподражаемую *лепноту*.

Ни звездочет, ни царица, ни петушок не открывают нам до конца свои тайны, остаются инкогнито. Что мы о них знаем? Конкретно — ничего. Авторские характеристики как бы умышленно сбивают нас с толку. Можно предположить вот что. Звездочет («белый человек»), Золотой петушок (зван был как страж царский, а стал царевубийцей; сам возвестил царю беду и сам же «клюнул в темя и взвился») и шаманская царица (без царства и без подданных) выступают здесь не сами по себе, а в триединстве враждебных царю (и поэту) сил. Быть может, это силы возмездия? Как бы то ни было, сия лукавая троица втянула царя (и поэта) в кровавую карусель, головокружительную пляску смерти. Неспроста вслед за гибелью звездочета заодно с ним исчезают — разом, вдруг — петушок и царица: «будто вовсе не бывало». Как сновидение. Но, прежде чем испариться, они расправляются с царем Дадонем. И с поэтом тоже, только чуть позднее.

2

Пушкин сражен был прицельной пулей, почти в упор. Полтора века — срок немалый, но и по сей день не закрылась эта рана. Над перипетиями дуэли у Черной речки не устают ломать косяки литературоведы, психологи, криминалисты, просто энтузиасты. Рождаются десятки подчас ошеломляющих версий. Неисчислимы создатели уникальной пушкинианы движимы одним желанием — добыть еще хоть каплю истины. Впрочем, мало кому удастся войти в *безмерность* пушкинского трагизма. Отсюда — узость многих трактовок, излишняя конкретизация выводов. Один автор убежден, будто Пушкин «погиб в борьбе с русской историей, ход которой он пытался изменить»; другой нашел в пушкинской ненависти к Дантесу и Геккерну неприятие «неметчины», а в роковом поединке усмотрел бой «за честь Отчизны». Вскрывая причины крайне тревожного состояния, в котором оказался поэт к началу 1836 года (когда один за другим разыгрались три дуэльных конфликта, причем в каждом из них зачинщиком был он сам), еще один исследователь приходит к выводу, что в поведении Пушкина последней поры доминировала «внутренняя готовность к самому крутому повороту в своей судьбе ради спасения чести и человеческого достоинства». С такой формулой, как и с двумя вышеприведенными, трудно согласиться. Готовность к повороту? Да, конечно. Но только ли ради спасения чести и достоинства?

В чем корень неистовой, неколебимой ярости Пушкина по отношению к Дантесу и тем, кто стоял за его спиной? Ведь он давно знал настоящую цену и должное место всяческой «черни». Получив анонимный пасквиль, он выразился с убийственным сарказмом и самообладанием: «Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое». Он твердо стоял на том, что «независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». То есть, по существу, он полагал для себя унижением, а не спасением чести и достоинства какое бы то ни было выяснение отношений с теми, кто подличает «сзади», исподтишка. Почему ж он все-таки бросил вызов, поставив тем самым под удар и собственную жизнь, и участь горячо любимых своих близких — жены, четверых малолетних детей, и судьбу русской культуры, которая (он не мог, я думаю, не сознавать этого) тоже осиротевает без него? Что отстаивал и защищал Пушкин?

Нельзя забывать: за всеми изломами судьбы, за любым сюжетом Пушкина — неукротимая драма вечных идей. Жизнь и смерть, борьба и смирение, человек и стихия, личность и власть, вера и безверие, гений и злодейство — эти антиподы не были для него мудреными абстракциями, «художественными пружинами». Что-то роднит между собой все эти идеи. Это «что-то», этот общий знаменатель — ключ к душе поэта, пробный камень его трагизма.

Таким знаменателем, генеральной сверхидеей стала для Пушкина *свобода* — в полном, всеобъемлющем смысле слова. Свобода — корень его природы, источник и

лейтмотив вдохновения. Все, на что падал взгляд Пушкина, о чем ни задумывался он и чего бы ни коснулся кончиком пера, так или иначе соотносилось с духом свободы. Ничто в мире не было для него нейтральным к свободе. Его свобода — не самоцель или фанатическая догма, не праздность или нравственный хаос, а единственно возможный способ дыхания. Не «буква», дух свободы — вот что давало поэту стимул для самопроявления и самоограничений. В семейной жизни, в любви он даже рад был принять — полусерьез, полущутя — «неволю» и «зависимость». Тем более в отношении своей Музы — с готовностью отдавался ее власти и произволу. Быть прямым и откровенным в помыслах и действиях, в сердечных влечениях и терзаниях совести; быть вправе противоречить самому себе, не стесняясь своей переменчивости, вспылчивой алогичности, а то и «неблагопристойности», — такова свобода Пушкина. Но при всем том она заключает в себе незыблемое раскаленное ядро-сплав: любовь, разум, свет. Внутреннее солнце озаряет и жизнотворит все в мире Пушкина, в окружающей его действительности и в нашем сегодняшнем тревожном сознании. Вот, пожалуй, во имя чего поэт и восстал, и бросил свой вызов — не «белокуруму» Дантесу вкупе со всеми геккернами, не царизму, ведь они не более чем «спусковые крючки». И все-таки: обладая такой вот свободой, неся в себе негасимый свет, почему он не мог стать выше каких бы то ни было страстей, тупиков, крушений?

Онегин убил Ленского, Пушкин пал от пули Дантеса. От руки друга, от руки врага, но в обоих случаях — погиб Поэт: таков, очевидно, высший закон. Пушкин открыл его в поэзии и подтвердил своей гибелью, хотя и сделал все возможное, чтоб его опровергнуть. Интересный факт: свои симпатии и сочувствие Пушкин зачастую делит поровну между противниками, находящимися в оппозиции. Сильвио и граф, Дон Гуан и Командор, Онегин и Ленский, Евгений и Медный Всадник, Германн и старуха графиня — в каждой из этих пар заключено равновесие, партнеры достойны друг друга, каждый по-своему прав. Тем глубже, острее, безысходней драматизм их противостояния. А вот Дантеса поэт не удостоил ни каплей снисхождения, не пожелал «понять» его изнутри. Неужто лишь потому, что Дантес — его личный враг и соперник? Ни в одном из множества запечатленных Пушкиным противоборств не было, кажется, столь крайней степени ожесточения, как с Дантесом. Даже и у Руслана с Черномором, у Гринева с Швабриным, у Кочубея с Мазепой (хотя здесь налицо клубок отчаянных страстей) — в их ненависти друг к другу нет ничего сходного с тем, что вывело Пушкина на огневой рубеж. А ведь Дантес, по правде говоря, не «исчадие ада». Сам по себе вряд ли мог этот молодой человек вызвать в душе поэта испепеляющий вулканический выброс. Почему Пушкин с его способностью к невероятному внутреннему раскрепощению оказался вдруг несвободен от бешеной ненависти, безудержной жажды мщениия?

Думаю, не стоит преувеличивать ни роль Дантеса, ни роль «белокурства» в трагической развязке. Если б и не было никакой гадалки, напророчившей Пушкину «белую голову» и «белую лошадь», ему все же потребовался бы зримый и осязаемый образ-символ — средоточие всего того, что в мире органически чуждо, ненавистно ему. Сложилось так, что этим символом в течение жизни был для него призрачный «белый человек», откуда он не обрел реальные черты в облике Дантеса. На него и низринул Пушкин всю желчь, неистовую страсть. Но что именно так претит Пушкину, так вышибает его из колеи, ставя под сомнение его верховную свободу, не подвластную мирским законам и беззакониям?

Истинную свободу нельзя ни ограничить, ни упразднить. У Пушкина даже «невольный чижик» в клетке по-своему свободен — «и песнью тешится живой». Откуда же берется и что собой представляет сила, по диктату которой вчерашние друзья сходятся вдруг в смертельном поединке; молодой инженер наставляет пистолет на беззащитную старуху; потомственный рыцарь швыряет перчатку вызова родному отцу; благородный сиятельный граф идет на низость второго дуэльного выстрела — в то время как в адрес самого графа не просвистела еще и первая пуля; бескорыстный служитель «музыки» всыпает яд «богу» искусства («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»); великий монарх, «строитель чудотворный», становится причиной безумия и гибели «маленького человека» и тысяч ему подобных? Вот и самый свободный из смертных, Поэт, венец творения, как будто пасует перед этой силой, становясь ее игрушкой: берет в руки инструмент смерти и сам встает в прорезь гибельного прицела.

В разных ипостасях выступает у Пушкина эта сила. То вселится в «персональную душу» (Черномор, Мазепа, Швабрин, Анджеоло, Сальери), то, как оборотень, явится «гробовой змеей» или вынырнет «утопленником» и будет стучаться «под окном и у ворот», а то вдохнет жизнь в каменный или медного истукана. Часто Пушкин видит ее

слепую волю в страшных выпадах дикой стихии — в наводнении, извержении вулкана, в эпидемии чумы, в метели, способной замести пути-дороги, перепутать людские судьбы. Особое место отводит поэт всякого рода «бесовским» воплощениям этой силы. Он обходит с ними запросто, без пиетета, не жалея на них шутивно-озорных, иронических красок — как, например, в «Гавриилиаде», в сказке о Балде. Иной раз в речи «лукавого» улавливаются авторские интонации, мотивы. Шутивно-пародийный колорит сохраняют у Пушкина и адские картины загробного мира, где «бесы тешились проклятою игрой», но здесь сквозит уже ветерок истинного трагизма, нешутейного ужаса: «И дале мы пошли — и страх обнял меня... Я издали глядел — смущением томим». И уж совсем не до шуток поэту в стихотворении, так прямо и названном — «Бесы»:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня...

Как нам определиться с этой «вражьей силой»? Что она такое? Просто «дух нечистый»? Зло? Рок? «И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет»? Точней, мне кажется, назвать эту силу не злом, не роком, не чертовщиной, а просто — *неволей*. Именно неволя была абсолютно чужда и ненавистна поэту. Пушкин чувствовал ее не только чем-то внешним, но и как яд, проникший в глубь его существа. В стихотворении 1823 года «Демон» (в первой публикации — «Мой демон») сказано:

Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня...
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд...
Не верил он любви, свободе...

«Злобный гений». Принято считать, что Пушкин имел здесь в виду Александра Раевского. Возможно. И даже вероятно. Но вчитаемся еще раз: «Тогда *какой-то* злобный гений / Стал *тайно* навещать меня»*. Почему «какой-то»? Почему «тайно»? Эти слова никоим образом не соотносятся с Александром Раевским. Он был для Пушкина скорей всего лишь олицетворением некоего *фантома*, который изнутри, вселившись в душу поэта, отравлял ее «хладным ядом», диктовал свою волю, как бы стремясь *совместить гений и злодейство*, а главное — парализуя чувство свободы.

3

Пушкин видел в свободе начало всех начал, но в то же время он сполна постиг тупиковость этой доминанты: парадокс свободы, бумеранг свободы — вот что открылось ему еще в самом начале пути, легло в основание его трагизма. Свобода по природе своей призвана «освободить» — в том числе от истины, смысла да и от свободы тоже. В своем юношеском потрясающе зрелом стихотворении «Безверие» Пушкин изобразил вполне свободного человека, не зависимого ни от людей, ни от Бога. И что же? Чем чревата эта свобода? Он «видит с ужасом, что в свете он один», и «бродит он с увядшею душой, своей ужасною томимый пустотой». Ему некого винить в своей беде — он сам «безумно погасил отрадный сердцу свет», подарил себе «безверия мученье». Он не устает изыскивать себе опору — надежную, вечную, хотя бы ценой своей независимости. Но дух свободы неискореним.

Ум ищет божества, а сердце не находит...
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью...

Было бы, конечно, ошибкой ставить знак равенства между героем «Безверия» и самим Пушкиным. Но еще опрометчивей свести роль поэта к позиции наблюдателя. «Ум ищет божества, а сердце не находит» — этой коллизией пронизан весь путь

* Здесь и далее в цитатах курсив мой. — Г. Р.

Пушкина. «Собою страждет он» — тоже сказано не в третьем лице: о себе. Не надо считать, что его погубили враги, долги, цари, бенкендорфы. Низко и глупо — упрекать в чем-либо жену. Не стоит порицать и друзей — дескать, недопоняли, убили равнодушием, отчуждением. «Собою страждет он...»

Юный Пушкин сумел раскрыть безверие не в философском или чисто житейском плане; оно выступает у него в предельно обобщенном значении как гнетущая, опустошающая *изнанка свободы*. Герой стихотворения, пораженный этим недугом, не в силах усмирить свои «бунтующие страсти», забыть о разуме «и немощном и строгом», — чтобы «с одной лишь верою повергнуться пред Богом». Бог у Пушкина противостоит безверию как живой и бессмертный идеал, как абсолютная свобода и «отрадный сердцу свет», без которого нет и не может быть жизни.

Но вот — спустя годы и годы — новый духовный скиталец забредает, выбиваясь из сил, в пустыню мрачную, и тут к нему нисходит шестикрылый серафим, дает ему новое зрение, новый слух, вместо языка — «жало мудрых змеи», вместо сердца трепетного — «угль, пылающий огнем»; и голос свыше, именуя скитальца «пророком», призывает его исполниться волей Божьей. Я спрашиваю себя: ну и как, «исполнился»? И склоняюсь к тому, чтобы ответить: не вполне. Берусь утверждать, что поэт не отказался здесь от «бесовского» заявления, сделанного пятью годами раньше в «Гавриилиаде» (при посвящении Марии в историю первородного греха): «...я, поверь, историк не придворный, *не нужен* мне пророка важный чин!» В «Пророке» он лишь на время устранил свою иронию — чтобы войти в образ боговдохновения, взглянуть на все «моря и земли» сквозь призму чрезвычайных возможностей и «полномочий». Но это прежде всего проба — проба духа, опыт воплощения мечты. Ведь основные акценты «Пророка» звучали у Пушкина и раньше, причем не раз. Задолго до того, как «Бога глас» призвал его исполниться всевышней волей и глаголом жечь сердца людей, Пушкин воскликнул (в своей «Деревне»): «О, если б голос мой умел сердца тревожить!», а в «Песни о вещем Олеге» сказал о волхвах (они тоже в своем роде поэты-пророки): «Правдив и свободен их вещей язык и с волей небесною дружен». Так что «Бога глас» — это голос самого поэта, отраженный и возвеличенный небесной раковиной. Пушкин не нуждался в том, чтобы кто-то «воззвал» и подвинул его на великую миссию, дал ему санкцию на пророчество.

На первый взгляд как будто свершилось: божество найдено, верней — оно само нашло поэта, упорно влачившегося «в пустыне мрачной»; можно бы уже не томиться ни духовной, ни иной жадью. Но не таков гений Пушкина. Именно теперь, на этом пике духодержновения, он ясней ясного сознает: сан Божьего миссионера — не то, к чему он действительно призван. И не в скромности дело, не в недооценке себя. Наоборот: ему эта миссия не может не представиться слишком ограниченной, а в чем-то, быть может, и фальшивой. Посвятить себя тому, чтобы жечь сердца (хотя бы и глаголом)? Нет, «угль пылающий» нужен и оправдан лишь в избранные мгновения. Обычной жизни нужны обыденные глаголы.

Вся эта мрачная мистерия, жуткая гипнохирургия на перепутье — не кредо Пушкина. Звездный час его, но не въяве. Фата-моргана, вроде творческого сна, ярчайшего и пронзительного, близкого к священнодействию; однако возомнить и утвердить себя пророком — Пушкин легче смирится с камер-юнкерством, чем с этим «чином». (Хотя безотчетно он был и пророком, и божеством: тем самым божеством, кого вне себя искал и жаждал. Вселенная, которую он в радости и творческих муках созидал из ничего, — разве не Божеское творение? Но Пушкин тем и дорог, и близок нам, что пришел не вознестись, а разделить — чаяния, юдоль.) Вот почему я считаю: «Пророк» не утолил и не мог утолить жажды гения, не увенчал его поиск, не внес в его «самостоянье» кардинальный переворот.

Загадку и проблему более всего представляет шестикрылый серафим — не только сам по себе, со всеми его ангельскими манипуляциями и кровавыми резекциями, но и как «предтеча» Божьего гласа, воззавшего к новорожденному «пророку». Если серафим явлен здесь прямым инструментом вышней воли, вряд ли Пушкина мог устроить тот способ (мягко говоря, неделикатный, а в общем-то палаческий), которым Бог штампует своих пророков. Стихотворение обрывается тотчас после призыва свыше — ответная реакция остается вне поля нашего зрения и слуха. Наивно считать, будто поэт, услышав призыв, с восторженной готовностью бодренько встал «с операционного стола» и помчался «жечь». Столь резвое послушание не в духе Пушкина, не в стиле его.

Как бы мы ни трактовали смысл стихотворения, какой бы отклик ни приписали поэту — сон есть сон: следом идет пробуждение. Что мы находим у Пушкина после создания «Пророка»? Знакомый мотив: «Когда б не смутное влечение / Чего-то жаждущей души». Опять духовная жажда, тревога, с новой силой, с новыми приступами (хотя, как всегда, он и весел, счастлив, деятелен, остроумен, предан солнцу и любви — разумеется, без малейшего наигрыша и натуги). Вновь скитания, поиск...

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был обят я скорбью великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен...

Что означает здесь словечко «незапно»? Неожиданность, резкость перехода в экстремальное состояние? Да, именно так. Но есть тут и другой оттенок, более глубокий смысл: *немотивированность* душевного потрясения. Скорбь грянула над Странником как гром среди ясного неба. Распорядился его сиятельство Случай — «мощное, мгновенное орудие провидения». Отсюда — чувство беззащитности, несвободы. В этой grimase судьбы сквозит нечто среднее меж деспотией, хаосом и демонизмом.

Необъяснимость многих важнейших событий, переживаний Пушкин не единожды подчеркивал в опорных точках своих фабул. Вот, к примеру, как предстал поэту тот же Демон: «Часы надежд и наслаждений / Тоской *внезапной* осень». Или Моцарт: «Я весел... *Вдруг*: виденье гробовое, / *Незаметный* мрак иль что-нибудь такое». А вот Пророк: «В пустыне мрачной я влачился, / *И* шестикрылый серафим / На перепутьи мне явился» — союз «и» выступает здесь тоже в значении «вдруг». Во внезапном сопряжении излучин судьбы — одна из основ настоящего трагизма. Причем трагедийны и те излучины, что сходятся удавкой на шее, и те, что свиваются на «челе» — священным нимбом, пророческим ореолом. Еще одна составляющая трагизма — несмирение человека с волей провидения, нежелание быть ни тузом, ни шестеркой в таинственно тасуемой колоде карт, любая из которых может обернуться пиковой дамой.

В мае 1834 года в дневнике поэта появились знаменательные слова: «...я могу быть поданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного». Уже маячит где-то рядом Дантес; уже готов проклянуться в глубинах сознания злополучный Золотой петушок; ближе и ближе Черная речка; но Пушкин по-прежнему верен себе — ищет и пробивает путь к совершенству, идеалу и абсолюту. Весь свой век он в этом дерзании. А вьюга не устает залеплять ему очи, замечать перед ним и за ним дорогу («хоть убей, следа не видно»), водить по заколдованному кругу. «Усталый раб» — это звание Пушкин присвоил себе не для красного словца. Случай и произвол, «демоны» и «бесы» стремятся править суд и миропорядок как вне, так и внутри поэтического «Я». Опять и вновь «собою страждет он». Если б он и впрямь безоглядно мог исполниться волею Божьей, то уж не томился бы так «среди долины дикой» — в третьем, «странническом» облике, на завершающем этапе своей духовной страды. И вряд ли его вновь постигла бы «скорбь великая» — та самая, что наметилась еще в «Безверии», затем возросла в «Пророке» (первая строка в черновике: «Великой *скорбию* томим»), и не зывал бы он в своем завещании: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Почему-то многие понимают этот стих как полное согласие с «волей небесной». Но зачем тогда вообще склонять музу к послушанию? Похоже, что драма начала («Ум ищет божества, а сердце не находит») обернулась и драмой конца:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...

Это из последних фрагментов. Если вспомнить более раннее: «...горят во мне / Змеи сердечной угрызенья... / И, с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклиная» — в переключке с уже упомянутым, почти итоговым: «я... тяжким бременем подавлен и согбен, / Как тот, кто на суде в убийстве уличен» — правомерен вопрос: нет ли тут раскаяния в каком-то действительном злодеянии или хотя бы в намерении его совершить (скажем, на дуэли)? Я ответил бы так: мы имеем дело с *нравственным максимализмом* Пушкинца — по наивысшему счету, словно бы с уже взятых «сионских высот». Во всех самообличениях поэта звучит *надличное* «Я», то есть голос совести пронизан скорбью за *всех*.

Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе!

Безверие неумолимо влекло «слепого мудреца» до «хладных врат могилы», к «пустыне гробовой»; а вот «страннику» посчастливилось встретить «юношу, читающего книгу», и тот (вторя шестикрылому серафиму) дал ему новое зрение («Я оком стал глядеть болезненно-отверстым, / Как от бельма врачом избавленный слепец») и указал на брезжащий вдали «некий свет», который должен привести его к «теплым вратам спасенья». В первом случае — «хладные врата могилы», в последнем — «те-

ные врата спасенья». Есть разница? Как тут не воскликнуть: «Эврика!» Безверие преодолено, юноша внушил «духовному труженику» веру в спасение, наставил его на путь истинный, и он «бежать пустился в тот же миг»... Но, если взглядеться и прислушаться, эта «бегущая» фраза несет в себе привкус авторского сомнения. Сюжет «Странника» построен таким образом, что встрече героя с юношей и душеспасительный разговор с ним следует воспринять как полусон-полуфантазию, даже как полубред-полумираж горячечного сознания. Мнимая эта встреча, устремившая героя к «некоему свету», произошла где-то вне дома, в неопределенном пространстве с открытым горизонтом, а действительный его побег совершен прямо из дому, на глазах у жены и детей, соседей и друзей, носящих и преследующих беглеца. «Некий свет», «спасенья верный путь» — все это смахивает на самообман, самоутешительную видимость исхода. Да и мрачно-паническое предостережение странника (насчет всеобщей гибели) — то ли впрямь пророчество, то ли «болезни жар враждебный», как полагают его сородичи, простаки-обыватели? Своего же ответа Пушкин не дает, как бы подводя нас к дерзкой мысли о том, что особого различия тут и нет: если безверие граничит с безумием, то и вера равносильна умопомрачению. И в «Пророке», очевидно, не зря поэт лишь *назван* пророком: красноречивым молчанием встречает он вдохновенные Божьи слова.

Итак, давнишнее откровение восемнадцатилетнего поэта («Ум ищет божества, а сердце не находит», «Он Бога тайного нигде, нигде не зрит»), описав орбиту миропостижения, вернулся к исходной точке, в том же значении безысходности, но уж для «постаревшего» вдвое — тридцатилетнего «лицеиста». Круг смыкается — магический оборот около своей оси. Три веки видятся мне на этом кругу. Три фазы пушкинской орбиты: «Безверие» — «Пророк» — «Странник». Поэтическая эта триада создавалась с интервалами в девять лет: 1817-й — 1826-й — 1835-й. Причем возраст поэта был в эти годы также кратным девяти: 18 — 27 — 36. Не знаю, как это истолковать, но что-то здесь есть, без мистики, без магии чисел: то ли биоритм, то ли духовная волна с таким «шагом». Скорей всего наложение ритма на волну, что и дало эти взлеты, постижения бездны. Здесь требуются отдельные тома исследований. Впрочем, и тогда этот цикл останется тем же замкнутым кругом с тремя остро выпирающими углами.

В заключение еще несколько слов. Пушкин был не из тех, кто мог позволить себе роскошь отчаяния (или блаженства) — в карусели снов, миражей и фантомов. Он должен был сделать некий рывок, выйти на иную, совсем иную орбиту. Дуэль — вот его прорыв: сквозь судьбинное «обручальное кольцо». Как предчувствие, предугадание — всю жизнь поединок был для него чуть ли не навязчивой идеей, воплощаемой в десятках разнородных версий. Пушкин сталкивал своих героев с «каменным гостем» и «медным всадником», с безликой стихией, с дьявольщиной. Не раз доводилось ему брать в руки вместо гусиного пера подлинное оружие. В дуэли, как в фокусе, сходилась конечное и бескрайнее, явь и сон. Пушкин по доброй воле сделал свой шаг к последнему барьеру, но он не волен был сделать ничего другого. Это был выбор, но также и неизбежность. Поэту не терпелось постичь до конца эту беспощадную игру, поставить в ней последнюю точку. Или многоточие. Его визави с Дантесом — это гибель, но это и жизнь. Дуэль — тот самый Демон, внедривший некогда в душу и наконец-то исторгнутый из нее. Дуэль — судьба, которая «не ведает, что творит». В одном из писем к Вяземскому (в 1826 году) Пушкин сравнил судьбу с «огромной обезьяной, которой дана полная воля». Поэт вроде покорился тогда произволу дикости: «Кто посадит ее на цель? не ты, не я, никто». Но спустя десять лет он шагнул ей навстречу — помериться силой с самодержавием скверны и смрада.

Этот поединок на заснеженной площадке у Черной речки — апофеоз абсолютной свободы.

За много лет до этого в одном из мимолетных набросков были такие строки:

Во цвете лет, свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

(«Мне бой знаком», 1820)

Сопоставляя задор юного Пушкина с его итоговым боем, видишь: путь к абсолюту не стал для поэта тупиком. Через все скорби он пронес и сберег *души прекрасные порывы*, до последнего мига остался верен заветам *вольности святой*...

А н г л и ч а н и н

*...parfaitement comme il faut.
Граф Поццо ди Борго*

Возьмем подозрную трубу. Вот она, тяжелая, тускло-желтая, кольчатая, похожая на бронзовую статую червя, ложится в ладонь, а вторую руку вытягивает вперед будто для приветствия роскошного ландшафта, обустроенного по законам перспективы. В нашем случае исторической. Значит, ретроспективы. Крутанем шершавое колесо настройки, наведем резкость. И вот. «И вот, в августе 1825 года, в приморской деревушке близ Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с корректностью светской куклы». Иностранец ли? Похоже, ведь занят он сочинением письма, и, если мы всмотримся (растянув оптическую трубу на сто семьдесят лет) в эти ровные французские фразы, то распознаем послание не куда-нибудь, а домой: «В ту минуту, когда я пишу вам, я проживаю в деревенском доме, в коттедже, за несколько миль от Брайтона, на расстоянии двух ружейных выстрелов от морского берега... мой дом весь оббит плющом и виноградной лозою... розовый куст, поднимающийся до самой крыши, цветы которого раскачиваются в моем окне». А спустя почти тридцать лет наш состарившийся (но не обветшавший) путешественник пишет (уже по-русски) своему двоюродному племяннику следующее: «Мне бы хотелось, чтобы демон живописности дотолкнул тебя до Англии, там ты нашел бы, надеюсь по крайней мере, что опустошения цивилизации не вполне еще завесили прелестный лик природы, разве пар, газ и электричество достигнули до того, что кверху дном взворотили эту привилегированную страну пейзажа». Сложим наше дальнзоркое орудие, спрячем в карман, достанем записную книжку и внесем туда все эти милые «дотолкнул», «завесили прелестный лик природы», «взворотили», «привилегированную страну пейзажа». Милые, потому что писал иностранец, но иностранец, коротко знакомый с русским языком. Не иностранец для жителей британского Брайтона (сочетание Britain and Bugon), а иностранец для русского автора, писавшего о его появлении в оном Брайтоне.

О ком же речь? Конечно, о Чаадаеве. Но при чем здесь Чаадаев, и если при чем, то где неперемные фразы вроде «воплощенное вето России», «строгий отвес к традиционному русскому мышлению», «плешивый лжепророк», «маленький аббатик», «но папа, папа!»? Где салонная стайка из гершензонового общественно-политического птичника для научно-популярных интересующихся; где Хомяков с мур-, а Самарин с ер-молкой; где Ермолов, наигрывающий грибоедовский вальс; где магнитофонные записи лекций Шевырева, Шеллинга, Грановского; наконец, где знаменитое сальное пятно от пушкинской головы? А очки Вяземского? И если все вышеперечисленное будет, то при чем здесь Англия?

Вот Англия больше всех при чем. Наихрестоматийнейшая чаадаевская фраза (из «Апологии сумасшедшего») такова: «Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и, без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоеда». Эта ключевая (для поедом едящих себя русских) формулировка выстроена Чаадаевым банально: очевидное «плохо» (Самоедия: читай, Россия) и очевидное «хорошо» (Англия); очевидность оппозиции для автора аксиоматична, приходится, правда, мимоходом пояснить: что такое «хорошо» и что такое «плохо». «Плохо» обозначено чуть подробнее — снег, юрта, жир; англичанин может гордиться чем угодно, всем: от

Беды Достопочтенного до газового фонаря, перечислять сии предметы бессмысленно, назовем их так — «учреждения» и «цивилизация». А остров — «славным». Merry England! Кажется, в Чаадаеве заговорил истинный британец. Хотелось бы знать, давно ли.

Давно. Через сто лет после смерти Чаадаева другой оригинал (и тоже человек весьма специальный) написал: «В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка... говорила уже совсем по старинке: аглицки». Семейство, где воспитывались маленькие сироты Петя и Миша, то ли усилиями их тетушки Анны Михайловны, то ли из англоманской моды, то ли Бог знает почему, было «несколько в этом роде». Мемуарист (М. И. Жихарев — адресат цитированного чаадаевского письма о «привилегированной стране пейзажа») отмечает: «У Чаадаева был какой-то вроде дядьки англичанин, про которого мне ничего не известно, исключая того, что по этому случаю оба брата хорошо знали по-английски, что между русскими нечасто бывает. Сверх того Петра Чаадаева (как не раз мне это пересказано было) дядька-англичанин научил пить грог». И далее — тридцать пять страниц спустя: «Естественные и точные науки составили предмет его очень раннего знакомства и юношеского любопытства — печать и признак значительной доли английского влияния и английского перевеса в его первоначальном воспитании». Значит, британец заговорил в Чаадаеве не с бухты-баракхты, не с кондачка, не в пароксизме злобной русофобии и не в жалком трепете зядлого иезуита, закоренелого масона, низкопоклонного космополита. Нет. Британец заговорил в Чаадаеве вместе с самим Чаадаевым. Не Арина Родионовна вскормила его молоком, а дядька-англичанин вспоил грогом и посвятил в тайны натурфилософии. Удивительно ли тогда, что началом своего религиозного обращения, днем, «когда явилось понимание истины» (по собственному его выражению), было 31 января 1825 года. В этот день Чаадаев познакомился во Флоренции с английским миссионером-методистом Чарльзом Куком. Не создается ли у вас впечатление, что англичане передавали нашего героя из рук в руки? Утверждение это имеет еще одно, несколько курьезное, доказательство. От хандры и душевной болезни, осадивших его по возвращении из-за границы, Чаадаев вылечился тем, что стал ездить не куда-нибудь, а в Аглицкий клуб! Слово Жихареву: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется «ни в короб, ни из короба», предписал ему развлечения, а на жалобы: «Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?» — отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались... Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался».

Но все-таки есть некое обстоятельство, о котором наше самоуверенное рассуждение спотыкается, будто усатый дядька в белом сюртуке и канотье, шагающий по лугу с насвистыванием и цветочком в петличке, налетает на валун-невидимку, исчезает из поля зрения, а после паузы над травой медленно восходит багровая морда. Где теперь порхает мелодийка из «Сказок венского леса»? Куда запропастился цветок? Какими тропками укатило канотье? Как нам уверить читателя в «английскости» Чаадаева, если симпатии последнего к католицизму общеизвестны не в меньшей степени, чем антипатии к тому же самому католицизму большинства англичан?

Ну что. Попробуем спасти нашего сельского джентльмена. Откатим валун в сторону или пометим его алым флажком. Пусть контраргумент скрестит шпаги с аргументом. Да, Чаадаев — католик. Но, с другой стороны, да, Чаадаев — англичанин. Произведем сложение. Английский католик. Действительно, Чаадаев близок по духу к так называемым «английским католикам» — роду чрезвычайно талантливых людей, вложивших неофитскую страсть в сочинение одной-единственной «апологии христианства» (католицизма), в какие бы жанры эта причудливая «апология» ни вырастала: детектив, сказочная эпопея, трактат, мелодрама, сатира. «Английские католики» так же непохожи на просто англичан, как левая рука непохожа на правую: линии тоньше, кожа мягче, меньше силы, но больше нервической дрожи в пальцах. Не имеют ли сходства историсофские концепции Чаадаева и Честертона¹? Без сомне-

¹ Помимо того, что их фамилии начинаются на «ч». Вообще можно было бы написать эссе под названием «Ч? (Чаадаев и Честертон)». В завершении этой странной литературной скажу, что «ч» сыграло в судьбе Чаадаева очень важную роль: во-первых, оно утянуло своего носителя в самый конец исторического именного указателя, после Пушкина, но, слава Богу, перед Якушкиным; во-вторых, «ч» отпечаталось в названии главного чаадаевского сочинения — «Философические письма». Отличие «Философических писем» от просто «Философских» именно в наличии «ч». Таким образом, «Философические письма» — это «Философские письма», писанные Чаадаевым.

ния, у них есть общие детали: весьма сдержанное отношение к античности и, наоборот, симпатия к иудаизму и исламу. Католицизм Честертона — это католицизм эстета, воспитанного на прерафаэлитях, Бердсли и Уайльде. Католицизм Чаадаева, опрочетливо-точно заметил Мандельштам, — «католицизм замоскворецкого сноба». Но и это еще не все. Хорн Фишер — лысый, грустный, ироничный, отвергнутый властью (но не людьми власти) герой поздних детективных рассказов Честертона — будто списан со столь же лысого, грустного и ироничного Чаадаева, которого, по освидетельствованию психиатра Николая Романова, признали сумасшедшим, а по свидетельству огромного числа государственных чинов (от директора департамента духовных дел иностранных исповеданий А. И. Тургенева до шефа корпуса жандармов А. Ф. Орлова), блестящим и светским человеком². Впрочем, наш герой более похож на другого британского сыщика-любителя. На Шерлока Холмса, конечно³. Первым на это сходство указал трудолюбивый Ричард Темпест⁴, а в качестве доказательства предъявил знаменитую историю о том, как Чаадаев в три дня разгадал в имени «Луи Колардо» неполную анаграмму «Долгорукий». Чем не пляшущие человечки? И Холмс, и Чаадаев жили уединенно, добылями, были тщеславны и асексуальны, имели странные привычки и раздражительный ум. И у того, и у другого — простодушный (но не бесталанный) биограф: д-р Уотсон и М. И. Жихарев (то, как у нас перепутали М. И. Жихарева (биографа Чаадаева) с его троюродным дядей С. П. Жихаревым (мемуаристом), сродни тому, как у нас же до сих пор путают доктора Уотсона с медиком Ватсоном). Чуткое ухо уловит схожую интонацию в сентенциях Чаадаева о литературном стиле жихаревских писаний и в рассуждениях Холмса в рассказах Уотсона, о его страсти «приукрашивать». Холмс: «вы... ошибаетесь, стараясь приукрасить и оживить ваши записки, вместо того, чтобы ограничиться сухим анализом причин и следствий». Чаадаев: «Ты мне позволишь, однако, во всяком случае дать тебе совет: хорошенько вырабатывать свой слог, несколько склонный к пухлости. Потребно иногда, я это знаю, некоторое мужество для того, чтобы вымарать выражение, которое кажется нам счастливым, но надеюсь, что этого мужества у тебя достанет. По части слога счастливо только то, что у места, и можно, если слог сдерживать, легко привыкнуть находить некоторое удовлетворение, пожертвовавши звучной фразой или звучным словом».

Кажется, я поступаю по-сусанински. С Басманной улицы я увел читателя на Бейкер-стрит, но рано или поздно он очнется и разгневанно укажет перстом на главную мою оплошность, ту, которую я и пытался скрыть сомнительными ухищрениями. Вот он, перст. Вот она, оплошность. Какой Чаадаев англичанин, если нерв, стержень всей его рефлексии, по общему и однозначному убеждению, — судьба и будущее России?

Что ж, прищучили. Но попробуем объясниться. Самая странная особенность чаадаевской исторической рефлексии в том, что Россия в ней ни при чем⁵. То есть, конечно, «при чем», так как в текстах нашего героя каждая пятая строчка (или шестая?) украшена этим звучным словом, начинающимся раскатистым заглавным «Р», с двойным свистом посередке и эгоцентричным «я» в конце. Есть слово, но нет России. Есть удобный фантом, белое пятно на карте, которое можно выкрасить и красным, и зеленым. О России Чаадаев говорил либо в императиве («Нам надо то, нам надо это»), либо в родительном падеже («У нас нет того, у нас нет этого»), либо в конъюнктиве, детерминированном, однако, все тем же родительным падежом («Мы могли бы стать тем-то, т. к. у нас не было того-то»). Очевидно, что императив не предполагает распознавания, выделения характерных черт того, к кому обращаются. Императив — нагая воля, безразличная к контексту. Чаадаевский родительный падеж имеет то же отношение к России, что и к, скажем, Северной Америке. Ведь и там не

² Исследуем задворки алфавита. Начальная буква фамилии нашего героя (который, как известно, большую часть своей биографии прозябал на свистящих и шипящих задворках официальной московской жизни) затерялась в этих фонетических чащах, но среди вполне родственных фигур. Вот охвостье нашего глоссария: «У, Ф, Х, Ц, Ч» — «Уваров С. С. — министр народного просвещения; Фишер Х.; Цыганский Л. М. — московский обер-полицмейстер; Чаадаев П. Я.».

³ «У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш» — «доктор Уотсон; Фишер Х.; Цыганский Л. М.; Чаадаев П. Я.; Шерлок Холмс».

⁴ и остроумный. Р. Темпест опубликовал в «Звезде» письма Чаадаева М. И. Жихареву, а статью о последнем назвал «Скромный страж». Название это перекликается с названием романа М. Кузмина «Тихий страж», проникнутого мальчиковой гомосексуальной влюбленностью в старшего и капризного родственника. Кажется, исследователь пытается намекнуть на характер отношения Жихарева к Чаадаеву.

⁵ Как заметил еще Мандельштам: «Зияние пустоты между написанными известными отрывками — это отсутствующая мысль о России». Я привожу эту цитату, чтобы подкрепить свои неубедительные рассуждения.

было и того и сего; даже в большей степени, чем в России. Что же до конъюнктива, то попробуйте определить, о какой стране говорит Чаадаев: «Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество». Автор оказался прекрасным предсказателем: все (или почти все) вышеперечисленное сбылось. Но не с Россией, конечно, о которой здесь и речи нет, а с Северной Америкой. Так мог рассуждать лишь английский методист, эмигрировавший в Новую Англию. Уж не Чарльз ли Кук научил Чаадаева такого рода сентенциям?

Более того, нашему герою о России все равно, что говорить. Так, в «Отрывках и афоризмах» он трагестирует добротный, скучный, как армяк, способ славянофильского рассуждения: «С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, в то время как сама почва на Западе все колеблется, готовая рухнуть под стопами новаторского гения; с другой — величавая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие ее народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю, бушующую у ее порога: вот величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества, зрелище поучительное и которым нельзя достаточно восхищаться... десять страниц в то же духе». Но уже в «Записке графу Бенкендорфу» (написанной, кстати, от имени Ивана Киреевского) мы находим если не десять, то семь именно в том же духе; вернее, «в духе», конечно, совсем не том, а в «добротном» и «верноподданном», но смысл — тот же. Например: «...что лишь под сенью попечительной о нас власти, способной оградить нас от волнений, столь жестоко потрясающих в наши дни Европу...» И еще четыре страницы в том же духе.

В этом равнодушии к содержанию (как раньше бы сказали — «направлению») высказывания, в этой невозмутимой, продуманной логике фразы, текста, отрывка (оба вышеприведенных примера строятся по принципу оппозиции «мы» — «они»; только в первом оппозиция растворяется под действием едких «десять страниц в том же духе»), в этой сосредоточенности на себе — своего рода волшебнике Гудвине, который, имея перед собой бесконечно унылую среднерусскую равнину, развлекается тем, что разглядывает ее то сквозь розовые, то сквозь черные или красные очки; да-да, во всем этом чувствуется не просто интеллектуальное щегольство или даже нарциссизм, а дендизм. Интеллектуальный дендизм. В духе Оскара Уайльда. Здравствуй, Англия!

«Жить и умереть перед зеркалом» — так Бодлер определил закон денди. Чаадаев изо всех сил своего «чуждого и хрупкого нервного существа» (по прелестному выражению М. И. Жихарева) старался следовать этому правилу. Он был денди. «Чаадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в котором преображался», — философически замечает князь Вяземский. Герцен, описывая нашего героя, впадает в несвойственный ему декадентский, почти набоковский тон: «Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воюку, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными...» Свидетельство Бориса Чичерина более основательно и простодушно: «Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою»⁶. Наконец, Михаил Жихарев, это честнейшее чаадаевское зеркало, отобразил следующее: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога; напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что зовут «fijou», на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значения своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым. На нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинки, но и отдаляло всякое о ней помыш-

⁶ «Поза собирает в некую эстетическую целостность человека, отданного на власть случая и разрушаемого божественным насилием», — писал Альбер Камю в сочинении «Бунтующий человек» (главка «Мятежные денди»). Не на «телескопский» скандал ли намекал он, говоря: «власть случая»; не на загадочную ли асексуальность Чаадаева указывал, толкуя о «божественном насилии»?

ление. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель⁷ и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дандизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения». И далее: «Его недоброжелатели... справедливо указывали... на его чопорность и напыщенность». Да, чопорность и напыщенность Чаадаева были английскими; но в образцах у него был не Бруммель, а другие, настоящие британские денди — Байрон и (подпустим мистическую шпильку) не родившийся еще Оскар Уайльд. Есть два классических определения дендизма (оба принадлежат Альберу Камю): «Дендизм — это упадочная форма аскезы» и «Денди — оппозиционер по своему предназначению. Он держится только благодаря тому, что бросает вызов». Первое — о Бруммеле и о Чаадаеве, возведших искусство одеваться почти в степень исторического значения. Второе — о Байроне, о котором Честертон сказал, что черный цвет Байрона — это слишком сгущенный красный, и о Чаадаеве — авторе афоризма: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники».

Чаадаев был не просто англичанин. Он был английский денди. Мне ужасно не хотелось цитировать в этом тексте Пушкина, но придется. Однако сведем цитату до минимума. «Денди лондонский», Лондонский денди в Брайтоне. Чаадаев. И все-таки самый волевой, самый хладнокровный и изощренный денди имеет слабинку: простую, милую, тайную, немного стыдную, а по всему этому — сладчайшую привязанность, но простецкую: пироги с морковью, рюмка водки с морозца, сиреневые романсы на стихи Апухтина. Так русский денди Онегин полюбил замужнюю простушку Татьяну. Так Чаадаев, позер, католик и щеголь, любил веселые английские лужайки, домики, солнышко. «Когда же вы поселились однажды в недрах древней Англии, когда кроткая приязнь, наслаждение симпатии окружают вас отовсюду и заменят всю скуку первого приема; когда вам удастся, наконец, там, посреди английского семейства, на зеленой лужайке красивого загородного дома, под тенью прекрасных дубов и кленов (вязов), — удастся произнести слово home, как говорит его природный житель, тогда, не знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладится из памяти воспоминание об отечестве, хотя бы это отечество была дорогая наша Россия (Русь!)».

Таков был патриотизм британского сноба.

⁷ Великий английский денди первой трети XIX в., друг Байрона.

С о б ы т и е Б а х т и н а

Бахтин и Виноградов, Бахтин и Бубер, Бахтин и Розенток-Хюсси, Бахтин и Ницше, Бахтин и Деррида, Бахтин и Чеслав Милош, Бахтин и Лотман, Бахтин и Варлам Шаламов, Бахтин и Выготский, Бахтин и Лукач, Бахтин и Фуко, Бахтин и Кьеркегор, Бахтин и Мики Киеси, Бахтин и Кармен Наррахо, Бахтин и Серхио Питол, Бахтин и Кристева, Бахтин и Лакан, Бахтин и Шестов, Бахтин и Витгенштейн, Бахтин и Рильке, Бахтин и Карсавин, Бахтин и Гофмансталь, Бахтин и Платонов, Бахтин и Пумпянский, Бахтин и Хиросуэ. Бахтин и Варбург, наконец.

Христианство Бахтина. Бахтин между Россией и Западом. Бахтин в свете Халкидонского идеала. Смех, разноречие и шум горного леса: Бахтин открывает Сукаски. Театральный хронотоп у Бахтина и Флоренского. Бахтин и проблема саморепрезентации в изобразительных искусствах. Оркестровые маневры: прочтение пьесы О'Нила «Странная миссис Севидж» под углом зрения Бахтина. Оставьте Бахтина в покое! Бахтин и проблема субъекта. Бахтин и теологический реализм. Концепция карнавала Бахтина и устная культура. Анти-Бахтин. Речь: опыт построения учебного курса для младших школьников по Бахтину. В поисках утраченного жанра: Филдинг, Гоголь и «память жанра» у Бахтина. Теория карнавала Бахтина и корейская литература. Бахтин и соборность. Интеллектуалы всех стран, объединяйтесь! Бахтин и семиотика жанра в женских произведениях. Концептуальный ландшафт Бахтина и идея города в западной архитектуре 1970–1990-х годов. Бахтин и взаимодействие между сценой и зрителем в малайском театре. На малайском театре притормозим.

Все это голоса из девяносто пятого года, года столетия Бахтина. Таких столетий мы еще не отмечали. Булгаков и Пастернак, Цветаева и Тынянов, Шкловский и Лосев оказались менее загадочны, куда менее актуальны и в конечном итоге едва ли не скучны на фоне голливудского успеха Бахтина. Выходили книги, витебский журнал «Диалог. Карнавал. Хронотоп», персонально бахтинский, переживал свой звездный час, «Вопросы философии» и «Новое литературное обозрение», «Философские исследования» и новорожденная «Риторика» считали своим долгом посвящать Бахтину представительные подборки, массовые газеты-журналы не обходились без юбилейных и проблемных статей, не успевала в МГПИ завершиться грандиозная международная тусовка бахтинистов на две тысячи человек, как буквально на следующий день в РГУ открывалась следующая бахтинская конференция — деспорить, договорить недоговоренное, дослышать недослышанное. Я вынес в название этой статьи банальный каламбур («Событие Бахтина» легковесно-журналистски обыгрывает знаменитое бахтинское «Событие бытия»), чтобы присоединиться к хору, чтобы не выпасть из праздничного контекста всенародного (карнавального) ликования.

Достаточно давний успех Бахтина не у масс, а в среде академической вызван не в последнюю очередь тем, что Бахтин — едва ли не первый русский философ в строго «немецком» смысле этого слова, всерьез занявшийся разведением по углам откровенно абстрактных категорий и выяснением оснований собственных построений. На фоне свистящих бездн русских религиозных мыслителей или — позднее — на фоне великолепных, но совершенно эзотерических спекуляций советского диамата Бахтин оказался гигантом: он занялся специфически философскими, а не жизнестроительными проблемами, он придумал для этих проблем некий квазифилологический язык, риску предположить, что его тексты «уплотнили» задним числом философичность Владимира Соловьева и других хронологических его предшественников; он, наконец, увидел проблемы там, где их не особенно видело — во всяком случае, так резко не концептуализировало — не только отечественное, но и мировое любомудрствование. Авторитет Бахтина внутри гуманитарного сообщества постепенно стал очень велик — более-менее широкий читатель был готов принять этот авторитет, требовался только толчок: толчок на массовом языке.

«Вы хотите песен — их есть у меня»: Бахтин (не как физическое лицо, а как корпус текстов, как, точнее, интертекст) гиперполивалентен, в Бахтине так много всяких дискурсивных ходов, переулков, перспектив и тупиков, что любой желающий может унести отсюда идею или идейку (уменьшительный суффикс предполагает здесь не уничтожение, а исключительно лишь представление о том, что идеи имеют размерность). Бахтин — это Россия, предлагающая республикам столько суверенитета, сколько они смогут унести (и республики разбегаются с охалками суверенитета, как-то не думая, что Россия не исключает возможности скорректировать позже незадачливых пожирателей суверенитета, что у нее есть в общем-то в заглавнике очень тяжелые орудия). Все перечисленные в первом абзаце предположения (Бахтин и Ницше, Бахтин и Тагор...) более-менее корректны: у Бахтина можно найти цитаты для любого построения. Сопрягающий Бахтина с Шаламовым непременно прав. Все правы. Нет — воспользуемся его лексикой — нудительной позиции, из которой можно было бы опровергнуть чью-то суверенную в-себе-правоту. Вот один заходится, как мексиканские певцы в образцовском «Необыкновенном концерте»: «Сама бахтинская концепция полифонии онтологически родственна идее православной соборности». Вот другой развенчивает: «В основе своей философская эстетика Бахтина принадлежит классической культуре монологизма, идеологией которой всегда была фантазма полифонического диалога». Оба говорят правильно.

Если бы я, например, симпатизировал постмодернистским теориям, то и здесь легко нашел бы среди бахтинистов заядлых единомышленников. Один убедительно доказывает близость концепций Бахтина и Жака Деррида на том основании, что «в обоих подходах отрицается понимание истины как внетекстовой вещественной референции в пользу открытых смысловых процессов на уровне текста». Другой уверенно описывает «антилогоцентризм» Бахтина. Третий рассматривает бахтинский диалогизм как структурную основу «всей художественной системы постмодернизма в литературе». Четвертый вслед за пятым (за «пятой» в данном случае, за Юлией Кристевой) объявляет Бахтина основателем интертекстуальности. (Интертекстуальность — представление о том, что текст не вещь, а пространство, в котором сходятся и как-то живут друг с другом смыслы автора, героя, читателя и контекста.) И так далее. Категорически избегая суждений типа «Бахтин — провозвестник постмодернизма» (о важности такого рода избегания речь еще пойдет ниже), я, однако, допускаю, что можно анализировать бахтинские тексты — особенно двадцатых годов, — как достаточно важные для будущей постмодерной эстетики концепты.

В работе «К философии поступка» (1920—1924) таким концептом становится контекстуальность всякого жеста, утверждение того, что всякий смысл — это есть смысл здесь-и-сейчас, что нет смысла вообще и бытия вообще: бытие каждый раз такое, каким я его настигаю в своем смысле-поступке. «В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находился. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие единственным и неповторимым образом». Невозможно апеллировать к пространству, где существовали бы некие смыслы для всех.

С этих позиций Бахтин критикует представления о возможности некоей отвлеченной вообще-истинности: «Поскольку мы отрываем суждение от единства исторически действительного акта-поступка его осуществления и относим в то или иное теоретическое единство, внутри его содержательно-смысловой стороны нет выхода в должествование и в действительное единственное событие бытия». Строго говоря, Бахтин не возражает против категории истинности как таковой, он лишь уточняет статус истины. Это конструкт в себе, не имеющий выхода в реальное бытие («Значимость истины себе довлеет»), никак не касающийся того, что со мной в бытии и с бытием происходит. Истина способна мыслить себя как истину, но ни одна из истин не обладает способностью к живой трансляции, все попытки истин стать истиной-для-других не имеют ни малейшего философского основания. «Почему, поскольку я мыслю, я должен мыслить истинно? Из теоретически-познавательного определения истинности отнюдь не вытекает ее должествование, этот момент совершенно не содержится в ее определении и невыводим оттуда; он может быть только извне привнесен и пристегнут».

В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (середина 20-х) Бахтин настаивает на концепте вневходимости, на невозможности сознания быть завершенным из себя самого. В этой работе достаточно много фрагментов, легко концептуализируемых в интересующем нас русле, в частности, Бахтин часто возвращается к тому, что никакое сознание не может атрибутировать себе истинности, что всякий плодотворный жест возможен лишь там, где сознание отказалось от претензии на универ-

сальность. «Эстетическое событие может свершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания». «Есть события, которые принципиально не могут развернуться в плане одного и единого сознания, но предполагают два неслияющихся сознания, события, существенным конструктивным моментом которых является отношение одного сознания к другому сознанию именно как к другому, — и таковы все творчески продуктивные события, новое несущие, единственные и необратимые». Или определенно называет «обедняющими» те теории, которые кладут в основу отказ от своего единственного места в бытии ради приобщения к единому сознанию, к абсолюту.

Однако нельзя не сказать, что эта работа достаточно успешно трактуется, напротив, как подчеркнуто религиозная (хотя сам Бахтин и настаивал на ее светскости), в некотором смысле абсолютистская: во встрече двух несовпадающих сознаний, рассматриваемой как встреча сознания автора и героя, одно из них, а именно авторское, оказывается более авторитетным, «завершающим», оно способно завершить контекст, замкнуть смысл. Автор обретает здесь большую букву и уподобляется, по сути, Богу, который, очевидно, один может достигать предела внеаходимости и предела завершающей способности.

В 1929 году в работе «Проблемы творчества Достоевского» автор уже лишен этой завершающей прерогативы, речь теперь идет о полном равноправии встречающихся сознаний, о «множественности самостоятельных и неслияющихся голосов и сознаний, подлинной полифонии полноценных голосов». Невозможность ни для кого, в том числе и для автора, занять завершающую, предельно внеположенную позицию оговаривается в этой книге специально и неоднократно: «Роман (Достоевского. — В. К.) не только не дает никакой устойчивой опоры вне диалогического разрыва для третьего монологически охватываемого сознания, наоборот, все в нем строится так, чтобы сделать диалогическое противостояние безысходным. С точки зрения безучастного «третьего» не строится ни один элемент произведения. В самом романе этот «третий» никак не представлен. Для него нет ни композиционного, ни смыслового места. В этом не слабость автора, а его величайшая сила. Этим завоевывается новая авторская позиция, лежащая выше монологической позиции».

Развертывание этого тезиса чревато множеством разных «пропостмодернистских» концептов. И тем, что невозможна завершенная цельность (личности, смысла, текста): «Герой Достоевского ни в один миг не совпадает с самим собою». Потому нет возможности говорить об авторе-демиурге (Автор целен, бог целен), потому ни одно высказывание не может быть закончено или — ближе к Деррида — ни один смысл не может затвердеть, потому появляется возможность говорить об интертекстуальности.

Вновь подчеркивается статус истинности как чего-то не абсолютного, а конкретно существующего здесь-сейчас-для-себя: «та «правда», к которой должен прийти и, наконец, действительно приходит герой, уясняя себе самому события, для Достоевского по существу может быть только правдой собственного сознания».

Отмечается, что главный эффект веры в отвлеченный абсолют — это агрессия по отношению к другому, признание его «ошибочности»: «Рядом с... единым и неизбежно одним сознанием оказывается множество эмпирических, человеческих сознаний. Эта множественность сознаний с точки зрения «сознания вообще» случайна и, так сказать, излишня. Все, что существенно, что истинно в них, входит в единый контекст сознания вообще и лишено индивидуальности. То же, что индивидуально, что отличает одно сознание от другого и от других сознаний, познавательного несущественно и относится к области психической организации и ограниченности человеческой особи. С точки зрения истины нет индивидуации сознаний. Единственный принцип познавательной индивидуации, какой знает идеализм, — ошибка». Существенно позже в тексте «К переработке книги о Достоевском» Бахтин подчеркнет эту агрессивность с редкой определенностью, назвав художественное завершение (способность к внеположенности) «разновидностью насилия».

Такого рода концептуализацию можно легко продолжить, но дело, очевидно, не в том, чтобы приводить Бахтина к единому знаменателю, искать во всех его текстах некий стержень, а в том, чтобы сделать акцент на различиях. В конце концов Бахтина можно концептуализировать совершенно как угодно. Идея «особоривания» и вообще «орелигиозивания» Бахтина вполне влиятельна, у этой идеи — хотя бы за счет ее тривиальности — наверняка статистически больше сторонников, нежели у концепции Бахтина-постмодерниста. И хотя автору этой статьи все аргументы соборян кажутся наивными и феерически скучными, это имеет очень мало значения на фоне того, что в конкретном событии бытия (например, в событии мирового бахтинистского сообще-

ства) эти аргументы находят более-менее опору именно в текстах Бахтина. Кем бы мы его ни называли, приходится закрывать глаза на изрядное количество противоречащих нашей дефиниции фактов. Мы делаем с Бахтиным то же самое, что делали, по Бахтину, с Достоевским его многочисленные интерпретаторы. «Из конкретных и цельных сознаний героев (и самого автора) вылучивались идеологические тезисы, которые или располагались в динамический диалектический ряд, или противопоставлялись друг другу как не снимаемые абсолютные антиномии. На место взаимодействия нескольких неслиянных сознаний подставлялось взаимоотношение идей, мыслей, положений, довлеющих одному сознанию».

Здесь уместно процитировать слова одного современного исследователя: «Общим... местом описанных подходов — пороком, а возможно, и пороком, является... стремление отыскать некую точку содержательно-смыслового единства бахтинских текстов», или, что то же самое, отыскать «Бахтина как такового». Однако если исходить из тезиса, что нет ничего «завершенного», что нет ничего равного самому себе, следовательно, не существует и презумпции цельности личности, эта проблема единства перестанет нас волновать. И тогда мы можем сделать предположение, что каждый из своих текстов Бахтин писал, смоделировав предварительно только-здесь-действительную точку зрения и однократный образ автора, как это делает, например, Пригов, сочиняя стихи от лица священника или лесбиянки, — и делал Бахтин это (каждый раз заново моделировал образ автора) как раз потому, что очень хорошо понял, что никакого содержательно-смыслового единства личности не существует, и даже тот, кто этого не только не признает, но и не может принять такого предположения, — даже такой автор все равно пишет не «от себя», а от какой-то своей культурной роли.

Так, тексты о марксизме, формалистах и фрейдизме, подписанные Волошиновым и Медведевым и известные ныне под звучной эмблемой «Бахтин под маской», написаны с марксистской позиции (оставляем в стороне вопрос о степени ортодоксальности этого марксизма по отношению к Марксу и, с другой стороны, к советскому марксизму). «К философии поступка» писал автор с условно постмодернистской ориентацией, в «Авторе и герое» силен голос православного мыслителя, книга о Достоевском, тоже более-менее постмодернистская в первом варианте, после переработки оказывается символом христианского персонализма, а книгу о Рабле можно трактовать как своего рода сталинистское подсознание. И это еще не весь Бахтин. Дело тут не в том, насколько удачно или скорее насколько неудачно определена мною сейчас ориентация каждого конкретного текста (голос автора в каждом случае, наверное, сложнее дефиниции), дело в том, что все эти тексты написаны разными Бахтинскими, разными сознаниями или масками одного Бахтина, разными авторами, каждый из которых помыслен-сконструирован для всякого конкретного случая — мы бы сказали «специально», если бы сознание, знающее себя как событие бытия, а не как завершающее единство, имело бы представление о «специальности/неспециальности». По указанию С. Бочарова, Бахтин охотно вспоминал о своей работе «Опыт изучения спроса колхозников», опубликованной в 1934 году в «Советской торговле» и обобщавшей деятельность ссыльного экономиста кустанайского райпотребсоюза.

Эта стратегия Бахтина особо эффектно проявилась в ситуации со «спорными текстами», с текстами «под маской». Вопрос о их авторстве окончательно не прояснен, и попытки прояснить его не иссякают («Что умиляет в дебатах, которые продолжают бушевать вокруг вопроса об авторстве, так это степень страстности, демонстрируемой теми, кто занимает противоположные точки зрения». Клайв Томсон), но гораздо органичнее рассматривать «непонятное авторство» как еще один вариант бахтинской игры с единством личности: «возможность использования „масок“ Волошинова и Медведа представляет несомненный эвристический интерес: уникальный опыт „чистого“ „непрямого говорения“» (источник цитации привести не могу, поскольку автор высказывания находится со мной в родственных отношениях). Любопытно, что Бахтин до конца своих дней не отвечал на вопрос об авторстве/неавторстве ни утвердительно, ни отрицательно: очевидно, это входило в его проект — сохранить неопределенность, поскольку в вопросе об авторстве и вообще не может быть никакой определенности. Схожей тактики, по свидетельству мемуариста, он придерживался в тех случаях, когда его расспрашивали о родословной (то есть, по существу, требовали сведений для текста, закрепляющего цельность и единство личности): Бахтин «обычно односложно соглашался с тем, чего добивался от него очередной вопрошатель».

Но «всемирно-историческую» роль Бахтина мы видим не только в том, что он сумел построить такой последовательно шизофренический, последовательно не совпадающий с самим собой философский проект. Доказательство успешности этого

проекта состоит не только в его «существо», но и в том, что он смог породить великолепный текст, истинно полифонический роман, где сотни и тысячи неслиянных монологических голосов утверждают каждый свою истину. Мы имеем в виду грандиозную «бахтинскую индустрию», где сочиняется множество текстов, проводится бесчисленное количество конференций, в том числе и грандиозных, выходит очень много книг, статей, журналов и т. д. и т. п., — и все персонажи этого романа являют из себя «точку зрения» или «идею»: Бахтин мыслит не мыслями, а идеями и точками зрения. Мы имеем в виду великолепные тени, выкрикивающие «Оставьте Бахтина в покое» и выступающие с одноименным докладом на бахтинской конференции (то есть на месте не-оставления-Бахтина-в-покое), заявляющие, что концепция Бахтина беспомощна (и строящие свою на основании отрицания Бахтина), провозглашающие объединяться интеллектуалов всех стран (не следует ли для этого покидать свое единственное, по Бахтину, место в бытии?).

Среди этого вопиющего количества бахтиноведения бродят и другие порожденные Бахтиным существа — почти мистические полутелесные образования, симулякры, которые периодически возникали в разных местах его философских работ. Тот непостижимый «человеческий образ», который «как бы дремлет в каждом эстетическом восприятии предмета»: представьте себе этот смутный антропоморфный образ, который дремлет даже не в предмете (как скульптура в глубе мрамора), а внутри собственно восприятия, внутри той сложной плоскости, на которую мы можем указать как на что-то внеположенное и назвать ее существительным «эстетическое восприятие». Или — «мой зрительно выраженный образ», который «зЫбко определяется рядом со мной, изнутри переживаемым, едва-едва отделяется от моего внутреннего самоощущения по направлению вперед себя и сдвинется немного в сторону, как барельеф, отделится от плоскости внутреннего самоощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы раздвоюсь немного, но не распадусь окончательно» и не сразу пойму, два это образа — отделившийся от внутреннего самоощущения и отделившийся от плоскости внутреннего самоощущения — или все же один.

И тут же рядом герои, например, рассказа Виктора Бейлиса «Бахтин и другие» (еще один типовой каламбур: ясно, что пьесу под таким именем должен был сочинить Горький) — Николай Федорович, Лев Николаевич, Федор Михайлович и собственно Бахтин Максим Менандрович. И над всем этим дух В. Л. Махлина, одного из орглидеров отечественного бахтиноведения, который умудряется именовать научных противников «тупицами прогрессивными» и «дураками времени», а при этом забывает, что научный текст традиционно предполагает связные и грамматически завершенные фразы: «Основным признаком этого отпадения от «абсолютного будущего»... является совершенно очевидный... разрыв между реальным объектом исследования в гуманитарных науках». Между объектом — и чем? Или это следует расценивать как изощреннейший симулякр: реальный объект, «разрыв между» у которого происходит между им самим и им же самим?

Можно было бы закончить на этом великолепном факте абсолютной победы Бахтина над дискурсом: теоретик полифонического романа породил «в реальности» тысячетомный роман «Бахтинистика», философ, оперировавший крайними отвлеченностями, вызвал их к почти плотской жизни — в виде отличных симулякроподобных образований. Но не мешает, видимо, задаться двумя следующими вопросами. Роман «Бахтинистика» хорош для фрейдистского или постбартковского анализа, дает великолепную картину состояния общества, но насколько он — идеологически — содержателен? Второе: насколько он, собственно, полифоничен и есть ли в нем искомый диалог?

Содержательные тактики героев романа большого энтузиазма не вызывают. Во-первых, это типично монологические концепты Бахтина-соборянина, Бахтина-католика или Бахтина-постмодерниста. Вот потрясающая в своей наивности реплика И. Б. Роднянской: «Ума не приложу, как... вне поля зрения Бахтина» остался шанс дать автору «завершающую» позицию даже и в полифоническом романе, — есть у него такое место, оно в его праве распоряжаться сюжетом, в праве автора к той или иной морально окрашенной коде судьбу героя привести. А у Достоевского-то оно вот так! Понятно, однако, что, по Бахтину, не может быть «у Достоевского», а может быть лишь в событии встречи между Достоевским и мною. Для Роднянской с ее места в бытии (воспитанность культурой, заикленной на Истине) завершающее место для автора есть, а для Бахтина с его места в бытии (в тот момент, в том месте) нет для автора такой позиции. Таким образом, по существу, фраза Роднянской означает следующее: «Ума не приложу, как это у Михаила Михайловича место в бытии не то, что у меня, то есть ума не приложу, как это Бахтин не Роднянская». Ну вот как-то так вышло.

Во-вторых, это добросовестное накладывание общо понятых матриц Бахтина на чем-то милый материал: Бахтин и Шаламов, Бахтин и Милош, Бахтин и Карсавин, — есть подтверждение значимости Карсавина за счет того, что он может соотноситься/ не соотноситься с Бахтиным. Это добрая деятельность, но эвристически какая-то совсем уж порожняя.

В-третьих, это нравственно-этические параболы, подтверждающие верность Бахтина всему тому, чему на всякий случай должно быть верным. С. Бочаров в новомировской (1995, № 11 — как бы финиш юбилейного марафона) статье очень четок и логичен в обрисовке бахтинского контекста, но, когда доходит до концептуального слова о некой философской позитивности Бахтина, отдает дань чистой лирике: «Сочувствие нам дается как благодать... Книга о Достоевском о том написана, как человек нуждается в признании его другим человеком... В такой заинтересованности, нужде в другом человеке — наша слабость и зависимость, но и шанс на проникновения и прорывы». Стоило возиться с огородом! Не говоря уж о том, что книг про Достоевского две — и написаны они про разное.

В-четвертых, это эллипсы типа того, что предлагаю я: помыслить Бахтина как интертекст, растворивший и идеи, и старые книги, и новых людей как событие бытия, как философию, разомкнувшуюся в жизнь. Но философия, концептуализировавшая невозможность концепта, возвещает о конце собственно философии, что, может, и хорошо, но как-то слишком оптимистично.

Что касается второй проблемы — полифонизма и диалогичности — то, право же, в «бахтинской индустрии» мы не обнаружим очень уж плодотворного диалога. Скорее это большой базар, в одних уголках которого лучше продается самоутверждение, в других в цене святость Бахтина, а в третьих хорошо идет его конфессионализация. Это совершенно нормально, но не очень похоже на диалог. У «полифонического романа Достоевского» было два автора — Достоевский и Бахтин, у романа «Бахтинология» автор один, да и тот бегущий от завершающей роли. Для «Бахтинологии» нет Бахтина, чтобы наречь ее подлинно полифоническим романом: не потому, что мы с вами ниже Бахтина, а потому, что Бахтин уже был и ничто не повторяется дважды. И что вообще такое — диалог? М. Л. Гаспаров, с большим подозрением относящийся к этой категории, формулирует по обыкновению эффектно: «Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога». В общем, и Деррида сделал карьеру на тезисе, что любая речь тоталитарна и не склонна понимать другую. Может быть, диалог действительно невозможен, но в таком случае Бахтин сделал еще более великое открытие — симулякр диалога. Он сделал нас способными (или хотя бы предполагающими) мыслить нашинкованные монологи как диалог, он научил притворяться, что наш диалог диалогичен, а следовательно, соблюдать ритуальные приличия, выстраивать свой диалог так, чтобы собеседник не понял, что мы не понимаем и не хотим понимать его речь, чтобы думал собеседник, будто мы даем ей шанс звучать потому, что она нам интересна или как-то внутренне для-нас-ценна, а не потому, что мы симулируем диалог или ценность для нас слова Другого. Бахтин, таким образом, изобрел политическую корrekтность.

Что касается шанса на содержательность бахтиноведения (С. Бочаров, и не только он, считает, что внутри сей институции нет плодотворной мыслительной работы), может быть, такого шанса и впрямь нет. Идеи Бахтина затруднительно (если не «нельзя») развивать хотя бы потому, что он показал, что самые блестящие из его идей служат лишь для того, чтобы побороться с ними и бросить, смоделировав для нового текста новую маску: «творчески развивать» Бахтина — значит продовольствоваться объедками. Не исключено, что живая мысль возможна только вне традиции Бахтина: в тех зонах, где не похозяиничала его великая мысль и где еще остались фантазмы достоверности и первичности. Так, например, В. Подорога ищет основания для этой достоверности в «феноменологии тела», того, что ближе всего «ко мне». Но важно и то, что после Бахтина и Деррида мы сможем обнаруживать — если сможем — уже только локальные, частные, очень конкретные достоверности. Разовые достоверности — как пластмассовые стаканчики или бумажные тарелки.



Вавилонская библиотека

«Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов: расстояния между строками и буквами, точки, запятой, двадцати двух букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками: во всей огромной Библиотеке нет двух одинаковых книг».

«Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком: Порядком)».

Хорхе Луис Борхес.

Еще раз к вопросу о Ляпсе

●

Гилберт К. Честертон. Избранные произведения в 4-х томах. М., «Буксхамбер интернационал», 1994.

●

В честертоновском стихотворении — а стихи его в отличие от прозы мало знакомы читателю, потому что мало переведены, хоть вовсе не плохи — выясняется вопрос: что же такое Ляпс? Свойства его известны, но противоречивы, а потому известны ли?

Так что такое Ляпс? — Вопрос!
Жук? Рыба? Редкостный невроз?
Иные говорят, что это —
Коктейль, другие — что планета.

И ученые в поте лица своего спорят, так или не так на самом деле: вызывает ли он передраги, при том, что укусы его опасны, и весьма (тут есть возражения).

Я тысячу ночей не спал.
Я гору книжек истрепал.
О небеса! О боже правый!
Кто даст ответ мне нелукавый?

— хитро заявляет сочинитель. И верно, вопрос столь важен, что в каждой книге Честертона ищешь ответ именно на него.

Итак, возьмем очередной «избранный» многотомник, куда вошли пять сборников, последовательно рассказывающих о неведении, мудрости, недоверчивости, тайне и позоре отца Брауна. А также множество других рассказов, называть их нет никакой нужды, ибо Честертон всегда и везде повествует об одном и том же — будь то стихотворение, новелла, эссе либо роман. Ни болтуну, ни молчальнику не важен повод, по которому они заговорили, и даже не о чем идет речь, важно, к чему речь ведет. Может быть, яснее прочего можно это узнать не из мозаики рассказов, а из большого и довольно цельного произведения.

Итак, роман «Шар и крест» (перевод Н. Трауберг) — последний и худший из честертоновских романов, и притом самый честертоновский, а это, даже при том, что роман худший, не может быть плохим. Скорее он чрезмерен, как все романы у Честертона. Романы, где, доказывая свою правоту, люди обходят вокруг света или, думая, будто огибают земной шар, остаются на месте. Где с пистолетом наголо пытаются доказать: жив человек. Где земной шар качается, куда длитс вечный, а потому и неразрешимый спор между верой и неверием, — разумеется, если это честное неверие и настоящая вера. И где все кончается вничью, то бишь победой обоих противников. Стоило бы сказать — всех, ибо

их куда больше, чем два, ибо никак не меньше, ведь в каждом живет его собственный противник, пусть автор и желает убедить, будто поединок идет между замкнутым и самодовольным шаром и разомкнутым и устремленным в пространство крестом. И тут же себе противоречит, утверждая устами героя иное: «И я видел сон, — сказал Эван. — Крест в этом сне стоял, шар не был виден. Сны эти посланы адом. Чтобы поставить крест, нужен земной шар. Но в том-то и разница, что Земля даже шаром быть не может. Ученые вечно твердят нам, что она — как апельсин, или как яйцо, или как сосиска. Они лепят из нее сотни нелепых тел. Джеймс, мы не вправе полагаться на то, что шар останется шаром, что разум останется разумным. Шар мира сего покосился набок, и только крест стоит прямо».

Итак, в угасающем огне Судного дня две шпаги легли крест-накрест. Но ведь это не только крест, а новое скрещение шпаг, новый вечный поединок. Да все ли кончилось, если есть сомнения и выбор? Место, где ты видишь много знакомых, — это либо сон, либо — Страшный суд (второе может поделиться прилагательным с первым). И если перефразировать старую поговорку (а старые поговорки и существуют лишь для того, чтобы их перефразировали), ни от первого, ни от второго нельзя зарекаться.

Итак, либо кошмар, либо судебное присутствие. Странный выбор. На что же стоит обратить внимание? На слово «знакомые». На многочисленность, однако и привычность компании. На неизбежность некоторых правил и установлений, даже мелких, но делающих жизнь жизнью. И здесь стоит вспомнить рассказ «Преступление коммуниста», где выяснялось, является ли убийцей тот, кто монотонно высказывает свои левые убеждения. Является! — и тут же следует честертоновская развязка. Он убил непреднамеренно. Почему же тогда он сам не прикинул от ядовитой спички? Есть правила, не доступные никаким ниспровергателям: «Он не допил вина, а вы спрашиваете, как это он не закурил! Стены МанDEVильского колледжа не знают такой анархии... Занятое место — этот колледж. Занятое место — Оксфорд. Занятое место — Англия.

— Разве вы связаны с Оксфордом? — вежливо осведомился доктор.

— Я связан с Англией, — ответил отец Браун. — Я родом оттуда. А самое смешное, что можно любить ее, жить в ней и ничего в ней не смыслить».

Итак, сопоставив имеющиеся материалы (а их немало), а также различные точки зрения (не две и не три), возможно прийти к выводу, что упомянутый в заглавии Ляпс

более всего походит на нашу Землю. Тем более что, как утверждают, возник он из грязи и скрипит в полете. Земля же для каждого из нас совпадает не с огромным, трудно представимым, а потому и чуточно абстрактным космическим объектом, а с тем, что у нас перед глазами. Логично было бы заключить, что для Честертона это есть и пребудет Англия, хотя стоит прислушаться к предупреждению автора: «...ничто в мире не сводится к логике без остатка».

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Одиссея

Светлана Максимова. Рожденные сфинксами. Стихи. Москва, 1994.

Если предложить десятку экспертов «рассчитать на первый-второй» две книги Светланы Максимовой — «Вольному — воля» и «Рожденные сфинксами», я уверен, большинство из них сделали бы ошибку. «Рожденные сфинксами» — книга-странствие, в ней сплетены в узор античность, магия песнопений, Египет, крымский виноград, Питер белых ночей... Визионерство — в духе раннего Гумилева. Каждое стихотворение написано на одном дыхании; местами стихи не отшлифованы, попадают не точные/рифмы. Ощущение свежести, щедрости, избыточности, еще мгновение — и голос поэта сорвется. Ритмы постоянно меняются. Поэзия поиска, поэзия риска.

«Вольному — воля» — книга ясных, прозрачных и ровных стихов. Круг тем сравнительно узок — деревня, воспоминания детства. Голубое небо, православные церкви, прикосновение к фольклору. Книга, пронизанная светом, исполненная гармонии. Книга возвращения домой.

Однако «Рожденные сфинксами» наследуют первой книге, и мы, конечно, имеем дело не с простым движением вспять. Можно сказать так: слишком быстро дове-

дя партию до финальной позиции (выигральной, но это не столь важно), Светлана Максимова предпочла смешать фигуры и начать заново. А точнее даже было бы уподобить поэта Одиссею, который был вполне счастливым на Итаке, но обречен на многолетнее странствие. Светлана Максимова следует логике собственной поэтической судьбы, не похожей на судьбу Гумилева или Пастернака. Рискну, однако, предположить, что в итоге она вернется к простоте, «домой» — но это дело далекого будущего.

«Рожденные сфинксами» — поэзия голоса, магии, постоянных повторов, почти заклинаний. Повтор выступает тут как основной поэтический прием: полный и неполный, внутри строки и повтор строк, повтор-возврат в двух-трех отстоящих друг от друга местах длинного стихотворения. Этот прием всегда срабатывает — и как усиление, и — более тонкое свойство — по-разному высвеченные контекстом, одни и те же слова всегда звучат неодинаково.

Лирическое начало плохо сочетается с драматическим. Есть поэт, его голос, его речевой поток, шаманство, «я». Нет фигур, персонажей. Но Светлана Максимова умудряется преломить луч, организовать внутри потока минимальное драматическое пространство я — ты — он, а потом и

столкнуть их в конфликте («Египетская легенда»). В других стихотворениях этого эффекта нет, но случается конфликт иного рода, своеобразный «противопоток» стиха. На обложке книги есть подзаголовок — «театр поэтических мистерий». Да, каждое слово тут вполне оправдано.

Впрочем, все сказанное выше относится к первой, большей части книги — «Саду странствий». Вторая часть — «Сад для царицы» — рядом с невероятно яркой и горячей первой немного проигрывает, как младшая и более скромная сестра. Вместе с тем именно в «Саду для царицы» есть мотив тоски по дому, прообраз возвращения (вспомним Одиссея). Именно во второй части — «Детская легенда», стихотворение, в котором, на мой взгляд, сходятся все лучи, все линии поэзии Светланы Максимовой.

Влияние Мандельштама на Светлану Максимова неявно, бесспорно и благотворно. Кстати, единственный раз автор лукавит в своих стихах, спрашивая, почему тоска — флорентийская. Как же, известно почему.

Ну и, конечно, нельзя не отметить оформление книги — графические работы самой Максимовой и прекрасно сочетаются со стихами, и хороши сами по себе.

Леонид КОСТЮКОВ

28 января 1996 года

Ночью в кабинете своей нью-йоркской квартиры умер от разрыва сердца Иосиф Бродский. Люди, близкие ему, и все, кто просто им интересовался, знали, что состояние его сердца с каждым годом, а под конец с каждым месяцем, недель становится все более критическим. Врачи не скрывали, что вероятность смертельного исхода предстоявшей ему операции, третьей по счету, велика. Так что все в какой-то степени были готовы к тому, что он может умереть в любую минуту. Так и случилось, но к тому, что случилось, оказывается, не был готов никто. Для его читателей, не говоря уже о соприкоснувшихся с его жизнью, были неожиданными величина, острота, боль обрушившейся на каждого *личной* потери. Потеряли что-то важное — и что-то лучшее из того, что имели. Ахматова говорила, что, когда из жизни уходит большой писатель, властитель дум, у оставшихся ощущение космического обвала, — как было, когда умер Лев Толстой. С поправкой на время, на большую его насыщенность и одновременно пустоту, на больший его цинизм и эгоизм что-то соизмеримое произошло и сейчас, когда в нашем мозгу сошлись непреложно и неопровержимо два слова: Бродский — умер.

Он вызывал восхищение. Все, что он говорил, даже если шла обязательная дружеская болтовня, было ослепительно талантливо. Поступки были так же талантливы, как речь. Пронзительны были его чутье, и наивность, и опыт, и мудрость, отдельная от опыта, и изумление в распахивающихся голубых глазах, и чистый-чистый треугольник лба между бровями. Когда он убеждал в чем-нибудь, даже тебе неприятном, ты им любовался. Например, что тебе надо лечь в больницу на ангиографию, в сердце введут катетер, впрыснут контрастную жидкость, всего-то потерпеть минут десять; вот когда кладут в электрический круг и вызывают искусственный инфаркт, тут в самом деле невоготу. В его описании это выглядело как камера пыток; в последние годы он проходил через это раза три-четыре, но рассказ был захватывающий, зачаровывал. Такая же притягательность была в том, как он в восемнадцать лет ездил по Ленинграду на велосипеде, в двадцать четыре поднимал на вилы силосную массу в деревне Норинская, в двадцать пять рыл для Ахматовой атомное бомбоубежище в Комарове; и так же после сорока входил в сушь чьих-то неприятностей, и помогал людям, иногда мало-знакомым, — деньгами, устройством их дел.

Так же — немислимо талантливо, с немислимой энергией — писал он стихи. Если Нобелевские премии по поэзии дают за то, что поэт для поэзии делает, то его следовало бы награждать ими каждые два-три года. Он отдавал ей всю свою жизнь — не только поэзии собственной, но и других, вообще поэзии, на которую у него тем больше оставалось сил, чем больше он на собственную тратил. Это было как бьющий ключ, из которого чем больше берешь, тем он обильнее. Кастальский ключ.

Так же — с неслабеющей силой энергии — он читал стихи вслух: в комнате, с эстрады, по телефону. Его череп был устроен, как музыкальный ящик. Все согласные носовые, все «р», «л», «г», «б», «д» начинали петь с первого слова стихотворения, как оркестр, дожидющийся и преклоняющийся перед солистом — главным Звуком, звуком поэзии, поэта, звуком, который слушателям проще всего было называть Бродским: это — Бродский, и этот звук ни с каким не спутаешь.

Он умер, и за час, прошедший с первого ошеломляющего звонка из Нью-Йорка, его фигура для меня, так близко знавшего его еще чуть не сорок лет назад, выросла неузнаваемо. Сколько он, оказывается, вмещал в себя всего, в частности, наших мыслей, нас; в частности, и меня. Пока он был жив, это пряталось за обыденностью встреч, прогулок, застолий. Мне все кажется, что жизнь его была ужасно короткой: вот он рыжий, румяный, юный; вот ему двадцать пять, день рождения, и он выходит из бременчатой кэношской тюрьмы с двумя белыми ведрами, на одном написано «Хлеб», на другом — «Вода»; вот после освобождения... Вот он тридцати двух лет исчезает — с глаз, из России, из здешней жизни — первые, так сказать, похороны, репетиция смерти. И вот, сорока восьми, снова появляется, открывая

мне дверь в подвал на Мортон-стрит. Чтобы что-то, стало быть, доказать. И больше его нет.

Его нет больше. *Нет уже юноши, нет уже нашего.*

В шестьдесят каком-то году в беглых заметках я сопоставлю к «Остановке в пустыне», первой им самим собранной книге его стихов. По поводу сопоставления я выслушал немало нареканий от друзей и ругани от не-друзей. Через много лет в Нью-Йорке ко мне подошел издатель этой книги, и он сказал, что тоже был тогда смущен, «но вот видите: победителей не судят». Под победой он подразумевал прежде всего Нобелевскую премию. Я же поставил два имени рядом не потому, что сравнивал их, — кого с Пушкиным сравнивать! — и не масштаб и не характер дара имел в виду, а одно только качество, о котором сказал вначале: изобилие, избыток таланта и щедрость, с которой он тратился. Те давние, во многом наугад написанные заметки, изданные во времена, когда под ними нельзя было даже по-человечески подписаться, заслужили мне право повторить сейчас то, что было выговорено назавтра после смерти Пушкина: «Солнце нашей поэзии закатилось».

Нашей всей — и нашей, когда-то тесного круга, нескольких молодых поэтов, даром, непонятно за что получивших счастье запросто принимать его великолепную дружбу. Русская поэзия осиротела не потому, что умер поэт такого ранга, а потому, что это была фигура, создававшая силовое поле такой мощности, в котором мы, его современники, все равно ровесники или младшие, составляли единое поэтическое пространство, и с его смертью прорехи, которые эта сила покрывала, зазияли. Ткань продолжает сохранять яркость, узор, цвет, но теперь это куски ткани. Больше того: всего за сутки, прошедшие с его смерти, мы вдруг ощутили, что те же самые лучшие стихи самых лучших нынешних поэтов чуть-чуть потускнели, похужели, как если бы их слова утратили энергию, которой он их по ходу собственного творчества и просто собственного существования подпитывал. Звездное небо русской поэзии по виду осталось таким же, только звезда, которой жизнь и движение мы наблюдали, по которой определяли положение других, потому что именно во взаимодействии с ней они кружились, остановилась.

Такое уже бывало. Умер Пушкин, и хотя Баратынский еще создавал лучшие свои вещи, и Лермонтов еще не написал главного, и Тютчев, уже опубликовавшийся, еще не был известен, и, и, и, ... — а как-то невесело стало в русской поэзии, перекопилось как-то все. Кто-то делался первым и любимым, а мог и другой — и это отсутствие единого движителя поэтической вселенной, по которой светила стали перемещаться как будто сами по себе, продолжалось вплоть до Блока.

Тридцать лет назад мы, и Бродский среди нас, хоронили Ахматову. Тогда было ощущение конца эпохи — культурной и, если угодно, исторической. Сейчас ощущение конца эпохи поэтической и, я бы осмелился сказать, творческой. Из тех поэтов, его и наших современников, чья жизнь вся была творчеством, только творчеством и ничем, кроме творчества, Бродский несравним ни с кем творческой мощью. Ее можно было почувствовать физически, например, читая ему свои стихи: их температура как будто повышалась или понижалась в зависимости от его реакции. Так по крайней мере я чувствовал. Так я чувствовал всего лишь год назад, когда читал ему про него.

Я знал четырех поэтов. Я их любил до дрожи губ, языка, гортани. Я задерживал вдох, едва только чуял где-то чистое их дыханье. Как я любил их, Боже, каждого из четырех...

*... Был нежен и щедр последний,
Как зелень после потопа.
Он сам становился песней,
когда по ночной реке
пускал сиявший кораблик
и, в воду входя ночную,
выныривал из захлеба
с жемчугом на языке.*

*Читайте в следующем номере
переписку И. А. Бунина с М. А. Алдановым.*

«Жить чуть ли не на краю могилы и сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унижительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымаливание их, не будет куска хлеба, — это, знаете, нечто замечательное!»

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В розницу журнал «Октябрь» можно приобрести в магазине «19 октября» по адресу: 1-й Казачий пер., д. 8.

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Сообщаем адреса некоторых агентств:

Lange & Springer Wissenschaftliche Buchhandlung Otto-Suhr-Allee 26/28 1000 Berlin 10 West.

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH D-80328 Muenchen; Deutschland.

Libreria Edest, S.n.S Edizione Estere, Via Cairoli, 12/4 16124 Genova, Italia.

Swets and Zeitlinger B.V., Heereweg 347, P.O. Box 830, 2160 SZ Lisse, The Netherlands.

Martinus Nijhoff International, Periodicals Departement, P.O. Box 269, 2501 AX The Hague, The Netherlands.

PEGASUS, PERIODICALS DEPARTMENT, P.O. BOX 59687, 1040 LD AMSTERDAM THE NETHERLANDS.

AKADEMIKA, UNIVERSITETSBOKHANDEL, POSTBOKS 84, BLINDERN, 0314 OSLO, NORWAY.

LEHTIMARKET OY, SUBSCRIPTION AGENCY, P.O. BOX 16, SF-00511 HELSINKI, FINLAND.

Akateeminen Kirja Kauppa Oy Periodicals Dept Tom Backman/AT5 PO BOX 218 SF-00381 HELSINKI FINLAND.

Suomalainen Kirjakauppa Oy Subscription Department P.O. BOX 2 01641 Vantaa 64 Finland.

MK LIBTAIRIE DU GLOBE 2 RUE DE BUCI 75006, PARIS, FRANCE.

WENNERGREN-WILLIAMS INFORMATIONSSERVICE AB P.O. BOX 1305, S-171 25 SOLNA, SWEDEN.

China National Publications Import-Export Corp., P.O. BOX 88, 16 Gongti E. Road, Chaoyang Distric, Beijing, 100704, PR China.

Steimatzy Ltd. 11 Hakishon st., P.O. BOX 1444, BNEI BRAK 51114, Israel.

Knizhnaia Lavka Ltd., P.O. BOX 11626, Tel-Aviv, 661116, ISRAEL.

Nauka, Ltd., 2-30-19, Minami-Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo, Japan.

Nisso-Tosho, Ltd. 1-5-16, Suildo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 112.

Troyka Ltd, 799 College St., Toronto, Ontario, Canada. M6G1c7.

Victor Kamkin Bookstore, Inc. 4956 Boiling Brook Parkway Rockville, MD 20852, USA.

Znanie Book Store 5237 Geary Boulevard San Francisco, Calif. 94118, USA.

ALMANAC PRESS 501 SOUTH FAIRFAX AVENUE N 206 LOS ANGELES, CALIFORNIA, 90036 USA.

C.B.D. P.O. BOX 255 PLYMPTON SOUTH AUSTRALIA 5038 AUSTRALIA.

GORDON AND GOTCH LIMITED PRIVATE BAG 290 BURWOOD VIC. 3125 AUSTRALIA.

Индекс издания 73293.

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0 \$.